

МИХАИЛ ЭПШТЕЙН СЕРГЕЙ ЮРЬЕНЕН

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЮНОСТИ



FRANC-TIREUR USA

ИЗ ПЕРВЫХ ОТКЛИКОВ

...Спасибо Вам огромное за Вашу замечательную книгу! Я тут сидел с переломанной ногой в четырех стенах и ею спасался... Сначала все было интересно, и сама структура, и подход, но по-настоящему мне стало нравиться – и очень! – после Вашего прекрасного куса про учителя М. И оценка этой истории от лица девушки переворачивает все и делает прекрасный текст замечательным в квадрате... К легкости текста прибавилась невероятная глубина и мудрость... Очень смешно и живо про встречу с Битовым. Вот, наверно, так и нужно писать «литературные мемуары»... Вы с Ю. удачно дополняете друг друга – Ваши замечательные классификации (вроде науки о вещах) и его живые картинки... Такие главы, как «Девушки», так замечательно рассказаны, что хочется еще... Ваш «Еврей» - очень здорово! И вообще очень много маленьких шедевров, вроде «Литература»... Какие удивительные отрывки из Ваших дневников! Очень понравилось «Насилие»... Чудесна самоирония, пронизывающая весь текст. Завидую умению написать смешно – вроде «Сописания».

Короче: Миша, Вы написали прекрасную книгу! А почему книга вышла в Америке, а не в Москве? Или еще не вышла?

— **Михаил ШИШКИН**, писатель

(из письма Михаилу Эпштейну
18 января 2010)

Здесь собраны ключевые для юности авторов понятия — и аранжированы в некую структуру, которую «кругом» (как тот же соавтор, очевидно, ее задавший из любви к аранжированным по алфавиту спискам) называть не хочется, а «мелкоячейстой сетью» — не получается. Все равно в этой крупной мозаике глаз претывается на знаках, и у авторов не отнять умения выбрать эти знаки из ткани жизни, показать в частном *типическое*. Короткие пассажи — очень удобно для чтения в транспорте...

Документ эпохи. Практически. От секретного письма Андропова «О поведении за рубежом писателя Юрьенена», направленного в 1978 году в ЦК КПСС, и выдержек из авторских дневников тех лет — до статистики 5-го управления КГБ и фамилий стукачей и глубоко окопавшихся высокопоставленных агентов Коминтерна. И еще картинки — здесь много картинок, это очень красиво. Мультитекст... — только саундтрека не хватает.

Два донельзя вменяемых человека, которым «выпало быть юными в эпоху одряхления коммунизма», вроде бы обливаясь ностальгическими слезами, подвергают диссекции — да что там, прямо берут и расчленяют — и совок, и антисовок... Не сказать, что их энциклопедия — единственное пособие по свернувшей за угол эпохе, но она вполне может стать одной из настольных книг для нетипичных ныне «пытливых юношей». Потому что здесь и уроки, и ролевые модели уж очень симпатичны.

— Максим НЕМЦОВ, переводчик, редактор

«Наш виварий»
Booknik.ru,
18 ноября 2009

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЮНОСТИ



МИША И СЕРЕЖА.
Москва, Новопесчаная улица.
14 июня 1974

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЮНОСТИ

МИХАИЛ ЭПШТЕЙН
СЕРГЕЙ ЮРЬЕНЕН



Franc-Tireur
USA

Encyclopaedia of Youth
Энциклопедия Юности
By Mikhail Epstein & Serge Iourienen

Copyright © 2009 by Mikhail Epstein & Serge Iourienen

Authors' photo & Cover design
by Marina Kami

All rights reserved.

ISBN 978-0-557-16239-0

Printed in the United States of America

Эта книга — совместная автобиография писателя Сергея Юрьенена и филолога и философа Михаила Эпштейна. Их дружба началась в 1967 г, на первом курсе филологического факультета МГУ, и продолжается больше сорока лет, теперь уже в США. Это не просто двойная и диалогическая автобиография, но энциклопедия самого таинственного, ищущего, страстного, мучительного, эгоистичного, кризисного, метафизического возраста — юности. Восемьдесят статей раскрывают основные проблемы и лирико-философские грани юности в алфавитном порядке, от «Абсолют» до «Я». Охватывая в основном семь лет, с 1967-го по 1974-й, книга погружает в мир юношеских увлечений и сомнений, творческих порывов, любовных терзаний, общественных страхов, экзистенциальных и профессиональных вопрошаний. Это диалог сверстников, говорящих изнутри юности — и одновременно о ней, помещающих ее в перспективу последующего жизненного опыта. Издание обильно иллюстрировано фотографиями из личных архивов авторов.

This book is a joint autobiography of the novelist Sergei Iourienen and cultural scholar and thinker Mikhail Epstein. Their friendship began in 1967, as freshmen at the philological faculty of Moscow State University, and has continued for more than 40 years, now in the USA. It is not merely a dual and dialogical autobiography, but an encyclopedia of youth, the most mysterious, passionate, tormenting, egoistic, and metaphysical age. The encyclopedia includes about 80 entries in alphabetical order, such as Absolute, Age, Anti-Semitism, Books, Girls, Desire, Diary, Dorm, Friendship, Generation, Influences, Interlocutors, Jew, KGB, Literature, Love, Pilgrimage, Politics, Professors, Reading, Religion, Rules of Life, Self, Sex, Silence, Things, University, Woman, Writing... Focused on seven years, from 1967 through 1974, the book reveals the world of youthful fascinations and anguishes, creative endeavors, love sufferings, social fears, and professional and existential quest. The coauthors proceed from the depth of their memory and at the same time from the viewpoint of their subsequent life experience, thus combining various historical and psychological perspectives on youth. The book includes several appendices: aphoristic dialogues in the form of questionnaires, stories and meditations written in youth and about youth, and essays on the philosophy of age and ageing and the genre of encyclopedia/thesaurus. This edition is richly illustrated by the photos from the authors' personal archives.

ОБ АВТОРАХ

ЭПШТЕЙН Михаил Наумович — филолог, культуролог, философ, эссеист. Родился в Москве 21 апреля 1950 г. Закончил московскую школу номер 5 (на Ленинском просп., физико-химический уклон) с золотой медалью. В 1967 - 1972 — филологический факультет МГУ, специализировался в теории литературы, диплом с отличием. В 1972 - 1978 работал корректором в издательстве и преподавателем рус. яз. и лит. на подготовительных курсах московских вузов, а внештатно — в отделе теоретических проблем Института мировой литературы. В 1970-х — 1980-х публиковал статьи в журналах «Вопросы литературы», «Новый мир» и др. С 1978 г. член Союза писателей СССР (секция критики и литературоведения). В 1980-х — руководитель литературно-интеллектуальных объединений: Клуб эссеистов, клуб «Образ и мысль», Лаборатория современной культуры. Первая книга — «Парадоксы новизны» (М., 1988). С 1990 г. живет в США, профессор теории культуры и русской литературы университета Эмори в Атланте. Пишет по-русски и по-английски.

Автор более 20 книг и более 500 статей и эссе, переведенных на 15 языков, в том числе «Парадоксы новизны. О литературном развитии 19-20 вв.» (1988), «Философия возможного» (2001), «Отцовство. Метафизический дневник» (2003), «Знак пробела. О будущем гуманитарных наук» (2004), «Все эссе», в 2 тт., т. 1, «В России», т. 2. «Из Америки» (2005); «Постмодерн в русской литературе» (2005), «Слово и молчание. Метафизика русской литературы» (2006).

Автор междисциплинарных и сетевых проектов: Коллективные импровизации (с 1982 г.), Лирический музей (1984), Транскультура (1984, 1999), Интелнет (с 1995 г.); Книга книг: Словарь-антология альтернативного мышления (с 1998 г.); Веер будущих. Техногуманитарный вестник (2000 - 2003); Дар слова. Еженедельный лексикон русского языка (с 2000 г.) и др.

Лауреат премии Андрея Белого (1991), Института социальных изобретений (Лондон, 1995), Международного конкурса эссеистики (Берлин—Веймар, 1999), премии «Liberty» (Нью-Йорк, 2000). Стипендиат американских и британских университетских и исследовательских фондов (Международный центр ученых им. Вудро Вильсона в Вашингтоне, Институт высших исследований в Дарэме, Англия, и др.).

ЮРЬЕНЕН Сергей Сергеевич — прозаик; журналист; радиожурналист; переводчик; редактор; издатель. Родился 21 января 1948 г., Франкфурт-на-Одере, Германия. Раннее детство провел в Ленинграде. Жил и учился в Гродно (1955-57), Минске (1957-67), а по возвращению в Россию в Москве, на филологическом факультете МГУ (1966-1973). Закончил Литературную студию при Московской писательской организации (1973-75). Выездной корреспондент (Белоруссия, Таджикистан), редактор, заместитель начальника отдела очерка в журнале «Дружба народов» (1974-76). Выезжал в Венгрию в составе Поезда Дружбы творческой молодежи Москвы (1975), два месяца провел во Франции (1976). Участник Всесоюзного и общемосковских совещаний молодых писателей. Член Союза писателей СССР (1977). Первая книга прозы — «По пути к дому» (Москва, «Советский писатель», 1977).

Получив политическое убежище во Франции, литературную деятельность продолжал в Париже (1977-84), в Мюнхене (1984-95), в Праге (1995-2004). Сотни публикаций в русской эмигрантской и западной периодике. Более четверти века работал на Радио Свобода. Корреспондент, обозреватель, аналитик социокультурных процессов, ответственный редактор культурной программы. В 1986 году основал ставшую «знаковой» (и до сих пор сотрясающую воздух) ежедневную программу «Поверх барьеров» с литературным приложением «Экслибрис». Создатель и ведущий ряда других успешных программ и циклов, Ю. почти двадцать лет отвечал за культурную стратегию РС. С 2005 живет в США (Нью-Йорк; Вашингтон, Округ Колумбия; Риджвуд, Нью-Джерси). Заместитель главного редактора журнала «Новый Берег» (Дания). Основатель и ведущий издательства «Franc-Tigeur USA».

Автор более двадцати книг прозы, среди них романы «Вольный стрелок» (1980), «Нарушитель границы» (1982), «Сын империи» (1983), «Сделай мне больно» (1986), «Беглый раб» (1990), «Дочь генерального секретаря» (1991), «Союз Сердец» (2000), «Фашист пролетел» (2001), «Суоми» (2005), «Линтенька, или Воспарившие» (2007). Переведен на ряд европейских языков. Пять литературных премий, включая имени Набокова (1992) и «Русскую Премию» (2009).

Член Американского ПЕН-Центра.

Сердечная благодарность

Писательнице Марине Артуровне Вишневецкой
за редакторское прочтение рукописи. Павлу Алексеевичу Арефьеву –
за прочтение корректорское.

Всем нашим друзьям, учителям, спутникам жизни, тем, кто упомянут,
и тем, кто еще не упомянут в этой книге, которая при дальнейших пе-
реизданиях будет возрастать в объеме памяти.

*О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностью: были.*

**В. А. Жуковский.
Воспоминание**

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	21
Михаил ЭПШТЕЙН. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СЕБЯ КАК ЖАНР	21
АБСОЛЮТ	25
АВТОБИОГРАФИЯ	28
АВТОБУС	30
АНДРОПОВ	32
АНТИСЕМИТИЗМ	34
АНТИСОВЕТСКОЕ	38
БАБИЙ ЯР	49
БАССЕЙН	51
БАХТИН	52
БИТОВ	55
БРОДСКИЙ	59
БУДУЩЕЕ	62
ВАЛЕРИ	65
ВЕЩИ	67
ВЗАИМОЗАВИСТЬ	73
ВЗГЛЯД	73
ВЛИЯНИЯ	75
ВОЗРАСТ	78
ГИПОТЕЗА	81

ДЕВУШКИ	84
ДИССИДЕНТСТВО	89
ДНЕВНИК	94
ДРУЖБА	98
ЕВРЕЙ	103
ЖАЛО В ПЛОТЬ	108
ЖЕЛАНИЕ	111
ЖЕНЩИНА	113
ИДЕОЛОГИЯ	119
КАЗАКОВ	124
КВАРТИРА	127
КГБ	130
КИТАЙ	131
КНИГИ	132
КОРНИ	135
КОРРЕКТНОСТЬ	139
ЛИТЕРАТУРА	141
ЛЮБОВЬ	142
МАМА	149
МИСТИЦИЗМ	155
МОЛЧАНИЕ	156
МЫШЛЕНИЕ	157
НАСИЛИЕ	160

НАУКА	162
НАЧАЛЬСТВО	165
НЕОБЪЯСНИМОЕ	166
НЕСЧАСТЬЕ	168
ОБЩЕЖИТИЕ	170
ОДЕЖДА	171
ОТЪЕЗД	174
ПАЛОМНИЧЕСТВО	176
ПАПА	177
ПЕРЕДЕЛКИНО	185
ПИСАТЕЛЬСТВО	187
ПИШУЩАЯ МАШИНКА	192
ПОКОЛЕНИЕ	195
ПОЛ	197
ПОЛИТИКА	200
ПРАВИЛА ЖИЗНИ	211
ПРАЗДНИК	214
ПРОФЕССИЯ	215
ПРОФЕССОРА	221
ПУБЛИКАЦИИ	229
ПУТЕШЕСТВИЯ	238
ПУШКИН	243
РАБОТА	249

РЕЛИГИЯ	252
РОД И РОДИТЕЛИ	256
РОДИНА	271
СОБЕСЕДНИКИ	275
СОПИСАНИЕ	280
СТОРОЖ (НОЧНОЙ)	282
ТВОРЧЕСТВО	283
ТЫ, МИША	284
ТЫ, СЕРЕЖА	285
УНИВЕРСИТЕТ	289
УЧИТЕЛЯ	292
ФЕМИНИЗМ	312
ФИЛФАК	313
ФРАНКО	316
ЦВЕТ	319
ЧТЕНИЕ	321
ЭТИКЕТ	325
ЮВЕНИЛЬНОСТЬ: ЮНОСТЬ НАВСЕГДА	327
ЮНОСТЬ: МЕТАФОРЫ	328
ЮНОСТЬ И МОЛОДОСТЬ	330
ЮНОСТЬ: ЕЕ НАСЛЕДИЕ	332
ЮНОСТЬ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ	337
ЮНОСТЬ: ПОТЕРИ	339

ЮНОСТЬ: РАЗНЫЕ ПОКОЛЕНИЯ	340
ЮНОСТЬ: УРОКИ И ВЗГЛЯД ОТСЮДА	341
Я, МИША	343
Я, СЕРЕЖА	346
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ	348
Михаил ЭПШТЕЙН. ЮНОСТЬ И МЕТАФИЗИКА	348
ПРИЛОЖЕНИЕ I. ЮНОСТЬ	
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ РАЗНЫХ ЛЕТ	354
1. Анкета 1972/2004. Вопросы Э, отвечает Ю	354
2. Вопросы Э: отвечают Ю и Э. 1 января 2009 г.	366
3. Вопросы Ю, отвечает Э. 1 января 2009	372
ТЕКСТЫ	
ЮНОСТИ И О ЮНОСТИ	376
Михаил ЭПШТЕЙН. ОСЕННЕЕ ОТСТУПЛЕНИЕ.	
Метафизический дневник	376
ПРИМЕЧАНИЯ. «Метафизическому дневнику»	393
Сергей ЮРЬЕНЕН. ДВА РАССКАЗА	395
ТЕЛЕФОН	395
МОСКВА, ТЫ КТО?	405
ПОСЛЕСЛОВИЯ	437
Михаил ЭПШТЕЙН. ЖИЗНЬ КАК НАРРАТИВ И ТЕЗАУРУС	437
Михаил ЭПШТЕЙН. К ФИЛОСОФИИ ВОЗРАСТА. Фрактальность жизни и	
периодическая таблица возрастов	450
ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ	473

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЮНОСТИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Михаил ЭПШТЕЙН

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СЕБЯ КАК ЖАНР

Мы видим себя глазами другого. Всякое автобиографическое письмо, замкнутое на первом лице, заведомо не полно, в нем не хватает тыла, затылка, спины. Эта книга написана совмещением — и перебивкой — первого и второго лица. Самое громкое слово в ней — Ты. Это *диаграфия* — автобиография как диалог.

Но это не совместная автобиография двух юношей на фоне застойного времени (фону, кстати, и полагается быть неподвижным). Это портрет самой юности, точнее, опыт ее энциклопедии. Кажется, для автобиографий использовались все возможные роды и жанры, от лирики до эпоса, от романа до дневника, от писем до летописи. Энциклопедия — еще не испытанный жанр размышлений о себе и друг о друге. Считается, что энциклопедии подобают только научным дисциплинам, объективным фактам, историческим эпохам. «Физическая энциклопедия». «Энциклопедия балета». «Энциклопедия Великой Отечественной войны». Энциклопедия «Народы и религии мира»... А тут — Энциклопедия Нашей с Тобой Юности. Как этот жанр сочетается с интимностью, исповедальностью? Сами словосочетания «энциклопедия себя» или «энциклопедия нас» похожи на оксюморон. Энциклопедия — собрание объективных сведений, фактов; научное справочное издание, содержащее систематизированный свод знаний. Информационный эпос. Как возможна и для чего нужна *лирическая энциклопедия*?

Вспомним, что наряду с универсальными, отраслевыми, национальными энциклопедиями есть энциклопедии и персо-

нальные, например, «Шекспировская», «Лермонтовская», «Розановская», «Булгаковская», и т.д. Представим, что герой такой энциклопедии хотел бы сам рассказать о себе, не дожидаясь, пока им займется коллектив исследователей — или не надеясь, что такое когда-нибудь произойдет. А главное, полагая, что себя он знает лучше, чем тьмы исследователей. В этом случае энциклопедия, в которой он собрал бы основные сведения о себе, стала бы лирической. Это энциклопедия, вывернутая наизнанку, в которой герой становится одновременно и автором, т.е. сам говорит о себе. Это автобиография, но не в форме последовательного рассказа о себе, а в форме энциклопедии, которая охватывает основные мотивы и темы прожитой жизни.

Но ведь таково вообще свойство нашей памяти. Большой жизненный сюжет, последовательность событий привносится позднейшей рационализацией, натяжкой памяти на суровые нити повествования. Собственное содержимое памяти распадается на *местомиги*, вспышки времени и пространства в их нераздельности. *Кто — что — где — когда*: вот элементарная единица памяти, а пожалуй, и неделимая единица жизненного опыта. «Я – дедушка – поляна - лес – Измайлово». Совокупность местомигов и образует самое достоверное представление жизни в ее памятных вспышках, окруженных темнотами, как брызги звезд в космической мгле. На 90% память, как и вселенная, состоит из темного вещества.

Но есть еще и итоговой опыт языка, выраженный в слове. У каждой жизни — свой словарь, свой подбор и ассоциативная связь главных понятий, их дробление на более частные. Соорганизация языка с памятью и дает жанр энциклопедии. Энциклопедия — это набор главных слов и понятий, определением которых служит весь жизненный опыт, в данном случае, опыт юности. При этом перекрещиваются персонально-именной и предметно-тематический способы отсылки. И в Энциклопедии Жизни, и в таком ее возрастном отсеке, как Энциклопедия Юности, имена собственные столь же значимы,

как житейские слова и общие понятия. «Бахтин». «Девушки». «Квартира». «Казаков». «Писательство»... Главное — так разбросать сеть языка, чтобы в нее попало как можно больше серебристо-трепещущей, сладконемой рыбы детства, сладко-голосой птицы юности и т.д. Связь всех явлений данной жизни не обязательно сюжетообразующая, как в романе, она может быть и словообразующей, и концептуальной, и музейно-выставочной, — круговым эхом, хороводом идей, взаимоотсылкой имен и понятий — как в Энциклопедии. Одновременно лирической и диалогической, персональной и концептуальной.

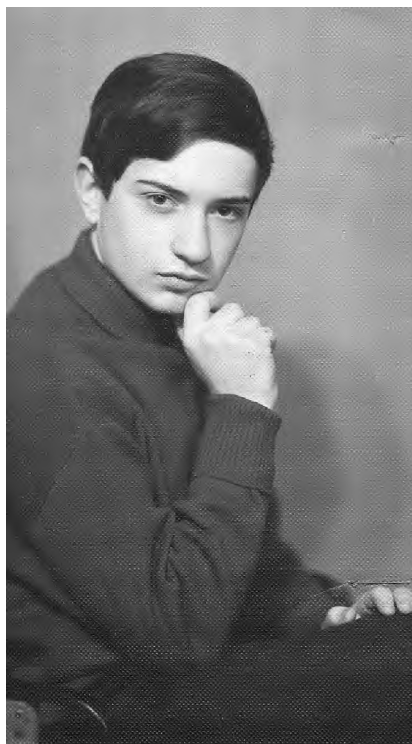
Хронологически Энциклопедия охватывает семилетие с 1967 по 1974 гг., от поступления в университет до начала семейной жизни, когда общение между ее соавторами и согероями было особенно частым и близким, т.е. с 19 до 26 лет для С. Ю. и с 17 до 24 для М. Э. Собственно, так полагает и психологическая наука: юность продолжается примерно от 17 до 21 года. Но Энциклопедия забегает и года на 2-3 назад, в предъюнье. И на несколько лет вперед, в заюнье, до отъезда С.Ю. во Францию в 1977 г.

Так уж получается, что название книги — Эн... Юн... — частичная анаграмма наших фамилий: Э-н и Ю-н (начинаются на соседние буквы, а кончаются на общую). Каждая словарная статья, как правило, состоит из чередующихся текстов двух авторов, которые начинаются инициалами фамилий, Э или Ю, и печатаются разным шрифтом, соответственно «концептуальным», прямым и с нажимом (Э) — и более округлым, легким, «артистичным» (Ю). Ведь эта Энциклопедия — диалог не только двух личностей, но и двух призваний и мироощущений, в какой-то степени диалог литературы и философии.

А

АБСОЛЮТ

Э Уже в ранней юности, если не в позднем отрочестве, я определил себя как абсолютиста — вопреки релятивизму и скептицизму. Это означало, что есть нечто высшее, к чему стоит стремиться.



Михаил Эпштейн. 1967

Есть движение, путь, надежда на обретение Главного, а не метание от одной точки зрения к другой, причем все они равно обманчивы и ненадежны. Абсолют, как ни странно, не исключал для меня ни либерализма, ни плюрализма, т.е. ценностей свободы и различия. Собственно, Абсолют образован от лат. *absolvere*, означающего «освободить», «отпустить на волю». Для меня в Абсолюте была важна не столько его положительная определенность, которая с жизнью менялась, сколько его воздушная тяга, сила освобождения от всех идолов и зависимостей: политических, экономических, теологических, лингвистических. Это был для меня даже не столько строгий господин Абсолют, как высший, непоколебимый принцип, сколько прекрасная госпожа Абсолюция, т.е. динамика освобождения, наполнения абсолютным своей жизни. Для меня это означало: интеллектуальное бескорыстие, т.е. любовь к мысли ради нее самой; верховенство человечества над всеми национальными и конфессиональными делениями; поиск единой, всеобъемлющей веры, которая сближала бы всех людей; профессиональная открытость любым фактам и выводам и готовность все время что-то производить; уверенность в том, что самое драгоценное — это личность и то, что делает ее отличной от всех других... Но место Абсолюта менялось, чаще всего он выступал в облике какой-нибудь девушки, которая становилась моей «Абсолюцией», или в образе новооткрытого автора, идеи, произведения, которые вдруг пронизывались для меня всепроясняющим смыслом и светом. Если же говорить попросту, то мой абсолютизм состоял в настроенности на любовь и всегдашней ее нехватке.

Ю Литература к моменту нашей встречи вытеснила все другие страсти. Какая «жизнь»? какая «первичная реальность»? Все было решительно вторичным — что вне литературы. Внутри этого абсолютизма был и другой — я мечтал (и продолжаю, кстати) об абсолютном произведении. Так я понимал обращенный ко мне как

юному завет Федора Михайловича возвыситься духом: «Формулируйте ваш идеал!»



Сергей Юрьенен. 1965

В чем укреплял и Лев Николаевич, делая для наглядности незабываемый рисунок в Дневнике: при переплыве бери повыше, поскольку все равно «снесет».

См. ЛЮБОВЬ, РЕЛИГИЯ

АВТОБИОГРАФИЯ

Ю Мы родились — не правда ли — не в самый разговорчивый период истории российской. «Расскажи!» — приставал я к взрослым, но даже если они рассказывали о себе, то избирательно, оставляя в немоте огромные территории — чего нельзя было не чувствовать. Будто им свыше доверена тайна, которую они «хранят» именно в силу своей взрослости. Я был, естественно, предрасположен — выпрашивать, разведывать, проникать в мир безмолвия. «Как это — не фашисты? Кто же мог убить моего папу, если не фашисты?»



Вагрич Бахчинян. Проект обложки к роману Сергея Юрьенена «Нарушитель границы»

«Автобиография» — то, что взрослым время от времени надо было куда-то предъявлять. Скучно-бюрократический термин — но только до того момента, когда газеты всей сворой не набросились на ценимого тогда мной поэта Евтушенко — за публикацию во французском еженедельнике «Пари-матч» загадочного текста под названием «Автобиография». Это было до дела Синявский/Даниэль, поэтому не факт публикации в «буржуазной» периодике воспринял я как криминал, а именно что жанр. Я не мог себе представить, что такого антисоветского мог рассказать о себе поэт, но подрывной потенциал саможизнеописания — рассказа о себе — не мог не почувствовать. Как и негласный запрет на этот жанр. «Держи язык за зубами!» — сколько раз я слышал это сверху, от больших и молчаливых. Сама жизнь меня учила, и даже в милицейской форме¹, но язык так и рвался наружу. С 12 лет, когда мама купила мне в книжном магазине напротив минского КГБ 20-томник Л. Толстого, я начал читать дневники и мемуары признанных «нарушителей», исходивших не из воображения, а из персонально пережитого. Соблазн нарушения зрел — для того, чтобы в одно воистину прекрасное мгновение юности быть поддержанным и словами Томаса Манна об «аристократическом автобиографизме».

Э Человек, который мог себе позволить в советские годы иметь или писать автобиографию, отдельную от истории народа и прогрессивного человечества, был, конечно, аристократом. Но мне этот традиционный жанр был и остается чужд своей сюжетностью: я быстро забываю, что за чем следует, и остается только пространственный и смысловой континуум, собрание всего, что успела на данный момент накопить жизнь. Меня волнует не биография, а биограммы, вечные темы любви, дружбы, встреч, личных событий и переживаний, которые сшивают жизнь повторами, спи-

¹ Брутальное, с установкой насмерть, избиение пьяным милицейским патрулем в День советской конституции 5 декабря 1960 г. (в 12 лет).

сками, перечнями. Заглядывая в свои юношеские дневники, я вижу целые страницы, исписанные рядами и парадигмами. Самые экзистенциальные моменты моей жизни. Самые радостные. Самые горестные. Девушки, к которым я нечто испытывал. Длиннейший список всех людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Списки знакомых по степени внутренней близости и значимости. Списки главных поэтов и писателей всех веков, русских и иностранных. Списки мыслителей, наиболее повлиявших на меня. Места, где я побывал. Любимые города. Оттого меня так волнует поэтика списков у Сэй-Сенагон и у Мишеля Монтеня, ведь список — это вещи, изъятые из хода времени и соотнесенные не сюжетом, а лейтмотивом, биограммой, идеограммой, откуда вырастает и любимый мною жанр эссе. Жизнь мне представляется не линией, протянувшейся во времени, но скорее кругом, который я могу обходить в пространстве, созерцая его содержимое с разных сторон. А это и есть *энциклопедия* (греч. «энциклиос» — циклический, круглый, круговой).

См. ПРИЛОЖЕНИЕ, Жизнь как нарратив и тезаурус

АВТОБУС

Ю Вот, что нас сближало несомненно: автобус 111. От Центра на Ленгоры и обратно. Утренние рейсы были школой интернационализма, пусть не вполне пролетарского: все цвета кожи. Не в обиде, но слишком тесно. Я предпочитал вечерние, экзистенциальные.

Чтобы занять получше место, я поднимался на площадь Революции, где была конечная, верней, начальная, а потом проезжал «свою» остановку, у филфака «на Моховой», через Большой Каменный мост мимо «Дома на набережной» и ки-

нотеатра «Ударник» — и далее по всему Ленинскому проспекту с поворотом на Ленгоры к Главному зданию и остановкой у лестницы Клубной части.

Лучшие моменты в 111-м: 1967-й, дождливые дни перехода осени в зиму, я возвращаюсь вечерами на Ленгоры после Андре Жида, пятитомник которого издан сгоряча при раннем сталинизме, не могу сказать, что в полном распаде от, но одно сознание, что я читаю «Имморалиста»... и на всю жизнь запоминаю отравленные строки финала про розы, *которые гнили не распускаясь* (чего я так боялся, надеясь все же распуститься). И пик тех одиноких дней, когда я решил начинать свой роман о Москве, но разыскал в библиотеке, в никем не читаемом здесь журнале «Дон» первый роман Фолкнера «Солдатская награда» — там он выглядит еще, скорее, как второй руки Хемингуэй...

Автобус почти пуст, я на любимом месте — сзади, у последнего, уютно скошенного к локтю окна. Высоко, все под контролем — и салон, и жизнь, в которой еще ничего не испорчено, кто-то мне нравится, но ни в кого еще я не влюблен, и голова на месте, и вот-вот от этой вынужденной читательской пассивности я перейду к прямому действию своей собственной прозы, пассажи которой реяли и сгущались надо мной, как туманности, небулы, галактики...

И так прекрасно ехать, взгляд за окно (отрываясь от Франции 1917 года), а там уже универмаг «Москва»... и знать, что при всей самозабвенности остановки своей никак не проехать, потому что 111-й долго будет огибать периметр нашего византийского небоскреба.

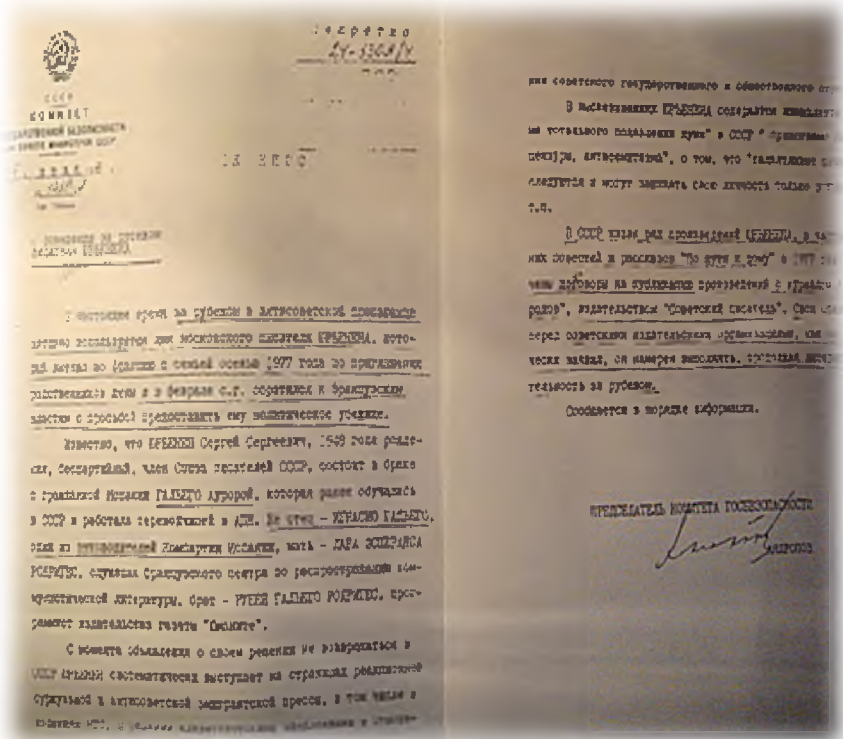
Возможно, самое сильное счастье — *предписательское* — познано на тех одиноких рейсах возвращения на Ленинские горы через всю Москву — а заодно и мимо перпендикуляра твоей, Миша, улицы.

Э Да, 111-й – транспортная ось нашего бытия: от старого МГУ на проспекте Маркса до нового на Ленинских горах. Вероятно, мы с тобой ездили на нем в противоположных направлениях. Ты первые два года с Ленгор в центр, от университетского общежития на старый филфак; а я в последующие три года из дома на ул. Е Стасовой (у Донского монастыря) на Ленгоры, куда филфак переехал из Центра (1969). Почему-то от автобуса ничего не запомнилось, кроме заледенелых стекол и морозного пара. Ну и трижды выпрямленного числа 111, как символа юно-мужских надежд и устремлений. Да еще именная топография: по проспекту Ленина, через площадь Гагарина, к университету Ломоносова. Политика встраивалась в науку и вместе с ней убегала в университетский городок над Москва-рекой.

АНДРОПОВ

Ю В моей советской жизни был момент, когда наши взгляды скрестились в парадной Международного отдела ЦК КПСС на Старой площади: при этом он был в очках только отчасти затемненных, а я — в бескомпромиссно темных и привезенных, кстати сказать, из его любимой Хунгарии.

Через год после того обмена взглядами Юрий Владимирович Андропов стал автором секретного письма «О поведении за рубежом писателя Юрьенена», направленного в 1978 году в ЦК КПСС (и обнародованного Владимиром Буковским в составе «Советского архива» в начале 1990-х, когда на краткий промежуток явным стало немало тайного).



Письмо Ю. В. Андропова «О поведении за рубежом писателя Юрьенена»



Образец «поведения». Интервью газете «Фигаро-диманш».

См. АНТИСОВЕТСКОЕ, ДИССИДЕНТСТВО, ИДЕОЛОГИЯ, ПОЛИТИКА, «МОСКВА, ТЫ КТО?»

АНТИСЕМИТИЗМ

Ю Я помню, как ты, Миша, записался на семинар к кандидату наук В. Н. Турбину, престижному «Товарищу Время, Товарищу Искусство», и за год «всех превзошел». Твоя курсовая, солидная машинопись под названием «Теория новеллы», тянула, говорили все, на докторскую. Ты уверенно и с виду без особых усилий опережал сокурсников — спеша тем самым на неизбежное randevu с «государственным антисемитизмом».



*Проект обложки моего романа.
На фото – Гиммлер в Минске.
14 августа 1941*

В Белоруссии, где после ленинградского детства я провел десять лет своей первой по счету эмиграции, нельзя было не заметить, что юдофобство сочится, главным образом, «сверху» — через детей власть имущих. В целом же атмосфера не была особо изуверской — благодаря белорусскому национальному характеру (допустим эту абстракцию) и тому факту, что именно эта, мне заданная роком территория явилась полигоном Холокоста, где впервые² в XX веке наци продемонстрировали свой радикализм в решении «вопроса». Несмотря на послевоенные усилия сверху по бетонированию новорожденной исторической памяти, «снизу» шок очевидцев всех этих разнообразно-массовых гекатомб был таким, что в БССР я никогда не слышал фразы «Гитлера на них нет».

² Включая, в частности, показательный, в присутствии прилетевшего из столицы рейха Гиммлера, расстрел евреев в Минске 15 августа 1941.



*Юрьенен, Йоссель, Тарашкевич. 5 класс 62-й средней школы
Заводского района г. Минска. 1960.*

А вот Москва меня шокировала — я говорю об МГУ. наших евреев в коридоре четвертого этажа Пятого корпуса подвергал издевательским насмешкам и гонениям наш обер-стукач и юдофоб — юродиво-уродливый. Молчаливо, но в этом его поддерживала «русская группа», куда входили отслужившие в Советской Армии студенты много старше меня, замеченного в контактах с гонимыми и называемого за это «жидовствующим». На коллективном медосмотре в университетской поликлинике о негласной политике борьбы с евреями в МГУ с одобрением говорила врач-невропатолог, стуча мне по коленным чашечкам резиновым молоточком. А был бы я евреем? Разбила бы их стальным?

Из романа

«ДОЧЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ»:

Актальный зал был полон.

«Красный» диплом на курсе был единственным. Его без лишних слов вручили Перкину.

...У Перкина на голове пилотка из газеты. Эсфирь Наумовна была в соломенной шляпке с парой лакированных вишен, на руках нитяные перчатки.

— Поздравляю, — сказал Александр.

— Было б с чем...

— *Красный* же диплом!

— А в аспирантуру сына замдекана. С обычным *синим*.

Еще на первом курсе профессор, потрясая курсовой работой Перкина, кричал, что он бы за это сразу ученую степень — *гонорис кауза!*

— Не тебя?

Перкин мотнул головой.

— Свободное распределение, — сказала его мать. — На все четыре стороны.

— Одна пока открыта, — заметил Александр. — До Вены, а там куда угодно. Хоть в Иерусалим, хоть в Гарвард.

— О чем ему и говорю.

Перкин сжал челюсти.

— Вот так уже неделю — как бык. — Повернувшись к Инес, мать Перкина перешла на идиш.

— Инес из Парижа, — сказал Александр.

— Откуда?

Перкин буркнул:

— Сказано тебе.

— Лева, не хами. А я подумала, что вы нашли себе... *Средство передвижения*, как говорится. По-русски девушка не понимает?

— Я понимаю, понимаю, — заверила Инес.

— Ой, извините... Лев, надень панамку! Удар сейчас хватит. Остановите его, Александр...

Перкин отбросил руку:

— Все меня вытолкнуть хотят. Неужели даже ты не понимаешь, что это родина?

Ему было семнадцать, когда Александр с ним познакомился на лекции. Голова у него была забинтована. Он только что похоронил отца, а вдобавок был избит шпаной. Ударили кас-

тетом, а потом ногами. Но он держался, этот вечно небритый мальчик, вещь-в-себе. «Ночь хрустальных ножей» на факультете стояла все пять лет. Он был единственный, кто выжил. Для того, чтобы оказаться с «красным» дипломом в тупике. На выжженном пространстве Ленинских гор.

Под черным солнцем.

*

...Роман — романом, но еще на первых курсах и красавица Айзенштадт (Краснодар), и Аркаша Гольденберг (Волгоград), и Паша Лерман (Баку) были элиминированы.

Незримую стену прошел в МГУ только ты.
Единственный.

См. БАБИЙ ЯР, ЕВРЕЙ

АНТИСОВЕТСКОЕ

Ю В МГУ я немедленно столкнулся и с тем, о чем прежде только с увлечением читал в центральных газетах — с реальностью «тлетворного влияния», главным орудием которого был, несомненно, Тамиздат.

В Минске у меня был (уехавший затем в Канаду) однокашник Лев Баркан. Мы познакомились в 1962 году на республиканском пионерском слете. Впервые от него я услышал уверенно произнесенное — и самой жизнью выдвигаемое на первый план — слово «сперма» (кругом все говорили «малафья» — как, впрочем, и Лев Толстой предпочитал. Но не Баркан.) Потом мы оба оказались в одной центральной школе № 2 по улице Кирова. Лев учился в параллельном «Б» и вызвал общешкольный скандал, высказав в сочинении по роману «Войне и мир» аргументированную гипотезу о благотворности национального поражения в Отечественной войне 1812

года. Однажды по приглашению Льва я отправился очень далеко — за вокзал, где в клубе барачного типа была премьера «Гамлета» с ним в главной роли. Перевод, разумеется, *Бориса Леонидыча*. Холодно там было так, что пламенная и, разумеется, «пассионарная» молодежь выдыхала пар, не снимая пальто во время этого омажа Пастернаку на окраине Минска. В 9-м классе Лев дал списать мне слова дерзкой песни «Товарищ Сталин, вы большой ученый» (с автором ее мы еще встретимся на этих страницах). В 1965 году на переменах мы обсуждали московский процесс над «перевёртышами», и это по наущению Льва я поспешил обзавестись Синявским — в качестве автора предисловия еще более повысившего номинал пастернаковского тома в «Библиотеке поэта». Вот была книга! Помнишь? Сразу два стратотерпца, пойманных под одну обложку (темно-синюю, «классическую») как бы прямо в момент передачи бесконечной эстафеты мученичества за свободу. Не книга — символ веры. В руки берешь как будто присягаешь.

Так вот, Лев рассказывал мне про какого-то студента в Минске, которому дали десять лет за «*Токаря Мертваго*» (как, для конспирации, называл он преступный роман «Доктор Живаго»), — однако своими глазами тамиздатской продукции, за исключением случайно попавшего мне в руки разворота из «Нового Русского Слова», в Минске не видел.

Здесь же, на Ленгорах, сдавая экзамены, я ночами читал запрещенные стихи Мандельштама и Пастернака — обернутую соседом-абитуриентом в «Известия» Антологию русской поэзии, изданную в США американским профессором с фамилией русее не бывает: Борис Филиппов...



Сергей Юрьенен и Лев Баркан на молодежном фестивале Прибалтийских республик и Белоруссии. Рига, 1964

В Б-222, первом моем «блоке» Главного здания (ГЗ в дальнейшем), на следующий день после вселения в качестве студента я обнаружил подsunутую под дверь листовку — первую в жизни увиденную не в музее. Меня призывали на Пушкинскую площадь в защиту исключенных студентов. Пойти? Но я уже сходил на похороны Эренбурга, где столкнулся с милицией и КГБ. Наглядный результат такого типа поведения был не далее, как в соседней комнате, где временно проживал вели-

ковозрастный заочник, отсидевший за попытку побега из СССР и теперь печатавший куплеты в журнальчике «Клуб и сцена». На этом основании заочник стремился к общению, от которого я уклонялся. Не ответил и на страстный призыв показать себя не тварью дрожащей, не молчаливым большинством, а «политическим животным». Порвал листовку, спустил в унитаз и отправился по объявлению о продаже с рук англоамериканских покетбэков: мечтал найти *Ulysses*. Я рылся в картонке, которую оставил британский стажер, а подвыпившие старшекурсники в ожидании, когда я выложу деньги, решали кого послать за водкой и, гогоча, вели такие разговоры со своими пожилыми девушками, что у меня, листающего книги и стоящего на колене к ним спиной, горели уши. «Ты машку свою бреешь, Машк? А покажи?»

В тот день попался мне только D.H.Lawrence — увы, не *Lady Chatterley Lover*.

Э Ноябрь 1971-го года. Мы, старшекурсники филфака МГУ, проходим педагогическую практику в московской школе 16 с литературным уклоном (около Ленинского проспекта). Нам поручено вести классы под наблюдением М., учителя литературы. Он незаурядный учитель, лет 30, яркой гусарской наружности, любимец своего класса. Как порой бывает с учителями словесности, подавившими или не развившими в себе какой-то литературный или филологический талант, он тяготился своим положением учителя и компенсировал это запоями, к которым его ученики относились с пониманием и состраданием и старались помочь. М. был настроен резко антисоветски и не скрывал этого от воспитанников — некоторые его выпускники и сами потом пошли в настоящие диссиденты. На своих уроках он был бесстрашно откровенен. Мы успели с ним пообщаться до занятий — и признали друг в друге «своих», не диссидентов, конечно, но нормально иначе мыслящих интеллигентов.

И вот в этом элитарном литературном классе, избалованном рафинированным учителем и повидавшем всяких именитых гостей, поэтов, писателей, филологов, я вел занятия по творчеству А. Блока. Горел, парил, взмывал, особенно с учетом того, что меня с живейшим интересом слушала одна ученица, вдруг ставшая мне небезразличной (а потом ставшая другом). И вот — поэма «12». Я описываю демоническое вдохновение, охватившее Блока, разоблачаю иллюзию, что красные, стреляющие в Христа, сами его бессознательно исповедуют, говорю о варварстве уличных орд («запирайте этажи») — и, в историческом контексте 1918 г., употребляю выражение «советский режим». Выражение это, что сейчас трудно понять, было сильно антисоветским, видимо, потому, что «режим» — это нечто временное. Но логически, конечно, трудно объяснить, почему «советская власть» — это хорошо, «ура!», а «советский режим» — это плохо, «долой!» Такая была устойчивая коннотация, которую я, конечно, осознавал, но в пылу лекции не придавал значения — ну, переступил на вершок, так мы же здесь свои люди, мы все понимаем, М. и не такое вам говорил.

Что делает М.? Он сидит на задней парте, слушает практиканта. Что-то там, в моей речи, его уже, видимо, настораживает, а когда я дохожу до «советского режима», он поднимается и взмахом руки обрывает меня: «Я прекращаю урок. Так говорить недопустимо!» И идет к директору школы докладывать об антисоветской пропаганде в классе. Уж не помню, повел ли он меня за собой к директору или она сама пришла и вывела меня из класса, но от преподавания меня отстранили по идеологическим причинам. «Мы сообщим в университет, и там решат, что с вами делать дальше. У нас вы больше не будете вести практику». А это был последний, выпускной год в университете, уже просматривался красный диплом (с отличием). Да какой там красный диплом, мне бы теперь волчий билет не получить, т.е. вообще не вылететь из университета с недопущением во все другие, — за антисоветскую пропаганду! Да

еще где — в школе! и это кто, будущий педагог, наставник юношества? Что делалось с мамой, у которой я — единственная надежда (папа в 1969 г. умер). Да что делалось и со мной!

Руководителем нашей педпрактики был некто Василий Журавлев. Каким-то невероятным образом ему удалось замять скандал по поводу моей антисоветчины. Не знаю, что он для этого сделал. Может быть, наоборот, чего-то НЕ сделал: кому-то не позвонил, не донес, не передал, не возбудил дела. Поступил не по правде, но и не по лжи, а в ту эпоху это было самое драгоценное. И вообще как-то вдруг он исчез с моего горизонта. Большое ему за это человеческое спасибо. Практика закончилась. В школу я больше не приходил. Но и в университете о моем антисоветском поведении никто не заговаривал, тревоги не поднимал. Так это само собой и рассеялось.

А М. я с тех пор не видел. Мой друг Е. который тогда учился в этом классе и сидел передо мной на уроке, — объяснял мне потом со слов М., что тот решил, будто я нарочно устраиваю провокацию. Подставляю его как учителя. И тогда он решил подставить меня раньше, чем я его. «Но как же, — удивляюсь я, — ведь он сам был такой антисоветчик!» — «Именно поэтому, — объясняет Е. — За ним водились грехи, и тут он решил одним жестом сразу себя обелить, выставить стражем порядка». Была и другая, не политическая, а психологическая версия, у той девочки: М. возревновал ко мне свой класс, который его боготворил, — и, добавляла она, после этого скандала от него некоторые отвернулись. Я же ни тогда, ни сейчас не понимаю, почему, если он был встревожен, то по-дружески не подошел ко мне, не отозвал в коридор, не попросил быть осторожнее, — почему так торжественно взмахнул рукой, открывая путь моему позору и возможному изгнанию из университета (он не мог себе этого не представлять)?

Или это не его вина, а двусмысленность самого времени, когда человек, откровенно говоривший то, что думал, или хотя бы чуть-чуть проговаривавшийся, рисковал дважды: во-первых, как диссидент, во-вторых, как возможный провокатор?

Он рисковал своей жизнью — перед властями, и своей честью — перед единомышленниками. Сколько было случаев, когда настоящие, жертвенные диссиденты объявлялись — или вправду являлись — вольными или невольными провокаторами. Самое тяжелое состояние общества — когда честное выступает как двойник бесчестного. И тогда получается, что честнее всего — бесчестно молчать, т.е. избегать малейших вольностей, чтобы не выступить, не дай Бог, в роли невольного провокатора. Должен ли я был повторять о Блоке лживые слова учебников или в лучшем случае только разукрашивать их, оставаясь в пределах лояльности? Было бы это честнее по отношению к М.? Наверно, да. А по отношению к ученикам, жаждавшим хоть крупицы правды? А по отношению к себе, который впервые в этой классной комнате решал для себя, каким ему быть дальше, во всю предстоящую жизнь?

У М., по слухам, оказался печальный конец — он спился и вынужден был уйти из школы...

А теперь, рассказав всю эту историю со своей точки зрения, я хочу представить иную, более умудренную. Как если бы мне об этом рассказала умная, расположенная ко мне, но открытыми глазами на меня глядящая женщина. Например, та же самая девочка, если бы она могла воскреснуть и стать моей уже седеющей младшей сверстницей. Она помогла бы мне понять, почему я сам в этой истории нравлюсь себе еще меньше, чем М..

Говорит она: «М. чувствовал, что на его век «советского режима» точно хватит — так зачем растравлять себя и других этой жалкой, бессильной антисоветчиной? Для него это было последним шансом выделиться, проблистать, заслужить самоуважение. Да, он не автор книг, не писатель, не ученый, не университетский профессор, но это потому, что он смеет говорить правду, и ученики за это его любят, верят ему, верят в него. И вот в этом, самом задушевном, ты решил его превзой-

ти, отобрать у него единственное его превосходство — быть самым смелым и честным перед своими мальчиками и девочками. Пусть ты был начитаннее, речистее (совсем не факт, но допустим). Но он-то уж точно имел все привилегии на откровенный и бесстрашный разговор со своим классом, на доверие своих учеников. Ты и в этом, последнем, захотел отнять у него лавры, — быть еще откровеннее, еще бесстрашнее. В чем же тогда он мог отстоять свое превосходство, свое право на это место, на этих людей? Как иначе он мог осадить тебя, пришельца-завоевателя? Показать всем, что твое бесстрашие — это опасная игра, провокация, направленная против него М., а в конечном счете и против всего класса. Пойдут слухи, класс распустят, М. останется без работы, класс — без Учителя. Да, он многое себе позволял, шутки, анекдоты, намеки, но даже директриса его терпела, даже инспектора РОНО, потому что право на маленькую антисоветчину он заслужил долгой работой на большую систему — протиранием штанов на учительском стуле, проверкой сотен тетрадей, исправлением тысяч ошибок, корпением над оценками, томлением на собраниях и проработках. Он похоронил себя в этой школе, в этих детях, чтобы из них пробилась хоть какие-то ростки. А ты пожелал права на антисоветское без заслуг перед советским, — одной легкой рукой сорвать весь банк, всю дань вздохов и восхищений. Влетел блестящей шаровой молнией, чтобы тут же вылететь в другое окно, а после тебя — всему взорваться?!

Вот за все это ты и получил. За свою наглую юность! За самонадеянность выскочки, за то, что посмел отбивать чужое стадо у законного пастуха. За то, что самая умная и таинственная девочка класса так смотрела на тебя! За то, что у тебя впереди было все — другие девочки, ум, не разрушенный алкоголем, и возможность жить в другое время и в другой стране. Бедный М.! Он должен был прекратить это издевательство над своей жизнью, которую ты на его глазах сводил к нулю. Разве он виноват в том, что оказался жертвой того самого «советского режима», который ты так походя, теоретически

клеймил? Ты думал, что свергаешь советскую власть, а ты свергал его, М.. Полностью отомщен М. будет тогда, когда на твоих глазах другой — тот, что моложе, и умнее, и вдохновеннее, на твоей же территории, перед твоими же учениками отеснит тебя... Не дай тебе этого Бог! Именем М., будь всегда и везде вторым... Именем всех, кто не состоялся...»

Ю Наша страна не упустила возможности заранее поставить нам пределы, введя в игру существования потенциально фатальный фактор. Именно в тот год, когда мы поступили в МГУ, главный «оплот вольномыслия», в другой трехбуквенной аббревиатуре новый ее шеф создал специальную структуру для борьбы с идеологическими диверсиями иностранных государств.

В юридической литературе и комментариях к уголовному кодексу РСФСР можно было прочесть (но мы в то время игнорировали такие тексты): *«Идеологическая диверсия — это такие способы воздействия на сознание и чувства людей, которые направлены на подрыв, компрометирование и ослабление влияния коммунистической идеологии, на ослабление или раскол революционного и национально-освободительных движений и социалистического строя и осуществляются с использованием клеветнических, фальсифицированных или тенденциозно подобранных материалов как легальными, так и нелегальными путями с целью причинения идеологического ущерба».*

Именно с этим призвано было бороться созданное Ю.В. Андроповым сразу после его назначения в мае 1967 года на пост председателя КГБ 5-е Управление, которое получило известность, благодаря борьбе с диссидентами (от лат. *dissideo* — не соглашаюсь, расхожусь) — лица, отступающие от учения господствующей церкви (инакомыслящие). То есть, лица, не соглашавшиеся с политикой советского правительства по тем или иным вопросам внутренней или международной жизни, трактовались КГБ как «инакомыслящие». Над всеми нами был подвешен фирменный их меч в виде статьи 70 УК РСФСР

(антисоветская агитация и пропаганда) и статьи 72 (организационная антисоветская деятельность).

Кто эти «все мы», сколько нас было?

Есть данные (см. «Новости разведки и контрразведки», 2003, № 7-8, с. 30), что «по оценкам самого Андропова, “потенциально враждебный контингент” в СССР составлял 8,5 млн. человек». Фаворит Андропова и глава 5-го Управления Филипп Денисович Бобков постфактум давал еще более конкретные цифры. Если в 1956-1960 годах, за антисоветскую агитацию и пропаганду (по статье 58-10 УК РСФСР 1928г.) было осуждено 4 676 человек, в 1961-1965 гг. (по статье 70 УК РСФСР 1960г.) — 1 072, то в 1966-1970 — 295, а в 1981-1985 — 150 человек.

Размах работы ретроспективно впечатляет. По данным архивов КГБ СССР, за период 1967-1971 гг. было выявлено 3 096 «группировок политически вредной направленности», из числа участников которых было «профилактировано» 13 602 человека. В 1967 г. было выявлено 502 таких группы с 2 196 их участниками, в последующие годы, соответственно, в 1968 г. — 625 и 2 870, в 1969 г. — 733 и 3 130, в 1970 г. — 709 и 3102, в 1971 г. 527 и 2 304.

Сколько при этом было лиц, взятых «на оперативный учет»?

Нам с тобой и в этом плане повезло. Мы состояли на особом учете, на привилегированном — у нашего ровесника, соратника и сына главы 5-го Управления КГБ. Мой гуманитарно образованный тезка держал нас в поле своего внимания, давал свои оценки, делал свои выводы. Помимо факультетских, у нас с ним было две встречи тет-а-тет. Потом, напуганные тем, что нам открылось, мы с ним взаиморастолкнулись.

В 1972 году на Ленгорах, у подоконника филфака, мой тезка угостил меня — нарочно не придумать! — польской сигаретой «Carmen»³ и дал понять, что в курсе «моих знакомств с

³ Которые, согласно надписи, содержали американский табак и были, поскольку из соцлагеря, паллиативом для нежелающих выглядеть

девушками из Иностранной группы». На 5-м Всесоюзном совещании молодых писателей, в холле гостиницы «Юность», он без предисловий (а прошло лет 5-6) заявил, что оценил мою тайнопись в производственном очерке «Главные люди»; и даже процитировал мне «место».⁴ Так и продолжалось до моего финального убытия в Париж: встречи на ходу в ЦДЛ, фраза-две с его стороны, которые говорили о том, что я — «в его списке». К тому времени он начал носить темные очки, а список вполне мог оказаться «черным» - не попади я в ситуацию неожиданной и никем не предвиденной исключительности - благодаря жене-парижанке⁵.

См. АНДРОПОВ, ДИССИДЕНТСТВО, ИДЕОЛОГИЯ, «МОСКВА, ТЫ КТО?», ПОЛИТИКА

«низкопоклонцами»: КГБ времен Андропова было щепетильным. В отличие от ЦК КПСС, где в открытую курили настоящие американские.

⁴ Зато ты, Миша, догадался о злоумышленности названия, которое «сублиминально» должно было отсылать к «Бедным людям» — дебюту ФМД.

⁵ ГАЛЬЕГО РОДРИГЕС Аурора (1946–2009). Переводчица художественной литературы, внесена в Индекс лучших переводчиков Франции с иностранных языков (английский, русский, испанский, польский, чешский и др.). Дочь Игнасио Гальего, «исторического лидера» Испанской КП, генерального секретаря Компартии Народов Испании, вице-президента кортесов. Мать Рубена Гальего, писателя, лауреата премии Букер/Открытая Россия (2003). Родилась 14 сентября 1946 г. в Нейи-сюр-Сен, Франция. С 1950 по 1956 жила в Варшаве. По возвращению во Францию закончила лицей в Монрее под Парижем. С 1966 по 1977 училась на филологическом факультете МГУ, затем — в аспирантуре Института мировой литературы им. Горького. Весной 1972 г. познакомилась в МГУ с Ю. и до осени 1998 была его женой.

Б

БАБИЙ ЯР



Бабий Яр. 1958

Ю *Из парижских манускриптов:*
Неподалеку стояло редкое дерево: на нем росли грецкие орехи. Невысокое такое дерево. Орехи были еще неузнаваемые: зеленые, мягкие. Когда он потрогал, стоя под деревом, то подумал, что зрелыми их не увидит. Жесткими, твердыми, замкнутыми, непроницаемыми. Зело тверд сей орешек, говорит отчим, медленно сводя пальцы в кулак, внутри которого пара грецких орехов, зело тверд, но не для русского кулака.

А вокруг был пустырь. Небольшой такой пустырёк, обнесенный помойной бузиной. Дни стояли знойные, и из-под бузины, заслуживающий свой эпитет, наплывали запахи гниения. Только внутри можно было спастись от вони. Внутри был один запах — крутой, обжигающий ноздри, спекающийся в легких. Запах нагретого металла. Запах толстой брони. Запах неуязвимости.

С фотоснимка с узорчатым обрезом улыбаются две женщины и по-разному смотрят два мальчика, их сыновья, другого зовут Миша⁶. Не вспомнить, кто снимал, но моим рукам вспоминается и вес, и шероховатость дорогого фотоаппарата, и страх отзывается в моих пальцах, вслепую ощупывающих

⁶ БОГИН, Михаил Шоломович (1946 –2000). Окончил факультет драматического искусства ЛГИТМиКа (1973). Работал режиссером в ленинградских театрах, режиссировал концерты на радио, телевидении Ленинграда, Новгорода, Горького, Иркутска, Рыбинска, Читы, Ташкента, Алма-Аты, Владивостока (1973-1983). Преподавал актерское мастерство, режиссуру и теорию драмы в вузах и театральных студиях, доцент кафедры киноискусства Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения (до 2000). Автор пьесы «Баллада о парнишке» (1972). Второй режиссер на Киностудии «Ленфильм» (с 1983), снял фильмы: «Это было у моря» (1989); «Такси-блюз» (1990); «Я служил в аппарате Сталина или песни олигархов» (1990); «Большой концерт народов или дыхание Чейн-Стокса» (1991); «Хрусталеv, машину!» (1998). Скончался 3 августа 2000 г.

непривычный рельеф в поисках спусковой кнопки, и трудно усомниться в памяти своих рук, но, с другой стороны, тот другой мальчик, который не толстый, не скрестил над выпяченным животом свои руки, не в войлочной шляпе, не на переднем плане и не стал впоследствии кинорежиссером, тот мальчик, содержащий в себе тьму тьмущую возможностей... тот мальчик без судьбы, но рядом с матерью... тот мальчик, Господи...

Они стояли над оврагом, пятнистые от солнца и листвы, и дом в киевском Подоле, где жили Богини, был минутах в пятнадцати... точнее, был неутомительно близко, а овраг, что удивительно, имел свое название, довольно странное, Бабий Яр, — ну, пусть я один такой темный из всех русскоязычных на Божьем свете: сознаюсь, раскрыл последний том словаря... так, стало быть, из тюркских темных языков и означает крутой, обрывистый берег. Обрыв. Областного значения словцо.

И рой догадок: отчего же Бабий?..

Ох, мать городов русских, я, разрозненная частица некогда крещеного тобой народа, православная моя мука, отчаяние неверия, ибо как принести в жертву точность? И разве не судьба — погибнуть, сгнуться и рассеяться, но — точным. Не сорвавшись с линии, приемлемой душе, и только лишь тебе, душа, одной. Одна из точных линий — вот приложение усилий.

Итак.

Неподалеку дерево стоит.

БАССЕЙН

Ю Однажды, в порядке познания столицы СССР (а если говорить «аналитически» — то в поисках утраченной материнскости) я посетил в крещенские морозы бассейн «Москва», организованный на месте взорванного храма, и убедился в его inferнальности. Холод тех раздевалок, жуть той хлорированной воды. Вместо доверия к

символу всезащитающего чрева — полное опаски отчуждение. Несмотря на прожекторный свет, ничего не видно от клубов пара, голова мерзнет и не оставляет мысль, что могут утопить в порядке столичных развлечений (тогда ходили слухи о жертвах этого бассейна). Я отдергивался и уносился кролем прочь, соприкоснувшись с посторонним телом. Но я попал удачно, не слишком поздно, и, кроме меня, в раздевалке был только москвич средних лет с сыновьями-подростками, на которых я, «безотцовщина», смотрел снисходительно, нахлобучивая на мокрую голову пыжик... Зима 1967-68. 1 курс.

Э Помню эту иссиня-неоновую, подкрашенно-подсвеченную воду, и как надо было подныривать с головой под загородку на входе-вплыве из раздевалки. Как морозный воздух щипал ноздри и мокрые волосы. Какой был уличный шум, смешанный с ближним плеском, — вокруг резвились русалки, и я не без умысла пересекал им дорогу. Какое-то сладкое томливое чувство меня влекло в эту дымящуюся дыру, живую оттепель, паровую отдушину в центре морозной Москвы.

БАХТИН

Э Ты видел один раз Ю. В. Андропова, а я — Михаила Михайловича Бахтина, к которому попал по милости дочери Ю. В. Андропова, молодой и красивой филологини Ирины, которая ходила в семинар к Владимиру Николаевичу Турбину и по его просьбе выбивала для Бахтина какие-то медицинские и жилищные блага у высшего начальства. Весной 1970 г. Турбин повез своих семинарцев в Подольск, чтобы показать им «льва» и чтобы он «помахал им хвостиком». Бахтин был (как теперь принято говорить) «культовой фигурой» в турбинском семинаре, посвященном приложениям и переложениям бахтинского наследия. Сначала мы пололи и поливали какие-то грядки во дворе подольского дома для пре-

старелых, где в то время жил Бахтин с супругой (московскую квартиру он получил позже). Это нужно — объяснил Турбин — чтобы задобрить начальство престарелого дома и показать им значимость Бахтина. А потом в награду мы получили право на свидание с Мыслителем. Он сидел на кровати, рядом с ним, выставив босые ноги с педикюром, сидела его жена, худенькая, похожая на птицу и так же щебетавшая. Нас было человек 15-20, семинарцев и примкнувших, но говорил, кажется, только я, забросав Бахтина вопросами по теории новеллы (которой я тогда занимался) и о его философских симпатиях. Вообще мне трудно бывает заговаривать в компании, даже не столь большой, но когда случается редкая встреча, удача которой может не повториться, меня несет, как случилось и во встрече с Битовым (см. ниже). Моя речевая наступательность (в основном, вопросительная), возможно, объяснялась и тем, что я старался заполнить паузу, — все другие молчали.

Бахтин говорил не слишком много, но и не отмалчивался. Он признался в философских симпатиях к Максиму Шелеру и О. Болнову (Bolnow), ученику Хайдеггера. Он сказал нечто о значимости К. Маркса и Ф. Ницше и о том, что учение последнего, к счастью, не отягощено догматикой и схоластикой (возможно, это его суждение я позже слышал от Турбина, вряд ли он так доверился бы студентам, тем более пришедшим по наводке дочери Андропова). Он посетовал, что в русской и советской науке теория новеллы почти не разработана, и приветствовал мой будущий вклад в нее (здесь нужно поставить значок улыбки). Он вспомнил в какой-то связи про серийные романы рубежа 19-20 вв. о приключениях Рокамболя и посмеялся вместе с женой над чепухой и абсурдностью тех сюжетов. Он пренебрежительно отозвался о теософии и антропософии, назвав это мистикой низшего разбора. На вопрос, чем он занимается как ученый в последнее время, Бахтин ответил: теорией речевых жанров. Он точно так же мог бы ответить на этот вопрос и десять, и двадцать, и сорок лет назад. Я ушел не очарованный и не разочарованный, но под сильным впе-

чатлением самого факта встречи с великим человеком, который вовсе не обязан демонстрировать свое величие всякому встречному-поперечному, тем более третьекурснику.



М. М. Бахтин. Из всех фотографий ближе всего к тому, каким я его запомнил

Ю Слухи об этой исторической встрече дошли и до меня на Ленгорах. И о том, что Бахтин почесывал седую грудь. И о том, как вы разобрали на сувениры всю пачку его печенья «Лимонное».

Я со школы перечитывал обе книги — «Проблемы поэтики Достоевского» и о Рабле. Концепт полифонизма отвечал моей толерантной антитоталитарности, тогда как «карнавализация», «смеховое начало» — это, конечно же, раскрепощало. «И низ материально-телесный/Был у нее прелестный» — не будущий ли наш приятель сочинил?

БИТОВ

Ю Боже, какой значительностью все было исполнено — поход к Писателю...

Севастопольский бульвар, зимнее начало 1971-го. Я звоню тебе из ГЗ, из роскошно-дубовой «сталинской» телефонной будки в фойе своего этажа. Тебе, потом Битову. Мы договариваемся о встрече. Связник. Соединитель. Ты его читал, но о тебе он знает только от меня. Консолидатор. Волнение в обе стороны. Чтобы тебе понравился. Чтобы понравился ты.

Сырой холод. Мокрый московский снег. Жужжание грузовиков. Рыжие колеи. Район новостроек. Мы купили пиво и несем в лохматой авоське (откуда у нас? Но была...). Звон бутылок на узкой лестнице. Обстановка советского студио — однокомнатной квартиры. Кровать, «стенка». Столик под лакированной подвесной полкой. Блеск стекол, блеск темного лака — ненавистный образец мебели, которая экономит пространство. Что стоит на подвешенных полках со сдвинутыми стеклами? То, чем он восторгается на тот момент. Академическое издание. «Рукопись, найденная в Сарагоссе». Ян Потоцкий. (Барокко не любя, не разделяю восторг. Не знаю, что судьба готовит мне испанку, у которой среди прочего и польский опыт, и язык).

Пробитые его когтями кружочки клавиш. Паршивая заедающая машинка, творящая в высшей мере рациональную лирику, которая тогда была пределом публикабельности. Сидим неудобно. Тесно. Ты самый младший и наименее светский — скажем так, имея в виду твою бесцеремонную настырность. Что неожиданно. Встреча проходит не так, как представлялось. Битову, видимо, тоже, он бросает взгляды на меня. Не ждал он, что его эго нарвется на эго 20-летнего Эпштейна. Твой бадиленгвидж. Порывистость до того, как сел — и придавил всей гравитацией. Тяжесть твоей неподвижности. Твое самообъятие — пределы тебя, себя в них заключающего.

Иногда ты его размыкаешь, чтобы взять со стола стакан с холодным «Жигулевским». Горьковатым. Пьется плохо. Хочется тепла. Согреться нечем. Жрать, как всегда у Битова, нечего. (Раз в Питере с Ингой Петкевич угостили. Жареные сосиски с гречневой кашей, тоже со сковороды. Но и то пришлось за хреном в гастроном напротив через Невский, потому что у них кончился, а я не мог без и чувствовал, что должен внести вклад. Купленный мой хрен был изготовлен на заводе *Ильича* — на что за столом, придвинутым к стене в полосатых обоях, я обратил внимание супругов, заслужив похвалу за антисоветскую наблюдательность. «Какой *закомплексованный* юноша», — предполагаемый комментарий Инги Петкевич, от которой я впервые услышал это, впоследствии модное, выражение — по поводу другого визитера).

Твоя холодная самоуверенность. Его питерская спесь. Он только что из-за своей первой заграницы. Преимущества члена СП СССР. Польша. Купленные там американские джинсы. Знакомство с Анджеевским, автором романа «Пепел и алмаз» (который уступает фильму, но тоже мною очень почитаем). Его смятенность. *Зачем все это ему нужно?* Прагматической пользы ноль. Я-то хоть Набоковым обеспечиваю — и конфидент со стажем. Со «вкусом» — признанным за мной давно. Кайф в плане московской коммуникации ему приносит только Юз Алешковский, который и подкармливает заодно. Битов нервничает. Отбегает, чтобы заняться манипулированием с кофемолкой — полированный цилиндр металла, который с треском он накручивает. Схватившись, как за символ фаллопревосходства. Запах кофе (если не в тот раз, то в другие точно). Я самоустраняюсь, предоставляя вас друг другу.

Вид из окна на заснеженное пространство между панельными домами небытиен, как существование, на которое мы обречены. В которое мы сейчас вернемся, разойдясь по своим в нем «местомигам». Которое может прорезать только это, что мы тут втроем переживаем, — контакт. Коммуникация. Но с твоей стороны в ней занят только мозг. Который обслуживает необходимое тебе самоутверждение. Ты подавляешь человека,

который старше тебя на 13 лет, своим количеством сюжетов. Своим потенциалом.

Чем закончилась встреча? Возможно, мы уходим, провожая его на встречу с Юзом — в драповом пальто, гневно-ревниво сверкающего на нас своими красными глазами. На *пацанов*.

Мы выходим на улицу. Мы остаемся внутри поколения, которое состоит из нас двоих. Никого больше я не знаю, а если знаю, то почему-то мне неинтересно. Ты интересен. Ты у меня — такой.

После этого телефонные упреки Битова. «Зачем вы привели ко мне...» Тем не менее, и в этом весь Битов, сепаратные отношения между вами возникли незамедлительно.

Чему я — консолидатор по природе — был альтруистично рад.

Э От Битова и тебя исходила аура Прозы, в которой я, несмотря на все юношеские порывы, чувствовал себя чужаком. Лет 5 — университет насквозь — я провел в этом разделенном с тобой прозаическом томлении, писал рассказы, хотя в лучшем случае мне следовало бы писать только сюжеты, планы, конспекты.

В первую встречу, тобой изящно и щадяще рассказанную, я передал Битову какие-то из своих писулек. И вот вторая, главная встреча, приговор Мастера.

Из дневника. 11.3.1974.

«Ресторан «Ялта», потом у Битова на квартире, потом пришел Сережа и вечер провели у Сережи. Б. страшно талантлив, речь великолепна, заморозил, мысль течет полноводно и не поддается переложению и обработке. Разговорно агрессивен, все темы берет себе и на себя, крайне монологичен.

О моих рассказах: очень точны на уровне замысла, сюжета, философской идеи, но не вполне пластичны, не хватает реальности. Читатель понимает все авторские ходы, сочувствует

им, но не подчиняется, не овладевается. Я беру сразу слишком далекие вещи. Раздражает духовность, тонкость, - нужно тонкость выводить из грубых вещей; цена грубой мысли. По проблеме лучше всего «Гость» (нелюбовь оказывается сильнейшим чувством), по написанию – «Мертвая Наташа». Слишком чувствуется любовь автора к себе, самолюбование посредством саморазоблачения. («Паломник»). Выдаю о себе больше, чем собираюсь сказать, - проговариваюсь (впрочем, как и Толстой, Достоевский). Свежесть и цельность нравственного чувства (он мне «завидует»). Замысел романа одобрил. Предлагал по мере накопления приносить».



*С Андреем Битовым у него на Красносельской.
Москва, 2003*

Когда я в московском ПЕН-центре, вернувшись в Россию первый раз за 13 лет (2003), встретил его президента Андрея Битова на чествовании ветеранов ко Дню Победы, он сразу вспомнил этот первый эпизод. «Приходит ко мне 20-летний

Миша и спрашивает: «У вас сколько задумано сюжетов?» Ну я повертел в голове, вроде 7 или 8. «А у меня, — он говорит, — 138». Даже цифру запомнил. Вот так я тогда, в 1971, по глупости и гордыне мерился с Битовым. Разница в том, что он все свои 7-8 воплотил. И даже больше. А я из 138 — ни одного. Потому что все мои сюжеты очень быстро проговаривались, это была не Проза, а Сюжет (или Конспект) как отдельный микрожанр.

Ю Меня ошеломил («*О*уенно хорошо!*» - повторял я, как в записных книжках у тебя сохранено дословно) твой, Миша, прозаический дебют — «Мертвая Наташа» и другие рассказы цикла. Я понимал твою интенцию к универсализму, но — среди прочего, так сказать, — ты для меня был и остаешься метафизическим прозаиком, на краткое мгновение в конце 60-х — начале 70-х выставившим свои «рожки» и тут же их втянувшим их обратно в панцирь. Пренебрегшим своей невероятной сюжетобразующей потенцией ради того, чтоб стать, кем стал — гуманитарным Солярисом. Самостоятельной Вселенной.

Впрочем, что значит «пренебрегшим». Твои примеры в «Даре слова», эти «свернутые» романы, — замечательный пример сверх (русской) литературы.

См. ПИСАТЕЛЬСТВО.

БРОДСКИЙ

Э Мы ведь не были бродскианцами? Или все-таки?..

Ю Не до фанатизма, во всяком случае. Про «рыжего» гения впервые я услышал еще в Ленинграде мальчиком. От Гольданской, подруги мамы и сестры известного академика⁷, который, там случившись после своего возвращения из США, сестру, как мне помнится, в смысле гения поддерживал, — в квартире Мирры Иосифовны Гольданской на Марата юный Иосиф читал стихи. Это было еще до статьи «Окололитературный трутень» в ленинградской газете «Смена» (1963), но я — 12-13-14 лет — уже был отравлен самиздатской поэзией Питера. К ней, «истинной, но непечатной», приобщала меня Зика — Земфира Викторовна Типикина, моя старшая ленинградская сестра, студентка пединститута имени Герцена.



С сестрой Земфирой. Невский проспект, 1972

В МГУ, таким образом, я просто продолжил эстафету.

Жаркий май-июнь, 1968. В общежитии, в Пятом еще корпусе, вошел, небрежно стукнув, и оторопел — красавица Айзенштадт спала нагая, вся в испарине, так что невероятной красоты пубис проступал как бы сквозь туманец. Ошеломленный, сделал шаг назад и, затворяя дверь, оглядел коридор —

⁷ Виталий Иосифович ГОЛЬДАНСКИЙ (1923 — 2001).

не воспользовался бы кто этой странной доверчивостью. Заснуть среди бела дня прекрасной и голой с незапертой дверью в корпусе, полном козлов...

А вот внутри этого воспоминания еще одно, только что возникшее: я же явился к этой не-Данае в срок, ей же и назначенный, по самиздатскому делу, за стихами Бродского.

Затем перестукивал на своей машинке в предбаннике умывалки — комнате для чистки ботинок, где стоял деревянный ящик с колодкой. Резонанс от Бродского был охуенный (эпитет не для эпатажа, а звукописи ради). «Через два года изнасятся юноши... через два года. Через два года...»

Э Именно за эти стихи я, признаюсь, недолюбливал автора в те годы, воспринимал его как заурядного (анти)советского циника. «Перемелем истины, переменим моды...» Верил, что мы не изнасимся ни через два года, ни...

Ю А вот через 11 лет в Париже я подарил новопривышему на Запад Алешковскому свою любимую «Колибри». Не без психологического нажима со стороны Юза, который в США передарил ее Бродскому. Бывшую мою машинку можно видеть на многих фотоснимках из нью-йоркской квартиры поэта. В Мюнхене на Радио Свобода, получая от Бродского письма (неличного характера), я узнавал шрифт, который впечатался в мой «гештальт» с тех самых пор, о которых говорим.

См. ПИШУЩАЯ МАШИНКА

БУДУЩЕЕ

Ю *Из парижских манускриптов:*

Москва, 1967. Из Коммунистической аудитории (МГУ, на проспекте Маркса) мы вышли на сентябрьское солнце, и ты, мой милый и единственный друг, оставшийся в эпицентре апокалипсиса как очевидец и летописец распада, хулимый в 1982 году со страниц многомиллионно-тиражной «Литературной газеты» за грубую асоциальность и космический стоицизм, а тогда — 17-летний мальчик, только что кончивший с золотой медалью среднюю школу, сдавший в МГУ на все пятерки, вынудивший их тебя принять, невзирая на лимиты, ограждающий вузы страны от проникновения таких, как ты, спросил:

— Кем ты хочешь стать, Сережа?

— Писателем, — ответил Сережа, щурясь на золотые купола, торчащие над зубастой кремлевской стеной, как груди прилегшей там на отдых гигантской амазонки. Не все мужчины еще добыты...

— Да... Но какого масштаба?

— Если удастся достигнуть масштаба Казакова, буду удовлетворен.

— Неужели?

— Вполне.

Я видел, что он поражен скромностью моих претензий. Он сдержанно молчал, потому что мы только что познакомились.

Где-то через месяц, пьяные, мы шли в обнимку мимо громады университета на Ленинских горах, две крохотные фигурки, растворялись во тьме меж фонарями...

— Мне еще только 17... Пять лет на университет, три на аспирантуру. Двадцать шесть... В 26 я буду гений! — Вырвался и закричал, быть может, впервые в жизни во весь голос:

— Я все переверну!

И кулаками потрясал, воздевая их к сигнальным огням здания, красным среди звезд. Час назад в общежитии он выпил кружку «старки». Эмалированную. Не для того, чтобы сравняться с нами, общежитейскими, а от ужаса, я думаю, — потому что попали мы в компанию наших сокурсников, которые принимали в 5 корпусе столичного гостя. Сын одного из боссов КГБ, давно спившийся «вечный студент» компетентно рассказывал нам, обомлевшим провинциалам, о методах казней в застенках ведомства папы, о выстрелах сквозь тайное отверстие сзади — в основание черепа...

— Перевернешь, — поддакнул я, несколько уязвленный мегаломанией друга, который был двумя годами младше.

Резко, разбрызгивая лужицу, он повернулся.

— Думаешь, нет?

— Думаю, да. Если дадут точку опоры.

— Мне? Ха! Мне не дадут. Мне и не нужна. Я сам себе точка опоры. Сам, сам!.. В 26! Увидишь.

Я посадил его на 111-й автобус.

Махнул вслед удаляющимся огням и под морозящим дождем пошел обратно в общежитие, мучаясь своей, как мне казалось, неспособностью к иллюзиям.

Какие убогие претензии к миру у людей. До этого момента, кроме себя, я знал только одного человека, который перед нашим расставанием в привокзальном ресторане города Минска изложил сверхзадачу: стать действительным членом Академии наук с тем, чтобы безнаказанно предаться преступному сладострастию. Стать гением Зла. Мой новый друг хочет стать гением Разума, хочет, чтобы мозг его разросся, как это гипертрофированное мегаздание, которое для нас построил Сталин: мимо иду и все никак его не миную... А я? Вру, извещая друзей, что хочу стать писателем. Тогда как на самом деле хочу стать хорошим человеком, а это не тот прожект, о котором стоит кричать на всех углах.

Засмеют-с. Вот и Битов не одобрил, когда я рассказал ему про замысел романа «Иногда хороший человек».

То есть, и писателем хочу, конечно, но таким, перо которого целиком поставлено на службу человеку, идущему в этой жизни стезей нравственного самоусовершенствования. То есть, писателем *русским*. В уме я всегда добавлял этот эпитет, со словом писатель для меня неразделимый. Ведь вся наша национальная идея, считал я тогда, — самоусовершенствования. Так что это понятие «русский» — для меня было чем—то вроде моральной категории. Вроде повышенного правдолюбия.

В отличие от понятия «советский», которое было категорией аморальной.

Э Спасибо тебе за этот эпизод 1967 г., чудом сохранный! Я начисто не помню — да и понятно, после «Старки»; а вот кбэшный рассказ чуть-чуть сейчас разморозился во мне, тошнотворно зашевелился, отогревок. Эти мальчики на Ленгорах, один хочет перевернуть мир, а другой — «всего лишь» найти Бога и стать хорошим русским писателем... Кажется, даже Герцен и Огарев на тех же горах, еще Воробьевых, хотели меньшего от себя, клялись в ненависти к деспотизму и посвящали себя борьбе с провинциальным самодержавием. За сто с лишним лет Воробьевы взлетели до Ленинских и ставки в игре повысились, мы стояли в центре «Империи Зла», только что ошеломленные рассказом о том, как оно буднично вершится в нашем городе, может быть, прямо здесь и сейчас, под ногами, в подполье, выстрелом в основание черепа. Было от чего опьянеть и возжелать высшей судьбы.



ВАЛЕРИ

Э *Из дневника.* 15.3.1974. «Пример Валери соблазняет меня говорить лишь с полной ясностью (а потому и краткостью) о том, что в мире духа существует с неизблемостью факта. Но если говорить лишь о понятном, то как пробиться к непонятному? Для Валери речь хороша кристальной ясностью, для меня же речь не результат, а сам процесс понимания. Я очертя голову бросаюсь в авантюры слова, чтобы хоть в одном случае из десяти прикоснуться к чему-то невыразимому. Я веду речь на завоевание непонятого, я насыщаю ее предельным риском. Такая речь может потерять свои веками накопленную в народном языке и научных понятиях ясность и простоту и ничего не приобрести взамен, стать претенциозно-бессмысленной и риторически-пустой. Но такая цена риска. «Есть слово — значение темно иль ничтожно...» И не только в поэзии, но и в метафизике. Валери озабочен гарантиями ясности, его слог отвергает любые двусмысленности. И что же? Результат — тоненький томик стихов, эссе и речей. А вся жизнь, основные усилия — бесконечные тома «Тетрадей», сплошной процесс, так и не приведший ни к какому результату».

Ю Моим Валери был Хемингуэй, надолго ограничивший меня задачей «писать хорошо». Сколько раз я бросался в мутный поток бытия, но был вылавливаем стилистическими сетями... «Тятя, тятя! наши сети притащили мертвеца». А мне хотелось, чтобы мое *mot juste* (Флобер, он тоже был среди учителей Эрнеста) было бы еще и максимально витальным.



От Хемингуэя одно время я спасался его антиподом, и надо думать не без успеха. «Фолкнер! Фолкнер!» — кричала, помню, входя ко мне наша общая с тобой знакомая Нина К., прочитавшая в общежитии МГУ один из моих тогдашних рассказов — пропавших даже в памяти, которая удержала, и почему-то в свете керосиновой лампы, только непрерывность предложений и тему: деревенскую, кстати сказать.

ВЕЩИ

Э С вещным миром у меня никогда не было близких практических отношений, но есть широкий круг вещей (включая явления природы), которые я люблю и воспринимаю как родные, «веществую» с ними. Особенность этих вещей в том, что они содержат в себе маленькую тайну, поворот ключа, зеркальце, возможность развеществления. К числу таких материальных явлений, выражающих призрачность самой материи, относятся: пена, раковина, вино, маска, маятник и другие.

Эти вещи кажутся магическими, ибо они в ходе существования изменяют свою сущность. Они находятся на грани бытия и небытия, это предметные мнимости. Отсюда их частое использование в фольклоре, литературе, живописи и театре. Они обладают двойственным значением: они есть и в то же время их нет. Они символизируют двойственность, парадоксальность самой жизни, которая включает в себя смерть. Это - диалектические предметы, в которых однозначность и сплошность грубо материальных вещей (типа камня, дерева, стола, шкафа и т.п.) уступает место загадочному двоению и мерцанию смыслов.

В юности я изобрел науку *фантоматику*, которая классифицирует подобные вещи и исследует через них слои бытия и небытия, попеременно проступающие в них. Я выделял сле-

дующие основные классы *фантомалий* (так я назвал эти странные предметы на грани полубытия):

1). Самоисчезающие: пузырь, искра, снежинка, мыло, клубок. Пузырь лопается, искра гаснет, снежинка тает, мыло смыливается, клубок разматывается.

2). Обратимые: лестница, маятник, в которых все движения повторяются в обратном порядке.

3). Полусуществующие, воспринимаемые одним органом чувства и невоспринимаемые другим. Например, тень воспринимается только взглядом, но не оцупью, не запахом, не слухом; дым обладает видимостью и запахом, но лишен осязательности; стекло осязаемо, но невидимо. Это обманчивые вещи, которые частью даны, частью отсутствуют и, вызывая стремление проверить, закрепить их существование в других органах чувств, обнаруживают свою иллюзорность.

4). Бесконечно подвижные, существующие и несуществующие - не в плане восприятия (3), а в плане собственной зыбкости, неуловимой подвижности, хотя и не переходящей в иное бытие: облако, волна, туман.

5). Складные, раздвижные и т.п. вещи, в которых заключена возможность дискретного изменения формы (а не непрерывного, как облако, волна), чаще всего сделанные, механические: веер, зонт, ширма.

6). Отражающие или отраженные, лишённые собственной субстанции: зеркало, блик, отблеск, эхо.

7). Превратные, метаморфозные, изменяющие форму: зерно, семя, куколка.

8). Меняющие облик других вещей, производящие метаморфозы: дрожжи, вино.

9). Сквозные, ячеистые, дырчатые, функционально использующие пустоту: сеть, решето, сосуды, соты.

10). Возникающие на грани разных стихий, в виде кратковременных сочетаний воздуха и воды, воздуха и твердого вещества: пена, пузырь, крем.

11). Сокровенные, замкнутые, т.е. не показывающие себя до конца, разрушающиеся при попытке их полностью увидеть и исследовать: раковина, яйцо, орех. Часто состоят из ядра и оболочки, при этом одно достижимо и обладаемо лишь за счет другого: сохраняя скорлупу, нельзя достать ядро; достав ядро, нельзя сохранить скорлупу. Целость выдает свою тайну лишь ценой разрушения.

12). Симметричные, обладающие природной или искусственной симметрией: снежинка, калейдоскоп, бутон цветка, крылья бабочки.

13). Мимикрирующие, выдающие себя за другие вещи, например, маска, парик, помада.

14). Мерцающие, спонтанно проявляющие или не проявляющие свои свойства, возникающие и исчезающие, зажигающиеся и гаснущие: светлячок, маяк.

15). Пропускающие и отражающие - и при этом преломляющие свет: призмы, магические кристаллы и шары, кривые зеркала, в которых образ реальности отличается от нее самой.

Вот среди каких вещей я чувствовал себя своим. Позднее, уже в зрелом возрасте, мне придумалась наука *тегименология*, противоположность феноменологии: она учит не о явлениях, но о сокрытости вещей («тегимен» – греч. покрытие). Это наука о покрытиях, оболочках, обертках, упаковках, о тех многообразных слоях, которыми вещи и человек прячут свое сокровенное нутро. Тело – один из предметов тегименологии, как и одежда, жилище, город, маска, грим, скорлупа, фантик, чехол... Все это вышло из опыта юности, когда мир, абсолютно явленный в детстве, вдруг предстал как череда сокрытостей, и прежде всего – как искусство сокрытия самого себя.

Ю Домашнее отрочество с традиционной собирательской триадой [филателистика, филуменистика, нумизматика (бонистику включая)] было апогеем моего вещизма, который стремительно убывал по мере продвижения к юности. К этому отношения не имеют ни пройденная в школе «Молодая гвардия», которая приравнивала любовь к красивым, а тем более западным штучкам, к латентному предательству «всего советского», ни модный тогда⁸ Жорж Перек, изобретатель «шозизма» и критик мелкобуржуазности. Просто наступал возраст отрешенности. С одной стороны, ничто, кроме литературы, меня не интересовало, с другой – за своей машинкой, которую непросто украсть, сидел я посреди открытого мира общезжития, где все мои *les choses* стояли под «батуттом» в чемодане, который не запирался. Но это опять-таки книги. Или перманентные элементы моего декорума – вырезанные из журнала «Америка» фотоснимки: Фолкнер на фоне амбара, Апдайк, жонглирующий яблоками. Селин с изгнаннической сетью вен на виске был вырезан из французского журнала... Визуал. А ни единой вещи вспомнить не могу. Их не было. Даже зажигалки. А сигареты превращались в дым. Света *** с ром-герма подарила мне однажды за заслуги хромированную ногтестрижку, но даже эта мелочь меня смущала. Рассматривая крохотную надпись *Made in U.S.A.*, я не мог не думать о гнусном образе инженера-предателя, который – вот незабвенная цитата –

«...втайне он завидовал заграничным галстукам и зубным щеткам своих товарищей до того, что его малиновая лысина вся покрывалась потом.

- Премиленькая вещичка! - говорил он. - Подумайте только - зажигалка, она же перочинный ножик, она же пультверизатор! Нет, все-таки у нас так не умеют, - говорил этот гражданин страны, в которой сотни и тысячи

⁸ Его роман *Les Choses*, «Вещи», вышел во Франции в 1965, а два года спустя и в русском переводе.

рядовых крестьянских женщин работали на тракторах и комбайнах на колхозных полях.

Он хвалил заграничные кинокартины, хотя их не видел, и мог часами, по нескольку раз в день перелистывать заграничные журналы - не те журналы по экономике горного дела, которые иногда попадали в трест, эти журналы его не могли интересовать, поскольку он не знал языков и не стремился их изучить, а те, что завозили иногда сослуживцы, - журналы мод и вообще такие журналы, в которых было много элегантно одетых женщин и просто женщин возможно более голых».⁹

(Напомню, кстати, что одновременно с прививкой супротив «низкопоклонства» — это было еще одно и из самых сексуальных мест советской литературы для средней школы.)

Наутро мне оставалось дописать вот эту главку до завершения первого варианта нашей «Энциклопедии», как перед пробуждением приснился сон, в котором я увидел самые любимые вещи жизни — портативную пишущую машинку и книги. Машинка была как машинка, но книги, упакованные в прозрачный чемоданчик под названием «Новинки года», представляли собой плотно спрессованные клубки жгутовбинтов — то ли накладываемых читателем на свои раны, то ли содранные с ран писателя. Во сне я даже не задавал себе вопросов, поскольку подобная форма книг мне представлялась вполне естественной, и я просто брал клубок за клубком, чтобы изучить аннотацию с картинкой — в виде ярлыков они были наклеены на торцы этих книг, как это делается с клубками пряжи в магазинах. Странность сна объяснима, видимо, тем, что теперь, после юности, книги чаще всего являются мне в виде компьютерного свитка, «ленты»...

⁹ Александр ФАДЕЕВ, «Молодая гвардия».



На той самой доске в старом МГУ, где Сережа в 1968 г. писал «наваха», Миша пишет «отвага». 2003

Может ли вещь стать вещей?

Помнишь, как на первом курсе Степанов предложил мне написать парадигму существительного по моему выбору? Я выбрал слово «наваха» — только приблизительно представляя, что это такое. Через несколько лет Аурора мне это презентовала — из толедской стали и бритвенно-острое. Ничего особенного наваха эта не резала, кроме того что разом отсекала начальную фазу моей форсированной вестернизации, куда «шозизм» в той или иной мере, но был встроен, — от периода юности, отягощенной разве что чемоданом с книгами и машинкой.

ВЗАИМОЗАВИСТЬ

Ю Первый курс, и на общей лекции меня пронзает укол зависти к тебе, сидящему ниже и с непринужденностью девственника *по-дружески* общающемуся перед началом лекции с девочками из нашей группы... С Тен, которая меня волнует миндалевидным разрезом глаз и шафранной кожей... Они, девочки, тебе доверяют — тебя трудно заподозрить в коварных умыслах...

Э А я, наоборот, завидовал твоей искусности. Говорить с тобой для девочки уже что-то значило, плюс или минус, а со мной — ровно ничего. Инна Тен была прелестна, европейская кореянка. Шафранная кожа, идеально причесанная гладкая головка, тактильно соблазнительные, хотя визуально непроницаемые кофточка, — и при этом сама скромность и преданность мужу-физику. Я негодовал, когда она, по-восточному покорная, тащила с тяжелым портфелем за мужем и его приятелем, которые о чем-то болтали, не обращая на нее внимания.

Ю Этот ранний брак, эта преждевременная вписанность в безысходность советского быта... Очень мне было жалко русскоязычную корейскую девушку с именем французского эстетика. Допускаю, впрочем, что это было формой ревности к ее супругу.

ВЗГЛЯД

Ю Чтобы выжить я, конечно, отдавал дань социальной мимикрии. Но дань недостаточную. За неосторожное слово могли убить. Это я знал априори с

12 лет, и старался держать язык за зубами. Но однажды в молочном отделе продавщица отказалась принять у меня, ни слова не произнесшего, принесенную в авоське «тару», с которой я был отправлен мамой. Поскольку молочно-кефирные бутылки были безукоризнены в смысле вымытости и целостности горлышек, мама отправилась на дознание, и при разборе в магазине выяснилось, что меня «засвечивает» мой взгляд. «А чего он так *смотрит?*» — мотивировали при разборах одноклассники причины, по которым проливалась на пол моя кровь. «Как он *смотрит?*» — «*А так!..*»



Гродно. 1956

Возложенный на себя обет социального молчания в порядке компенсации придавал, возможно, особую выразительность выражению глаз, но, так или иначе, это «Дело о взгляде» велось на меня едва ли не с детства — и вплоть до того как я вышел на конечной остановке советского вагона под названием «Москва – Париж».

Э

Это похоже на Цинцинната Ц. из «Приглашения на казнь». Его единственная вина была в том, что в обществе взаимопрозрачных он один оставался непро-

зрачным, имел некое отдельное пространство внутри, что и выдавалось взглядом. «Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости...» Это уже не Набоков, это Венедикт Ерофеев.

ВЛИЯНИЯ

Э Влияние — это категория эстетическая: кто на кого повлиял в литературе и искусстве. Но вместе с тем и психологическая, приложимая прежде всего к отрочеству и юности. Это самые влияемые, впечатлительные возрасты. «Дурное влияние». «Вася на Петю хорошо (плохо) влияет». Влияния можно разделить на культурные, заочные — и живые, очные (дружеские, учительные, средовые, поколенческие).

По степени влияемости я, наверно, серединка на половинку, ни мягок, ни тверд. В раннем отрочестве, начиная лет с 11, на меня всего сильнее влияли Лермонтов и, пожалуй, Тургенев — в духе романтизма, рефлексии, самокопания. В позднем отрочестве, 15-17 лет, место Лермонтова и Тургенева заняли Фет и Бунин, с их импрессионизмом и эстетическим полночувственным «изнеможением» от жизни. Но главной стала энциклопедия жизни и души под названием «Война и мир».

Из живых влияний отрочества отмечу Агнессу Владиславовну (открытость, здравомыслие, гуманизм, либерализм, см. УЧИТЕЛЯ). Чуть-чуть влияли мальчики из летней республики «Юность Замоскворечья»: Миша Фролов (очень мужественный, немногословный), Сережа Меркулов (словесно ловкий и убедительный). В школе особых приятелей и влиятелей не было.

В университетские годы главное очное влияние шло от тебя, полуочное — от Битова. Твое влияние было эстетическим — не только в смысле литературы, но и общей жизненной ус-

тановки. Это была моя эстетическая стадия, по Киркегору. Главное — приобрести как можно больше опыта, прикоснуться ко всему, во все вникнуть и упиться дарами жизни, перебирая их как можно более широко, ни на чем особо не останавливаясь, запасаясь впрок впечатлениями для писательства. Так я это, во всяком случае, воспринимал, по мере своей испорченности: ощущение, впечатленчество, наслажденчество.

Уже потом, в 1973-74 гг., сильным стало влияние Саши Бокучавы, с которым мы общались в основном во время долгих трамвайных поездок на нашу общую службу — подготовительные курсы по русскому языку и литературе (МЭИ). Это был переход к этической и экзистенциальной стадии, подготовка к решающему выбору, к жизни в единственном числе (одна семья, одна жена, одна работа). Сам Саша был больше теоретиком, чем практиком этой «второй» стадии (по Киркегору), — но теоретиком пламенным, вдохновенным и обольстительным. Он был старше меня лет на семь, красавец и умница, мысливший больше вслух, чем на письме.

Среди очных влияний юности отмечу также нашу сокурсницу Ольгу Седакову с ее неизменной, упорной приверженностью высокой классике. Это было не совсем мое — но вчуже вызывало уважение, как творческий выбор.

Что касается заочных влияний, то из близких, современных и соотечественных, самое сильное шло от М. Бахтина (см.) и С. Аверинцева, в меньшей степени Ю. Лотмана и Г. Гачева, а из дальних... Кого я только не перелистывал и не перелопачивал в поисках себя. Сильнейшим было влияние гуссерлевской фемомологии, киркегоровского и сартровского экзистенциализма и маркузеанской «новой левой» контркультуры. Вечно зеленел древом жизни Гете, от него исходили три могучих ветви — философия жизни Ф. Ницше, морфология культуры О. Шпенглера и утонченная, интеллектуально-художественная, эссеистически-мифологическая проза Томаса Манна, у которого я начал учиться эссеизму раньше, чем у

М. Монтеня. Откровением стали Р. М. Рильке и «Логико-философский трактат» Л. Витгенштейна. С Г. Гессе и Р. Музилем я познакомился позже, уже во второй половине 1970-х. Влияние немцев вообще было определяющим, оно опосредовало и еврейские влияния — прежде всего, Ф. Кафки и М. Бубера. Из французов — Поль Валери и Ролан Барт. Из отечественных мыслителей — Вл. Соловьев и Н. Бердяев, в меньшей степени Л. Шестов, В. Розанов, П. Флоренский. Напомню, что речь идет о конце 1960-х — начале 1970-х, когда всю эту литературу приходилось добывать исподтишка на черном рынке или одалживать у друзей; изредка выпадало счастье достать копию на ксероксе.

Ю Не вполне ожидан для самого себя список тех, кому должно отдать дань, но вот, хронологически, начиная с самых молодых ногтей, мои разновеликие кредиторы: Бабель, Хемингуэй, Сэлинджер, Л. Н. Толстой, Джойс, Достоевский, Бунин, Кафка, Пильняк, Вольфганг Борхерт, Фолкнер, Т. Манн, Норман Мейлер, Кортасар...

При этом мало с кем из представленной ими портретной галереи манило меня отождествиться — ну разве что Гек Финн, затем Ник Адамс, затем лирический герой из «Прощай, оружие!», отчасти Холден Колфилд, отчасти герой рассказа «Эсме — с любовью и всяческим омерзением», а еще безымянный мальчик из рассказа Фолкнера «Поджигатель»... кто еще? Любитель-фотограф из рассказа Кортасара «Слюни дьявола». Из русских героев, конечно, Николай Всеволодович Ставрогин — по оценке Томаса Манна, *самый леденящий*.

См. КНИГИ, УЧИТЕЛЯ, ЧТЕНИЕ

ВОЗРАСТ

Эсть возрасты свои и чужие, которые носишь как шубу с чужого плеча. В юности у меня было такое чувство, что это не мой возраст, что я должен через него пройти, по необходимому закону взросления, но что я был бы рад поскорее сбросить эту тяжелую для меня шубу и облачиться в какой-нибудь деловой костюм или семейный халат. Мне кажется, что подростком (до 17) или молодым (после 22-23) я был больше в своей тарелке. Ирония одежной метафоры в том, что я на всю жизнь зафиксировался именно на свитерах, которые начал носить в юности, и не люблю костюмов и другой «взрослой» одежды. В университет хожу, лекции читаю только в рубашках и свитерах. Еще более глубокая ирония в том, что обстоятельствами жизни сейчас, заканчивая эту книгу, я попал в тот самый неприкаянный возраст, который в ней описываю. Как будто эта книга меня «заговорила» и перенесла назад на много лет, в пору грез, призраков и надежд, перевешивающих массу зрелого «уже-бытия».

Югде-то к концу работы над этой книгой мне приснился сон. Солнечный проспект. Новый Арбат по направлению к Кремлю, но только с неправильной стороны: то, что должно быть в реальности с правой руки, переместилось по левую.

Я везу на тележке рукопись книги Президенту, а точнее «читающей» его Фаворитке. На левой руке у меня пододеяльник, налитый водкой. Это бакшиш. Некоторые прохожие улыбаются по-доброму, понимая, в чем тут дело.

— Вы уверены, что Она дома? — пропускает меня хозяйка прачечной, изнутри которой вход к Фаворитке, но из входа сквозит пустотой отсутствия.

У них здесь свои заботы — мне не вполне понятные. По мнению хозяйки, дело решится положительно, если нанести на короткие рукава рубашки красную кайму. Чем и призвана

заняться служащая здесь девочка. Она вдавливая кристаллы в ткань утюгом и грубо отвечает хозяйке, что знает лучше, потому что на самом деле она белей нее, и у себя дома была совсем белая. Я окидываю девочку взглядом. — Вы здесь так загорели?

— Да.

Чувство собственной важности ее переполняет. Самоволие и всевластие, желание подменить все и вся собой, доходит до того, что она по ходу работы с утюгом приказывает расстрелять всех сверстников, призванных в помощь. «Девочка Жизнь? — думаю я, вспоминая блокадную повесть Николая Чуковского. — Нет, эта девочка — Смерть!» Но я не успеваю отдаться гневу, потому что девочка Смерть идет еще дальше:

— А разве вам они нужны для книги?

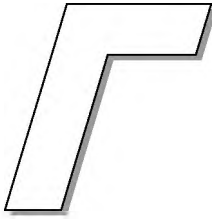
— А как же! Ну, конечно!

Девочка делает жест. Телега, запряженная невидимой лошастью (только оглобли торчат) возвращается, и я вижу, что она полна трупов. Расстрелянные дети лежат друг на друге, как в игре куча мала. Девочка предусмотрительно велела переложить их половиками (исподдверными, пыльными) и другими тряпками, чтобы трупы не пачкали друг друга кровью, но я вижу, что половики промокли, и вид этой черно-сочной влажности наполняет меня сознанием полной необратимости. Однако Девочка — не только Смерть. Она есть девочка Воскресение и Жизнь. По мановению ее руки, точнее, по нетерпеливому щелчку сухих ее пальцев, начинает шевелиться верхний мальчик — коротко стриженный, в светлой рубашке и темных штанах. Вся телега приходит в движение. Дети оживают неохотно, и я понимаю — почему. Из определенности небытия они возвращаются в полную неопределенность жизни — к этому низкому небу над плоской землей, только слегка разрытой, поэтому непонятно, в каких целях? То ли сельскохозяйственные работы? То ли рытье окопов и траншей, создание линии «заблаговременно подготовленных позиций» для отступающей армии? И вообще. Что будет дальше? Этого не

знаю ни я, ни они — садящиеся в телеге, поднимающиеся, неуверенно слезающие на вновь предстоящую им землю.

Э В чем смысл твоей сновидческой притчи? За все отвечать не берусь, но все же... У меня такое чувство, что все прожитые возрасты — это наши дети. От младших — до старших. По мере умирания в одном возрасте и передвижения в следующий, эти умершие возрасты воскресают уже в виде наших детей. Вот мальчик Мишенька, прижавший к животу мяч; вот юноша Миша, строчащий конспект в Коммунистической аудитории; вот молодой отец, помогающий дочке-первенцу делать первые шаги по дачной дорожке; вот репетитор Михаил Наумович, ведущий занятие с учениками; вот professor Epstein, выступающий с лекцией на конференции... Все они мои разновозрастные дети. Кому-то я прихожусь прадедом, кому-то дедом, а сорокалетнему professor Epstein — отцом. Я их давно перерос и могу общаться с ними как с родными своими кровиночками, — любуюсь ими, подтрунивая, пеняя, наставляя, делясь новостями из более поздних возрастов и черпая запас свежих переживаний из более ранних. Все мы члены одного большого, теплого семейства. Пристрастнее всех я, пожалуй, к юноше Мише, своему внуку. Вот кого учить и учить. Вот кто ведет себя так глупо, самоуверенно и беспомощно. Вот кого мне жальче всех других.

См. Послесловия. К ФИЛОСОФИИ ВОЗРАСТА



ГИПОТЕЗА

Э *Из дневника.* 1. 4. 1973. «У меня нет ни дара слова, ни дара фантазии, ни дара общительности, ни дара обаяния, ни дара аналитика, ни дара умельца... Но если бы существовал отдел гипотез, я бы в нем продвинулся в начальники. Из наличных элементов реальности складывать вероятности для будущего — таков мой особый дар, который мог бы пригодиться мне в обществе, которое гадает о своем будущем на тысячелетия вперед. Сейчас такое общество можно найти только в сумасшедшем доме...

Открываю бюро гипотез. Гипотезы, в отличие от планов и проектов, не несут никаких обязательств перед будущим и сами не накладывают на него никаких обязательств. Позиция гипотезы по отношению к будущему благородна: она не навязывает ему себя, но ищет в настоящем средств, которые могли бы пригодиться будущему. Если проект — это переход возможности в действительность, то гипотеза — это переход действительности в возможность. Проект: одна из тысяч возможностей выбирается для осуществления в действительности. Гипотеза: одна-единственная действительность порождает тысячи возможностей».

Ю Одну из самых прекрасных гипотез юности подарила мне испанская парижанка удушливым летом 1972 года — «когда все горело». Мы проживали на моей конспиративной квартире в городе Солнцево (который миру еще предстояло узнать), а в момент рождения гипотезы

гуляли в зоне отдыха за Киевской железной дорогой. Было очень жарко. Мы прошли сосняк, полный ржавых консервных банок и темно-зеленых осколков. Озерцо, к которому мы вышли, было набито, как газенваген. И все, что было зеленого вокруг него. Купаться мы не рискнули. Даже раздеваться не решились, потому что стоило мне присесть и закурить сигарету из купленного моей возлюбленной подружкой в отеле «Украина» блока «Pall Mall», как лежбище вокруг заволновалось от неведомо-сладостного благовоения, издаваемого странной парой. Обнаружив, что мы в центре внимания, чреватого, как я знал, последствиями, я предложил подружке без промедления ретироваться из зоны.



***В ожидании автобуса 552 до «Юго-Западной».
Солнцево. 1972.***

По пути обратно она, перебирая варианты совместного существования, нарисовала мне картину будущего отчаяния: окраина Парижа, бидонвиль, и я, еще один выброшенный на свалку истории русский писатель-эмигрант, сижу под солнцем чужбины на пороге своего дома из картона и шифера с пластмассовой цистерной дешевого красного вина... — Но французского? — Какого же еще? Но которое в Париже пьют клошары!

Заранее и беспощадно моя будущая жена отнимала у меня все возможные иллюзии, после чего предрекла, впервые тогда на моей памяти выступив в роли Кассандры:

— Жизнь твоя будет там трагичной.

Над нами загрохотал поезд — как раз мы проходили туннель. И этот проект мне так пришелся по душе, что я вскричал от восторга: «Да! Да!»



ДЕВУШКИ

Э Трудно мне было с ними... Мое сентиментальное воспитание было робким, консервативным, домашним. С уличными я почти не знался, с одноклассниками вне школы общался мало. Классе в четвертом я влюбился в тихую одноклассницу по имени Оксана и сохранил это чувство до конца 7-го класса, до переезда в другой район и другую школу. Я был настолько робок, что за четыре года не только ни единым намеком не приоткрыл ей этого чувства, но и вообще единого слова не посмел ей сказать, что в условиях ежедневной совместной учебы было по-своему не менее красноречиво, чем признание... 7-й класс, 13 лет:

Из дневника. 1. 1. 1964. «Она умна, скромна, начитанна, оригинальна (а может быть, вульгарна? Эти два понятия легко спутать, особенно когда имеешь дело с развязной или циничной вульгарностью). Ее нельзя заподозрить в антисемитизме, так как ее лучшая подруга Байер – польская еврейка. Самостоятельна и неизнеженна. А каково ее отношение ко мне? Вероятности таковы:

Ненависть 3%

Презрение 7%

Равнодушие 60%

Чувственность 13% (о чем я мог судить, потому что время от времени она подходила, улыбалась и теребила рукав моего кителя)

Нравлюсь 10%

Любовь 7%».

Вообще в анализе чувств я, следуя Стендалю, любил прибегать к математике.

Позднее, уже в старших классах, было еще одно увлечение, тоже одностороннее и поневоле платоническое, поскольку девушка, дальняя родственница, жила в очень далеком городе, а на письма почти не отвечала.

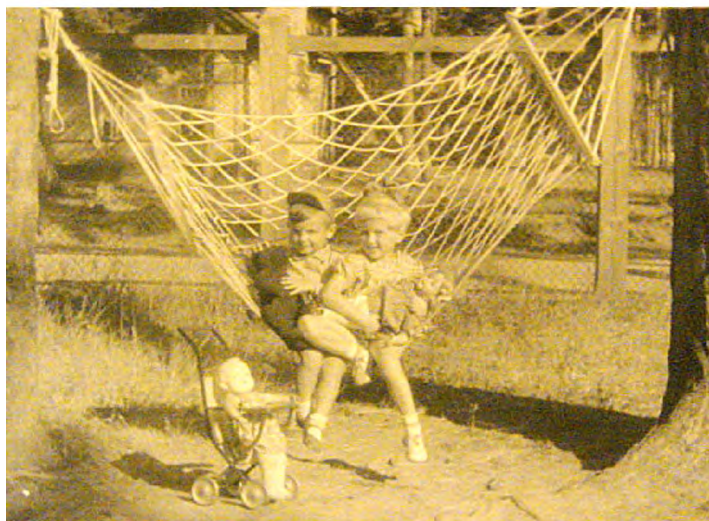
На первом курсе МГУ, познакомившись с тобой, я впервые узнал, чем занимаются настоящие мужчины, особенно в университетском общежитии, и приказал себе: «будь, наконец, мужчиной!» Но мои попытки напустить на себя некую юношескую брутальность были столь жалки и надуманны, что больше отталкивали, чем привлекали, и ни одной из надежд на форсированные отношения с однокурсницами не суждено было сбыться. Если у меня есть причины сильно себя не любить, то на первом курсе они проявились сполна: я изо всех сил, напролом, пытался стать кем-то вопреки своей природе; это был вдруг запоздало прорвавшийся переломный возраст. Вот одна запись того времени. Мне только что исполнилось 18.

Из дневника. 24.4.1968. «...Потом, когда я читал ей свои рассказы и из «твердого мужчины» превратился в мальчика, она сказала: «Вот сейчас ты искренен, а раньше, когда обнимал, был неискренен, переигрывал». И это правда. Это не любовь, а желание доказать себе свою способность любить — самолюбие. И целовал я ее не иначе как с внутренней любопытной и стеснительной усмешкой, вполне осознавая натянутость положения. «Странно, но я на тебя не обиделась», — заключила она, когда мы уже гуляли по Донскому монастырю. Мне обидно, что меня даже в отрицательном плане не воспринимают всерьез, но, увы, пока это справедливо. После расставания я даже почувствовал облегчение, что мне уже не надо корчить из себя опасного мужчину».

На филфаке романтических отношений не возникало; одна из попыток оборвалась на второй, кажется, прогулке по Лен-

горам, когда девушка внятно объяснила мне свою уклончивость: ничего у нас с ней всерьез не получится, поскольку ее родители не любят евреев. Летом, 18-ти лет, я поехал в северную фольклорную экспедицию (Карелия), которая стала не только прообразом всех моих последующих странствий по России и встреч с ее поющим, сказывающим и верующим народом, но и началом любовного опыта. Одну белую ночь я провел в обществе местной шведской девушки с бунинским именем Галя Гансен, но все опять-таки ограничилось поцелуями, поскольку представление о том, что делать дальше, у меня было смутное.

Ю Что можно сказать о девушках? Они возникали — запечатленные в последующих текстах, ради которых, собственно говоря, и появлялись. Я ведь тупо твердил тогда, что: «Я — только функция моей пишущей машинки».



*Сергея с безымянной блондинкой. Финский залив.
Начало 1950-х.*

В августе 1967 года Тамара С*** согласилась прийти ко мне на свидание в Пятом корпусе, но в последний момент послала вместо себя подругу из Курска; теперь же разыскала меня в Интернете, чтобы высказать нечто вроде сожаления о пропущенной возможности и целой жизни, которая, по мнению Тамары, могла бы проистечь... Но не случилось.

Зато произошло другое. Так сказать, жизнь.

И девушки — воплощенная ее радость. Радость, которая находит волна за волной. Главное, что можно сказать: это что девушки — красивы. Были, остаются и пребудут. В деле спасения мира, боюсь, от них мало что зависит. Зато они спасают нас. Я поймал себя на том, что мало цитирую, так что изволь, *Франц Кафка*: «Юность счастлива, потому что обладает способностью видеть красоту. Все, кто сохраняет способность видеть красоту, никогда не стареют».

Э Еще я припомнил один наш с тобой общий местомиг. Была у меня маленькая телефонная дружба с одной невидимой девушкой (Валей? Зоей?) Позвонил куда-то по ошибке, напал на миловидный голосок, который на вопрос, что вы сейчас делаете, ответил: «Ем яблоко». Простота ответа умилила, да и прельстила косвенным напоминанием о том, чем занялась Ева с Адамом после вкушения яблока. Изредка ей позванивал, общих тем не было, но как-то тянулось по слабой привычке-полунадежде. Как-то мы с тобой решили сотворить алхимический фокус и явить невидимку. Нехотя, но все же она приехала с подругой к тебе на квартиру, где мы их уже ждали со скромным угощением, не без вина. Почему девушка скрывалась, стало ясно при ее появлении, что не уменьшило нашего вежливого дружелюбия к скромным пэтэушного вида особам, которые предпочитали отмалчиваться и держались чуть скованно в студенческом обществе. Помню, как, бессобытийно и беспредметно проведя время, мы растались без сожаления, и ты задумчиво сказал, удовлетворенно оценивая происшедшее в форме их несобственно-

прямой речи: «Накормили, напоили и даже не вы**ли». Это потому, что они не выглядели столь оживленными и счастливыми, как мы, бескорыстные джентльмены, имели право рассчитывать. Больше ни встреч, ни даже звонков не было.

Вот мелкий эпизод, без последствий, без чувств, без особого смысла — *местомиг* как минимальная единица в структурном составе жизни. И что с ним делать? почему он помнится? в какой пазл вставляется этот крошечный кусочек?

Ю Непреложный факт юности: девушек всегда больше у других. Не знаю, что меня больше поразило — способность П*** совращать «тургеневских» наших девушек или сама совращаемость этих девушек как некое имманентное их свойство?

На кухне у Сперанских сидит и трудится над своей текстильной курсовой первокурсница. Туда заходит П*** и уже через пятнадцать минут рассказывает в комнате Андрею и его жене, змееголовой киевлянке, — супруги смеются — как он лишил целокупную девственность буккальной невинности. «Пососать не хочешь? — Что? — Конфетку!» И та, как зачарованная, склоняется к извлеченному зеббу.

Мне всегда казалось, что в этом личная форма мщения этого П*** стране, которая сделала его, уроженца Тегерана, невыездным.

Э У меня так и вопрос никогда не вставал, у кого больше девушек. Если была одна девушка, и еще с ней можно было говорить и понимать друг друга, — уже счастье. Почему-то к гаремам меня никогда не тянуло, даже в фантазиях.

ДИССИДЕНТСТВО

Ю «ВСЕ ВЫ ЗВЕРИ, ФАШЫСТЫ» — написал я на обоях коридора коммунальной квартиры № 69 дома 29 по улице Рубинштейна у Пяти Углов. Это — самый первый текст, изготовленный мной сознательно. Красным карандашом «Тактика», принадлежащим отчиму. Мне было 5 лет, и я хорошо помню, что произвел его в адрес бабушки, дедушки и тети Мани, которые, оставляя в Большой комнате меня, пытались избавиться от моего сводного брата Павлуши. Тогда я ушел сам, уводя брата. Но мне было мало, что я лишил их своего присутствия. Я был во гневе, который искал адекватного выражения. Мне мало было изуродовать обои и затупить граненый карандаш. *Overreaction*, разумеется, хватил через край, — но только по отношению к тем, кому послание мое адресовалось, — самым гуманным людям, которых я знал в этой жизни, «бывшим» людям, которые, несмотря на 35 лет существования в СССР, удерживали толерантную мягкость «прежнего мира». Но слова, написанные «Тактикой», оказались верны стратегически. Впоследствии я мог повторить «все вы звери, фашисты» много-много раз, пока не пришел к догадке об «онтологичной» brutality самой почвы, территории вмененного существования, где установка на гуманизм становится предосудительной, как базовое инакомыслие.

Я был преждевременно политизированный ребенок. Персональная география «сына империи» тому способствовала, поскольку каждое мое место на карте СССР ставило под вопрос общесоветский режим: и Ленинград с моими петербургско-петроградскими предками, и Западная Белоруссия с непреодоленной Польшей и непокоренной Литвой, и Минск, Заводской район которого, куда меня занесло, клокотал рабочей, «новочеркасской» яростью начала 60-х. Хлебные бунты меня, впрочем, мало занимали, но довольно рано, класса с 4-

го, я стал брать в районной библиотеке книжки о подавлении венгерской контрреволюции. Это привело меня к романтизации восстаний — не только обреченных, кстати: я не видел разницы между трагическим Будапештом и триумфальной Гаваной. С первых дней января 1959 года я на стороне барбу-дос, а в 12 лет написал оду на разгром врагов Фиделя в Заливе Свиней. Запечатал в конверт и отправил в «Известия» - первая попытка пенетрации на страницы партийно-советской печати.

В 6-7-8-м классах мы с мальчиком по фамилии Маршак (он так и остался в Заводском районе Минска, хотя его сестра Люба, которая училась в нашем классе, уехала в Америку), обменивались на уроках подрывными «фразами» (записные книжки Ильфа и Петрова были, возможно, источником вдохновения) и свежей информацией из Москвы, где обострялась борьба с «наследниками Сталина» (от Оси я узнал, что поэт Евтушенко борется против антисемитизма, не боясь самого Хрущева, утверждающего, что в СССР антисемитизма не существует).



*Сергей Юрьенен, Иосиф Маршак
— выпускники восьмилетки. 1964*

Американская литература во главе с «Папой», а затем — благодаря ему — открытый в 15 лет Джойс спасали меня от политизации моей собственной. Меня, скорее, можно было обвинить в том, за что меня и выгнали в 16 лет из Литературной студии при газете «Знамя Юности»: «низкопоклонство перед западной литературой». Тем не менее, факт, что приятель родителей, кандидат исторических наук Зиновий Юльевич К**** выявлял меня в том смысле, что литература для меня только предлог, что под видом литературы я планирую заняться подрывом устоев. Мама и отчим, конечно, сокрушались. После взаимояростных споров с отчимом после прочитанного в «Новом мире» «Одного дня Ивана Денисовича» мне была вслух названа одна из перспектив дальнейшей моей юности: колючая проволока, за которую я могу угодить. Это еще было до Брежнева — при Хрущеве. Наличие лагерей при Сталине — а такой была тема спора — отчим отрицал.

Э Уже с 8-9 классов у меня начался период романтического диссидентства, я стал воспринимать мир по Пушкину: «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы». Тогда же, на уроках химии и в беседах с классным руководителем, я заявил о своем несогласии с атеизмом. Поступив на филфак, я первым делом попытался создать литературный журнал оппозиционного направления. Об этом были разговоры и совещания с тобой и Борей Сорокиным — другом Вени Ерофеева, старшим и опытным диссидентом, уже *исключавшимся*. Но дальше намерений дело не пошло, потому что все, включая ведомых и неведомых мне стукачей, видели мою чудовищную наивность, и, вероятно, именно это спасло меня от ГБ. На нашем курсе учился чеченец по имени Норик, 24 лет, мы немножко дружили, и однажды он меня подружески предупредил, чтобы я не зарывался, что есть разные люди и меня могут неправильно понять. Я принял к сведению, и лишь потом до меня дошло: а откуда, он собственно, знал, что я «зарываюсь»? Уж не поставлен ли он был?.. Мой

романтический «политикоз» продолжался на первом курсе и стоил мне ученических отличий: две единственные четверки, по логике и фольклору, я получил за первый семестр. Но с лета 1968 г. научные и художественные, а также, конечно, любовные и экзистенциальные интересы стали пересиливать политику.

Из дневника. 18.7. 1973. «Случайно встретился в трамвае с тетей Людой. Ей за 50, искусствовед, друг старых друзей нашей семьи. Мучительный разговор. Выяснилось, что я, в 23 года пишущий статьи по литературоведению для советских (а каких еще?) журналов, не располагаю ее к уважению. Поскольку своим поведением оправдываю существующий строй. Чтобы писать нечто стоящее, надо понимать, что вокруг остались одни мародеры, все таланты перебиты... Я: да ведь это понятно даже подростку при первом взгляде. Но что же остается делать? Уйти в сатиру? Не может же все человечески великое и вечное в нас кончиться только потому, что вокруг так подло и пошло. Овладение профессией, вне отношения к режиму, дает человеческую и историческую свободу и меру вещей. Примиритель Пушкин больше борца Рылеева.

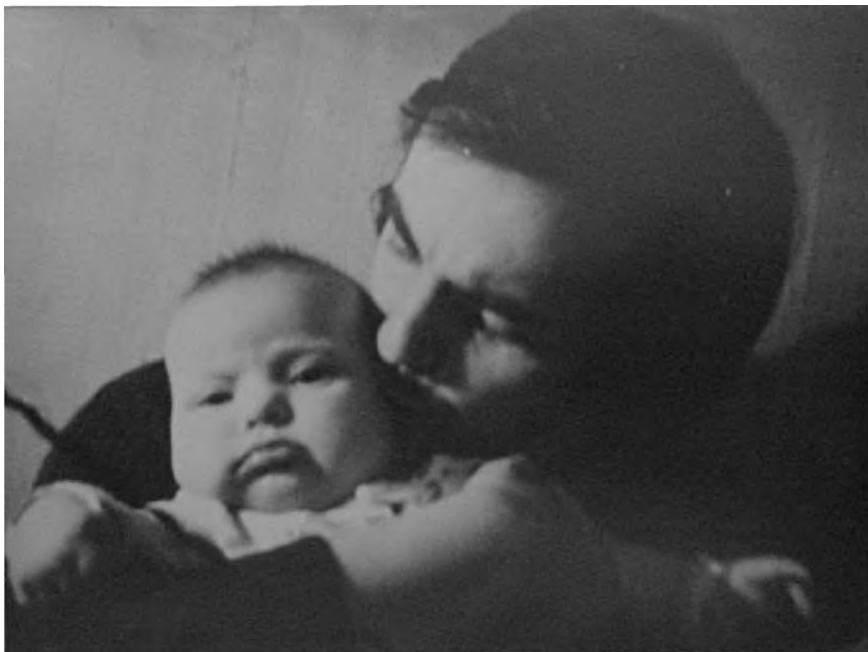
...Все равно стыдно. Не могу себя простить, что случайно ли, в шутку ли обмолвился про «волю народа», которая якобы свершилась в России в 20 в. Но что же делать: возвращаться к моему диссидентству, когда мне стукнуло 16 лет? Или все же работать? Обидно, что почти чужой человек несколькими искренними фразами доводит меня до таких сомнений в себе. Пишу статью для сборника, редактируемого М. Храпченко и Я. Эльсбергом. А в какой сборник еще писать? Это и есть «вокруг»?»

Ю В том же 1973-м, в сентябре, пришла пора и мне выходить из своего подполья. Нашей дочери Анне, Аните, шел четвертый месяц, и мы ее тогда

почему-то называли Чон (что иногда я расшифровывал как ЧОН – Часть особого назначения).

Отцом я стал в 25 лет – и сразу почувствовал, что вступаю в новый возраст, юность позади. Впрочем, чувствовать эту метаморфозу я начал в 24, когда в один прекрасный осенний день Аурора сказала, что у нас будет ребенок. По причинам глубоко антисоветским сына я не хотел. В ноябре-декабре 1972-го я много писал, Аурора же рисовала что приходило в голову. Однажды нарисовала предстоящую мне дочь. Рисунок мне очень нравился, но главное, что воплотился он точь-в-точь, и даже еще точнее. *Дочь-в-дочь...* Не знаю я ответ на вопрос, как могло такое получиться, я бы отнес сей судьбоносный эпизод в рубрику «Необъяснимое»...

Ребенок всем хорош, однако в подполье с ним не усидишь. Социализует одним криком.



Осень 1973.

Я последовал совету А. подать рассказы на творческий конкурс Литературной студии. Аурора узнала об этом конкурсе из газеты «Вечерняя Москва». Более того – сама и отвезла туда мои рассказы. Дама, которая сидела в Московской писательской организации, на втором этаже ЦДЛ¹⁰, почитала один и заверила, что у автора проблем не будет. Так и оказалось. Меня приняли. И я вышел на поверхность советского социума — голый к волкам.

См. АНТИСОВЕТСКОЕ, ИДЕОЛОГИЯ, ПОЛИТИКА

ДНЕВНИК

Э Дневник я вел с 11 лет до 25, т.е. классически, как положено, между детством и взрослостью, — через все отрочество и юность, когда острее всего переживает «я» в его разладе с миром и мучительных попытках навести мосты. Собственно, дневник и есть такой мост, попытка омирить себя, осебеить мир, предъявить взаимные счета и их оплатить. Детство еще свернутый бутон, носит весь мир в себе; взрослость принадлежит миру, осваивается и опошливается в нем, социализируется, профессионализируется, типизируется... Дневник же — место их взаимопритирки, дополнительная жировая складка, слой саморефлексии, оберегающий «я» от самых больных уколов и прямых попаданий в его нежнейшие, уязвимые точки.

Вот самые первые записи, мне 11 лет.

1962. Дневник Эпштейна Михаила.

¹⁰ Ничего случайного все же не бывает: с этой дамой я познакомился уже «выбрав свободу» в Париже, когда мой издатель, диссидент Александр ГЛЕЗЕР представил меня своей тогдашней супруге — Майе Ильиничне МУРАВНИК.

«10 января. В каникулы я был у тети Сони и за диваном нашел дневник Эдика [двоюродного брата, на 14 лет старше меня]. Это пробудило во мне желание вести дневник. Я слышал по радио, что многие великие люди вели дневники. Я тоже решил вести дневник — может, буду великим человеком. А если нет, что ж, все равно пригодится, как дневник Анны Франк. А может быть, я напишу, когда стану взрослым, книгу по этому дневнику. А если не то и не другое, все равно интересно потом будет читать.

11 января. 1 день 2-го полугодия. Мне страшно не хотелось идти в школу, но что поделаешь. Вместо 6 уроков было 4. Говорят, арифметика и ботаника заболели. На уроках никого не спрашивали. Дома я решил читать «Записки охотника» и прочел «Хорь и Калиныч». Думал, будет скучно, но оказалось интересно.

13 янв. В воскресенье писать не мог — увидела бы мама. На английском меня, Контора, Федорова, Киселева и Пукмана вызвали к директору. Зашли в кабинет. Думал, нам дадут грамоту. Но нет. Нас фотографировали для стенда «Лучшие ученики нашей школы». Мы ушли. Урок уже кончился. В коридоре был один наш класс. Ко мне стали приставать Репин, Аллер и мелкая сошка — Коршунов, Дубцов и др. Купцов — редкий нахал. Хотя он и не пристаёт, но я его ненавижу больше всех, и он меня, наверно, тоже. Как бы я хотел избить его, это проклятое, желтое, вытянутое, как огурец, лицо. ...Стал драться с Аллером, но разошлись. Дома было все обыкновенно. Я мылся в миске».

А вот одна из последних записей — примерно за два месяца до того, как по-новому повернулась жизнь, вышла на взрослые рубежи:

3.12.74.

«Нет выше радости, чем радость чтения своего дневника человеку, в котором твой процесс вочеловечения получает свое завершение. Человек, которому можно без стыда читать

свой дневник, — это и есть тот человек, ради которого мы во-человечиваемся, это и есть свет для нашей тьмы, как мы — тьма для его света... Нет ничего выше той радости, в которую мы обращаем свой стыд. < ... > Вот — дневник; теперь нужно найти человека, которому я мог бы его прочесть. Поставив точку, отправляйся на поиски человека».

Ю И мне было те же 11, когда перед отлетом в Ленинград к заболевшему деду я собственноручно приобрел в минском аэропорту записную книжку, чтобы вести дневник своего первого одинокого путешествия. Книжка была блекло-бирюзового колера, обложка затем украсилась увеличительным стеклом и кинжалом. Я, стало быть, еще не вышел из периода увлечения Шерлоком Холмсом и хотел стать не писателем, а криминалистом. О чем я писал тогда в Ленинграде, в июньские дни 1959 года? Я не знал, что дедушке до смерти оставалось два с лишним летних месяца. Он болел, бабушка занималась им, я был более или менее предоставлен самому себе и каждое утро выходил на встречу с Ленинградом. В магазине «Охотник—Рыболов» на Литейном я купил складной никелированный нож с колечком-держалкой, такой большой, что не влезал в кармашек моих шортов (в просвещенном Ленинграде я не стеснялся ходить в коротких штанишках — чего никогда бы не сделал в Минске). Была проблема, потому что с этим ножом я не расставался во время посещения музеев: Эрмитаж, Кунсткамера, Военно-Морской, Музей Радио имени Попова, музей Арктики с медведем в вестибюле... Одна из записей была посвящена визиту в музей-квартиру Н.А.Некрасова на Литейном: «12 комнат, а говорят, что бедно жил!» Помню упоминание, что читаю «Хаджи-Мурат». Самая интересная запись была сделана в самолете, когда внизу открылся весь Ленинград, накрытый дымным колпаком: «Увижу ли я тебя еще?..» Это была как раз последняя страница, и я не смог записать в этот свой первый дневник то, что, благодаря ему, необходимости самоотчета, наблюдал тогда с таким наведением на резкость свер-

ху: поразительно безмятежную славянскую природу на затянувшемся закате, а затем, во время кольца над Минском при посадке неожиданный вид на действующий тюремный замок на улице Володарского. Кто-то сказал: «Тюрьма», — и это меня очень поразило. Как же так, в самом центре города, где я вынужден жить, — *тюрьма?*

В чемодане, который я оставил в Москве, уезжая в Париж, кроме этой книжечки, были другие, записные книжки и «Зеленая тетрадь» — дневник, который я вел в общежитии МГУ.

Я очень любил жанр дневника, годами я читал Дневник Толстого, собирая новые и новые его тома из 90-томника, но мой собственный дневник меня не удовлетворял. Мне казалось, что я занимаюсь в нем не фактологией, а литературой, стилистическими поисками и изысками. Кроме того (в отличие от писем, особенно, любовных) дневник «никуда не вел», мне было в нем клаустрофобно. Другая проблема — общежитие. После каждой записи, за которой наблюдали соседи, дневник нужно было прятать в чемодан, который у меня не запирался. Отсюда вынужденная самоцензура.

И вот я слышу от тебя, что ты ведешь — и не просто дневник, а «Метафизический». Как Габриель Марсель, французский религиозный экзистенциалист.

Я попросил почитать. Ты не дал. Я выхватил. Мы стали бороться. Я отобрал у тебя твой дневник. Мы выбежали из дома. Конечно, теоретически мне было знакомо понятие «прайвизи», но то, на что я пошел, было не просто нарушением его границ. С моей стороны это был чистый садизм, который довел тебя до бессильных слез. К тому же на моей стороне был перевес, я был у тебя в тот раз в компании с Юрой Токаревым — давно уже отчисленным из МГУ, но нелегально там обитавшим. Ты шел за нами по своей улице имени старой большевички чуть ли не до самого Ленинского проспекта, хотя мне кажется, что вернул я тебе дневник (нечитанным) сразу после железнодорожного переезда — был такой на той улице?

Э Да, железнодорожные пути завода «Красный пролетарий». Похищение помню, но не обстоятельства и развертку действия. Какое-то время мы даже не разговаривали, у меня есть запись, как мы одни сидим в аудитории, и каждый подчеркнуто занимается своим делом.

Ю Общая тетрадь или большая записная книжка. Точно, что сопровождал меня Юрок – Юра Токарев. Возможно, его присутствие было причиной, что в тот раз ты отказал мне в откровенности. Которую, надо сказать, я очень ценил, ибо одно дело экстровеертивный секс (в котором я тоже был абсолютным дикарем), и совсем другое – имплозивный, который ты с присущей тебе неустрашимостью ментально исследовал, что своим побочным эффектом имело разрушение моих собственных комплексов. Это вообще значительный момент. Так вот, я не то что выкрал – просто насильственно отнял в борьбе твою тетрадь. Ты догонял нас по улице Елены Стасовой, в конце которой разрыдался. Потрясенно-пристыженно тетрадь я вернул. Ничего прочтено, конечно, не было... Помню, солнечный день. Весна, одуванчики... Или март и хрусткое кружево на лужах? Нет, по-моему, было по-летнему жарко, что вместе с угрызением совести я прочувствовал полностью, когда мы вышли с Токаревым на солнце Ленинского проспекта.

См. ПРИЛОЖЕНИЕ, «Осеннее отступление. Метафизический дневник».

ДРУЖБА

Э Первые три наших местомига.
Из дневника. «5 окт. 1967. Разговор с Сережей Юрьененом (в лингафоне и после). Пишет рассказы (сюжет: 3 женщины и юноша едут на кладбище). Переписывается

с Казаковым и Битовым. О чем ни заговоришь, все читал. Разговор расшевелил тягу к письму, дал себе зарок уделять этому не меньше 15 ч. в неделю.

14 окт. 1967. Вчера был у С. в общежитии. 4 часа разговаривали. О проекте программы. Он: выкинуть политическое, ибо журнал может попасть за границу. [*Э., ретроспективно: Почему не прямо в ГБ? Ю: Но я, позавчерашний школьник, только что ведь из Минска, из «горизонтальной» жизни, где всеилие Аббревиатуры не ощущалось так, как в МГУ.*] О своих рассказах, о писательстве вообще. С. считает, что нужно уметь видеть детали (как Бунин), я же — что в каждой строчке должно быть мировидение. Он рассказывал о своем литобъединении в Минске, о намерении ходить по редакциям, о семинарах в Литинституте. Потом о женщинах. Оказывается, дерзость их нисколько не сердит, наоборот.

31 окт. 1967. 28-го, в субботу собрались в пивном баре: я, Боря Сорокин¹¹, Сережа, Батыр. Говорили. Я с жаром, но нереально. Боря выпрашивал, от себя не говорил. В разговор вступил парень за соседним столом, за меня против Б. С. Потом пошли в коктейльную в «Москву», я говорил с этим парнем. Он: драться с бюрократами, не размениваться, изучать философию. Пишет стихи, инженер. Расстались дружески. Б.С. меня упрекал в наивности, говорил, что я себя загублю, что надо изучать разные т. зр. Купили «Старку», поехали в общежитие на Ломоносовском. Договорились: читать и обсуждать свое, изучать Ницше, Фрейда, приглашать критиков, поэтов. Внешне все д. б. гласно (много стукачей: Биндерман, Золотов). Собираться в общежитском кафе этажа. Немного пьяный, я болтал с С.Ю. Вернулся в начале 1-го. Первый мужской разговор за бутылкой».

¹¹ Друг и конфидент Венедикта ЕРОФЕЕВА.



Москва. Квартира Миши. 1972

Ю Какое счастье, что ты сумел сохранить свой дневник. Благодаря этому, мы точно знаем день, когда прозвучала наша «клятва на Ленинских горах»: **28 октября 1967-го.**

Когда я провожал тебя из Пятого корпуса за кинотеатр «Литва», на Мичуринский проспект, на троллейбус 34.

Оригинальный текст рассказа «Свои мертвецы», о котором я тебе рассказывал, а также вся переписка с Казаковым, Битовым, редакциями московских журналов, — все это пропало после моего убытия во Францию вместе с моим московским чемоданом, который я оставил доверенному, как казалось мне, лицу. (Не исключаю, что чемодан пополнил литературный архив ГБ). Судить по рассказу с сюжетом «о кладбище» сейчас можно только по вынужденно «облегченной» версии — повести «Пятый угол», опубликованной в моей первой и последней советской книжке.

Но возвращаясь к собственно дружбе...

В отличие от любви у нее были лимиты. Может быть, беспредельной дружба была только пунктирно, *местомигами*, а потом нас разносило по своим отдельным экзистансам, которые в тогдашней советской структуре бытия были разведены беспредельно: ты с твоим статусом москвича, с постоянной московской пропиской, и я с моей временной, с правом находиться в Москве на срок учебы, на пять лет, после которых была полная тьма и неизвестность, непроницаемая для воображения... Что со мной будет? В какую точку Одной Шестой распределят после диплома? Дойду ли до диплома вообще, не сорвусь ли в небытийный ужас под названием «Советская Армия»?

Так или иначе, но ты, самый главный друг в Москве, ничего не сказал мне о смерти отца — я узнал только пост мортем.

Но и ты не приходил ко мне в больницу, где меня, потерявшего 2 литра крови от желудочного кровотечения, спасли осенью 1970-го. Прилетала мама — заранее прощаясь со мной, готовясь к встрече с юным мертвецом. Нина Константинова, восторженно меня читавшая, принесла мне «Аду» по-английски с роскошной орхидеей на обложке и «Колыбель для кошки» модного тогда Воннегута: «Мы с тобой из одного карасса». Борис Тарасов приходил¹². Прилетала из Минска Лена, с которой мы на лестничной площадке стоя. Я прижимал ее к стене и чувствовал, что на этот раз выкарабкался. Первая Градская, городская клиническая больница имени Пирогова, находится неподалеку от Донского монастыря и твоего дома, но мне, выздоравливающему со скоростью, возможной только в юности, и в голову не приходило, что ты мог бы зайти. Почему-то я все время считал, что как ни паршиво мне, тебе еще паршивей — по определению.

Э Мы встречались только по счастливым поводам. Особого рода застенчивость? Нежелание видеть взаимную беспомощность там, где помощь нужна?

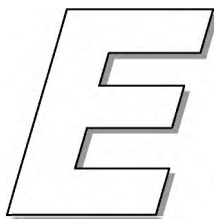
¹² Ныне ректор Литинститута.

Твоя жизнь — в окружении девушек, приятелей, каждодневных приключений в общежитии — мне представлялась настолько ярче и насыщеннее моей, что для недугов и вообще всего «скудного» в ней не было места. Такое было с моей стороны ослепление.

Но и с твоей стороны было то, что можно назвать исчезновением. Есть люди с невидимыми энными измерениями, «нормами инакомерных пространств», куда они время от времени исчезают. За тобой я постоянно чувствовал такое «иное». Тебя неделями, даже месяцами не бывало на занятиях. Твое появление в аудитории бывало для меня радостным сюрпризом, но в промежутках — я не знал, что с тобою происходит. Я мог предположить, что ты уже в Питере, или в Минске, или на даче у друзей, или работаешь новую вещь, не вылезая из общежития, или с какой-нибудь чаровницей уединился в соловьином саду. Ты появлялся и исчезал без уведомлений, что придавало таинственности тебе и обаяния дружбе, но и очерчивало пределы соучастия. Ты был иностранцем задолго до того, как им стал, и твой отъезд в Париж в 1977 г. в какой-то мере даже вывел тебя из этой метафизической неизвестности, поскольку уточнил ее географически. «Где-то там» из области фантазии стало фактом.

Кстати, мне всегда везло на исчезающих друзей и приятелей (назову еще Сашу Бокучаву), хотя сам я по природе остающийся, всегда на своем месте, сам себе бываю скучен.

См. ТЫ, МИША; ТЫ, СЕРЕЖА



ЕВРЕЙ

Э Слово «еврей» для меня звучало едва ли не страшнее, чем «жид». Да «жида» я почти и не слышал, это было неприлично-ругательное слово — и оттого в нашем кругу почти книжное, словарное, диалектно-далевское. А «еврей» было спокойно-убивающее слово, достающее из тебя подноготную на виду у всех. Это было аккуратное, законное слово, от которого было не отвертеться, не дать в морду обидчику, не пожаловаться. Оно звучало громко — в абсолютной тишине. От него замирало и обрывалось сердце. Это был суд, перед которым оставалось только стоять с повинной головой и заливаться краской стыда. Быть евреем было постыдно — как быть червем или быть рвотой. В самой фонетике русского слова «еврей» есть нечто отвратное, от чего накачивает приступ орфозпической рвоты. Сочетание букв «вр» и «рв» отмечено как экспрессивно отрицательное, что подтверждается многими словами: *рваный, рвота, червь, рвач, вор, ворон, врать, вред, вредитель, привередливый, стерва, курва, отвращение, воротить (с души), врезать (по морде), «в рот» (ругательство)*. «Еврей» било наотмашь, как увесистый слиток всех этих слов; звучало как набирание слюны для плевка, сгущение чего-то рвотно-отвратного на языке. Словохаркотина. Произносилось: «е-в-в-В-Р-р-е-й», с особым упором и перекатом на стыке В и Р, а слышалось — и подразумевалось — и «червь», и «вред». Дополнительная экспрессия задавалась двумя обрамляющими «йэ — эй» (йэ-вр'-эй), кото-

рые звучали издевательским хохотком, как сдавленный смешок в горле (не отсюда ли — и свифтовские чудища «йеху», и стивенсоновские пиратские «йэ-хо-хо»?). Попробуйте посмотреть на себя в зеркало, старательно произнося звук «й» — вы увидите нечто, причиняемое только жжением йода или лицемерием йэврея. «Еврей» можно было произносить медленно, смачно, тягуче, как звуковую пытку, долбление слуха: сначала морщить и скалить рот, потом перекатывать звук вокруг тошнотворных «рв» и «вр», и наконец, выхаркивать прямо в лицо презрительным окликом — «эй!»

Это слово и то, что им обозначалось, было жалом в плоть — жалом слуха, достигавшим кишок. Было еще и другое жало (см.).

Ю Именно поэтому деликатная советская власть избегала произносить это слово. В детстве, помню, слышал от взрослых «французы» и крутил головой, никаких иностранцев вокруг не видя. Кажется, при нас возникло это официальное — «лицо еврейской национальности». Или уже было в третьем рейхе?

Как читателю и «фану» мне было неловко за Достоевского, а позже еще больше за Селина. Я с юности считал себя персоналистом, и в этом выборе свободным от расово-национальных предрассудков, фобий и филий, о которых впервые всерьез заговорил только в Париже с французским писателем и социологом, просвещенным сионистом Альбером Мемми, автором среди прочего труда «Портрет еврея», — он разыскал меня, прочитав «Вольного стрелка».

Я родился в Германии, большую часть детства провел в Ленинграде, но годы 1955-67 прошли в Белоруссии. Если для отчима-сибиряка, мыслящего категориями «военные округа», это был только «Белорусский военный округ», то для меня это стало первой эмиграцией. Русский мальчик и пасынок оккупанта, я был уравниен в правах с евреем. Впрочем, евреем меня никто не называл. Только жид. Вслух и мелом на двери, кото-

рая, кстати, была не кроваво-охрянной, как у других, а безумно желтой. Я входил, мочил на кухне тряпку, выходил, стирал, оставляя белесое пятно. Что я при этом думал? Обидно ли было? Нет, мысленно я не произносил: дуры, я же русский... Просто воспринимал это как должное — кодовое — слово своей инакости (хотя Цветаеву пока что не читал). *Другой*. Не такой, как они. На данной мне судьбой лестничной площадке настоящие евреи были слева (Гинзбурги) и справа (красавица-юрист с бесподобными дочками, увы, много старше, а в другой комнате совсем древняя старушка, всех потерявшая в гетто и глядящая целыми днями на улицу усохшим лимоном лица). Среда нас отбрасывала друг к другу. Он — Маршак, Баркан — более жгуч, но все мы брюнеты и смотрим друг на друга карими глазами взаимопонимания. Всего еще не зная, но чувствуя, что мы «заброшены» в место, геопатологию которого создавало множество мрачных напластований (не случайно там и дом-музей I-го съезда РСДРП, и замолчанное гетто, и «Немиги кровавые берега», и убитый Михоэлс, и высшие учебные заведения КГБ, и Ли Харви Освальд, спрятанный в «самом заментованном городе Союза»).

Нет, ленинградские евреи были веселы (семья Бесицких — Яков Зиновьевич, тетя Катя, Боря, Зина, бабушка Эмилия Соломонова на Литейном) и вольнодумны (горбунья Мирра Иосифовна на Невском с засекреченным братом, который впоследствии оказался ядерным физиком Г*** — тем самым), писатель Штейн и его племянник Миша Богин... (этот Миша Богин, с которым мы снялись однажды на краю Бабьего Яра, упорствовал в неотъезде, стал известным в Питере режиссером и, получив аванс на Ленфильме в пару тысяч у. е., был найден в своей квартире убитым и со следами пыток — раскаленным утюгом).

И возвращаясь: твой блистательный лингво-социологический анализ ограничен только страной, где прошла наша юность. Страна Дрейфуса и Селина говорит *juif* — что журчит, как «жуир» — жовиально-радостно и почти как «оргазмировать».

Э Я как-то спросил тебя: хотел бы ты быть евреем?

Ю Интересно, что я мог тебе тогда ответить? И насколько искренне? С одной стороны, конечно, было искушение — персоналист не персоналист. Благодаря пресловутой поправке Джексона, быть евреем стало означать реальную возможность другой страны. Однако ко времени твоего вопроса я уже столь долго пребывал в сознании своей трудноопределимости, что это стало органичным. Несмотря на формально-паспортную принадлежность к титульной нации, во мне было столько «кровей», я ощущал свою принадлежность к стольким культурам, что уже тогда подозревал — оптимальное местоположение для меня, возможно, есть только Америка, частью которой сам я всю свою доамериканскую жизнь и являлся — ходячий «плавильный котел». Но это было только подозрение. Де факто же юноша просто был *советским* — отдельно взятым воплощением денационализированной общности под названием *советский народ*. Да — советским человеком. Советским, важно подчеркнуть, *всечеловеком*, поскольку это ведь тоже был модус пусть и бастардизованного, но космополитизма, по которому сейчас тоскует «национализированная» молодежь РФ. И находясь в этом модусе я, разумеется, страдал, сознавая себя конечным результатом inferнальной переболтанности. Какого разлива продукт? Из миксера советской истории.

Позже я написал книгу, которая в журнальной публикации называлась «Желание быть испанцем»¹³. Но в период, о котором мы говорим, в первую очередь, конечно же, я хотел быть тем, кем и записан в паспортной графе «национальность» — русским. Несмотря на мою «турмалайскую»¹⁴ фамилию, у ме-

¹³ «Дочь генерального секретаря».

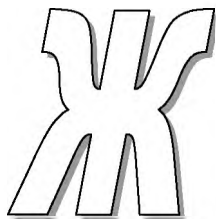
¹⁴ По выражению Игоря Мартынова.

ня было чувство принадлежности к русской культуре и тот пафос оппозиции советскости, который много позже продиктовал одному «национально-мыслящему» поэту строки: «И я по родному краю мечтаю в краю родном».

Э Сам я так ответил на этот вопрос: *Уже никуда не денешься.*

Но евреем «в меру», не торжественно и не безудержно. Я человек диаспоры, сначала еврейской в России, теперь российской в США. У таких, как я, судьба и родиться, и умереть эмигрантами. Любой национализм, в том числе еврейский, вызывает во мне чувство спертости. И чем больше это национализм моей собственной нации, по крови или по языку, еврейский или русский, тем удушливее он для меня. Я желаю Израилю победы над всеми его врагами, ближними и дальними, его укрепления и процветания посреди арабского мира. Я желаю России обустроить и окультурить занимаемое ею пространство и достойно войти в европейский союз народов. Но мне трудно представить себя живущим счастливо и безвылазно «на земле своих предков», будь это еврейское местечко или русский городок.

См.: БАБИЙ ЯР



ЖАЛО В ПЛОТЬ

Э И дано мне жало в плоть, дабы не возгордился. *Ап. Павел*

Что касается меня, то с юных лет мне было ниспослано жало в плоть. Не будь этого, я бы уже давно жил обыкновенной жизнью. *С. Кьеркегор*

Что было «жалом» во плоти ап. Павла, остается тайной. У С. Кьеркегора — неспособность выполнять долг супружества.

Моим жалом в плоть был левый глаз. Родовая травма, нанесенная щипцами хирурга. Да, меня приходилось вытягивать щипцами, ибо мать впервые рожала в 36 лет, и роды были с осложнениями, я лежал кособоко, поперек живота. Помогая, повредили нерв. Левый глаз от рождения не поворачивался налево, и при всяком общении, чтобы видеть собеседника и не выглядеть косоглазым, мне приходилось размещаться так, чтобы держать его справа от себя либо прямо напротив. Это резко сужало пространство коммуникаций и было особенно мучительно в общении с девочками. Приходилось все время изворачиваться — правильно сесть за столик в кафе, удачно разместиться на диване в гостях, так чтобы весь мир размещался напротив и справа от меня, а слева — стена. Мне пришлось осваивать странное искусство левого отворота, правого оборота, «right—turn—art» — одностороннего общения с миром. Название набокковского романа *Bend Sinister*, которое обычно

переводится «Под знаком незаконнорожденных», в моем случае имело буквальный смысл «леванутый», «гнутый слева» (bend — «гнутый», sinister на латыни — «левый»).

Вместе с тем родовая травма была для меня спасительной, так как избавила на законных основаниях от службы в армии: по записи окулистов, я считался «практически одноглазым». Левым глазом на испытательном стенде я с трудом видел верхнюю строчку из двух навсегда затверженных букв, Е и Р, а на второй строчке уже все расплывалось. Таким образом, родовая травма родила меня дважды. Вызволила из утробы и освободила от призыва в армию, где меня еще легче было бы задушить.

Узнав про страдания одноглазого друга (сам ли ты заметил или я поделился?), ты поспешил с благородным утешением, указав на пример Ж.-П. Сартра с его нескрываемым пуче- и косоглазием, не помешавшим ему стать всемирным властителем дум и любовником многих очаровательных женщин, включая такую небезмозглую обаяшку, как Симона де Бовуар. Но как мне было в этом убедиться? Сартр, как баловень европейской буржуазии, не был в почете в пролетарском государстве, и найти его портрет с укрупненным планом глаз было циклопической задачей. Я отправился в Библиотеку — второй случай нашего взаимного подстрекательства к словарному поиску (первый был на букву «в», см. ПОЛ). Перерыл кучу книг и журналов. Наконец, циклопик уставился во французскую энциклопедию — и, по твоему обещанию, получил заряд метафизической бодрости. Сартр косил сразу во все стороны, левым глазом налево, а правым — направо, что, возможно, символизировало сочетание всех возможных уклонов и экстремизмов в его анархо-марксистско-мелкобуржуазной программе (за левоправое косоглазие его и крыли прямосмотрящие советские марксисты). Путь к влиянию на умы одноглазику был открыт. Но с девочками все обстояло намного хуже, поскольку случай Сартра им был неведом, а Симона не попада-

лась на моем пути. Вся юность была прожита с этим жалом в подлобье.

Ю 17 октября 1961. Убогая больничка за тракторным заводом, хирург, запаздывающий по причине непохмеленности... Мне удалили здоровый аппендикс, не подозревая, что в тринадцать лет возможно прободение язвы желудка. Под общим наркозом, сменившим местный, я пережил отлет своей души в открытый космос, цепляние за некие космические шестеренки, которые вращались, падение и затухающее исчезновение себя — гаснущей точки...

На призывном пункте врач приняла мой шрам за ножевой, а когда наступила пора представать перед девушками, я раз-нообразия ради говорил, что в меня стреляли из лука [как в того греческого графа, см. роман Хемингуэя «Фиеста («И восходит солнце»)»].

Это жало меня спасало много раз, начиная с отсрочки от призыва в Советскую Армию.



**Мой le Sursis –
военный билет, легализовавший отсрочку**

Вот труднопостижимый, но медико-политический факт: язвенная болезнь, переместившаяся в дуоденальном направлении, ежесезонно сопровождала меня вплоть до момента пересечения госграницы. В Париж я приехал уже здоровым человеком, и рецидивов на свободе боле не имел.

ЖЕЛАНИЕ

Э же в юности я открыл для себя с изумлением то, что стало потом одним из мотивов постмодерна, — вторичность желаний как предметов желания. Вот запись 18-летнего:

31.3.1969. «...Сама жажда — не чужим телом вызывается, а собственным представлением о том, что она вызывается чужим телом. Не жажда жаждет, а жажда жажды, жажда жаждать чужое тело... Прямой жажды нет, а попытки умственной жажды воссоздать и взбудоражить телесную — утомляют...» Тут свойственное юности умствование, с накручиванием одних и тех же слов, с неизбывным зацикливанием на себя: множественная рефлексия, само-само-самопознание, ряд глядящих в себя зеркал, замороженность этим зеркальным королевством.

Но отсюда выводился и противоположный мотив: всякое умствование — только слабая попытка оправдания жизненных побуждений. В тот же день, на следующей странице:

«Человеку хочется жить, но чтобы оправдаться в этой своей животности, он говорит о тайнах и красотах жизни. Человек — это животное, пожелавшее себя оправдать и проделывающее это с неисчерпаемым хитроумием и разнообразием».

Вот между этими двумя крайности: порывами жить всюю и осознанием сделанности, нарочитости самих порывов — и протекала моя юность. Все время кажешься себе вторичным, выдуманном существом. Тебя еще нет. Ты сам себя делаешь, у себя на глазах. Твое «я» пахнет трудовым потом.

Или так: в первый раз разжигаешь костер, а поленья еще сырые, непропеченные. Вместо веселого, пляшущего огня — густой, едкий чад, щиплющий глаза и ноздри. Хочется плакать от этого праздника жизни. «Прекрасная юность» — это только дымная просушка дров, в ожидании, когда в зрелости они разгорятся, с веселым треском и сухим жаром.

Ю Столь редкое тогда слово, что не без усилия я осознал, что имеет в виду Высоцкий, поющий с самодельного магнитофона одноклассника по минской школе Оси Маршака: «Пойдем в кабак, зальем желание» — ах, оно по отношению к этой Нинке, которая со всей Ордынкой...



17 лет

Желания были не столько темны, сколько требовательны и взаимопротиворечивы. Сидеть и писать? Но о чем? Отдаться самосозерцанию, опуститься на дно души и пускать пузыри? Или идти наружу, во вне, в опасный мир, — за опытом? О, этот Experience с приставкой, выводящей тебя за свои пределы: *Ех!* Наружу! Чтобы подставить себя под впечатления, позволить им впечататься в ткань души. Конечно, важно «как», а не «что», но все же невозможно пренебречь...

Могу сказать, что в каждый отдельно взятый момент юности я являл собой живое воплощение острого конфликта желаний. А если учесть, что к каждому из них я относился не с робостью, а по французской формуле *vouloir c'est pouvoir*, хотеть — значит мочь, можно представить себе, каким безумием могла представляться извне, далеким моим домашним, эта моя безудержная юность.

ЖЕНЩИНА

Э *Из дневника.* 15.11.74. «Женщина должна быть чудом, беззаконием, беспричинностью, евангельским чудом в смысле боговдохновенности. Это есть у Пастернака. «И я пред чудом женских рук...» Я мог бы влюбляться в толстовских и пастернаковских женщин, но не в достоевских и бунинских. В первых — чудо, во вторых — сила. Первые мерцают, вторые ослепляют».

Мне еще в отрочестве очень нравилась Екатерина Бакунина, в которую был влюблен молодой Пушкин. Ее портрет был в последнем, литературном томе первого издания Детской энциклопедии (желтой). Правда, на этом наши вкусы с Пушкиным разошлись. К Наталье Николаевне я был равнодушен. А вот другая Наталья, Ростова, мне была в возрасте 16-18 очень небезразлична. Вообще интересен этот выбор юноше-

ских литературных влюбленностей. Женщины Достоевского и Бунина меня интриговали, но пугали, и если вызывали волнение («Муза», «Руся», «Антигона»), то очень отчужденное. Может быть, кроме еще одной Натали, из одноименного бунинского рассказа. Вообще в его женщинах мне не доставало какой-то застенчивой прелести, они были чересчур вызывающими, и если поглядеть на жгучего красавчика Бунина, можно понять, почему у него сложился такой опыт. Наверно, такая мужская красота пробуждает хищное в женщинах. Тургеневские девушки мне нравились больше, но в них как раз не хватало дерзости, вызова, поэтому больше всего меня, как и следует ожидать, увлекла Зинаида из «Первой любви» (когда я был как раз ровесником ее героя, 16 лет).

21.11.74. «Женщина должна радоваться всему сущему и наполнять его собой; в этом — ее назначение и ее помощь мужчине, который, напротив, должен быть всем недоволен и все переделывать. В этом равновесии между приятием и преобразованием и кроется двуполая тайна мира».

«Как ты относишься к женщинам?» «Каких женщин ты предпочитаешь?» Не люблю таких вопросов. Тот, кто говорит о женщинах во множественном числе, их недостойн.

«В Книге Бытия говорится о том, что «сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены». (Быт., 6:2). По преданию, речь идет об ангелах, спустившихся с неба, чтобы соединиться с земными женщинами. А мне видится отрывок из еще не написанной Книги, где говорится о женщинах-ангелах, спустившихся с небес к сынам человеческим, чтобы они могли узнать вкус неба».

Ю Должно быть лестно им такое отношение, но интеллектуально, пожалуй, они восстанут. Что сказать... в условиях, когда уста запечатаны гендерной корректностью — которая еще хуже, чем полит-?

Наш общий знакомый всю свою жизнь подтрунивает над моей «раненностью женской долей»... Во всяком случае, к

женщинам был я снисходителен — мне кажется. Женщины иногда требовали от меня «быть мужчиной»; я же не помню, чтобы требовал от кого-нибудь из них «быть женщиной», а если раз в городе Солнцево и пообещал одной парижанке «сделать ее женщиной» (в смысле косметики как неперменного, казалось мне тогда, атрибута) - то мне этого не забыли никогда. И правильно. Начиная с того, что для организма косметика — вредна.

В мире нет ничего лучше женщин, но там среди них — своя иерархия, свое небо и свой собственный ад. И если среди них (почти) нет серийных убийц, то встречаются и салтычихи, и эльзы кох, и разного рода «кастраторши» — которые по тем или иным причинам, имеющим отношение к их грозным отцам, не могут не бороться с маскулинной природой.

Больше всего мне в женщинах нравились глаза. Я неважный был их чтец, свое будущее в них прочесть мне было не под силу. Но женщина-ангел нашла меня, слетев с небес, и да — дала узнать другое небо и свободу.

Э Еще и такая черта мне знакома с юности: вожделение к женскому уму. Однажды я испытал его к твоей знакомой В. : стал проникаться по мере разговора, при том, что к ней самой оставался безразличен. Внешне она была милостива, но оставалась как бы в тени своего властного ума и очень уверенной, бойкой, выделанной речи, в которой, может быть, отражался опыт ее общения с тобой и с Б., ваши речевые манеры. Это был высший класс, я таких женщин еще не встречал. Диана Филибер. Вожделение к ее уму могло бы разлиться и шире, если бы я не понимал его безнадежность, поскольку и Феликсом Крулем (Арманом) я не был.

Ю Крулем я не был тоже. Как и Германном из «Пиковой дамы». Азарта отрицать не стану, но сюжетные коллизии в

моем приватном случае выпадали на долю персонажа, который их совершенно не искал.

З

Э *Из дневника.* 14.6.74. «Я не западный, а западник, т.е. стремлюсь к Западу, а не принадлежу ему, и дорожу им не как реальностью, бытом, предметом, но как идеей, идеалом, будущим. Нет ничего более враждебного и даже непримиримого, чем западные и западники. Первые довольны собой (как и славяне и их филы), вторые — недовольны собой. Быть западником — значит быть не у места, быть не там, где твоя мысль. Это состояние тревоги, неуспокоенности. На Западе не место западникам, потому, что там все — западные, т.е. такие же свои для себя, как славяне в славянстве. Западником же можно оставаться только в России (или в какой-нибудь Латинской Америке). Как и настоящим русофилом или синофилом можно быть лишь вне России или Китая».

Ю Я как *еврорусский* (пользуясь твоим определением) вполне ощущал свою генетическую принадлежность — скандинавские предки по отцу, австрийский дед матери, Германия как место рождения и «фантазмагорическая родина»¹⁵. Поэтому совершенно бескомплексно — благодаря самиздатской хатха-йоге и общему, хотя в наших местах невыразимому тренду эпохи — лет в 14-15 я сделался внутренним «паломником в страны Востока», приступив в Заводском районе Минска к изучению поэзии древнего Китая и Японии, а затем древнеиндийской философии. Я не подозревал, конечно, что сам мой интерес предопределен

¹⁵ По выражению Бориса ПАРАМОНОВА.

неизвестным нам пока бит-поколением, восходящим поколением «детей цветов» и тогда еще нечитанным дзен-буддистским Сэлинджером. Можно ли считать меня на этом основании ориенталом? Скорее, это были самые передовые рубежи западничества.

И

ИДЕОЛОГИЯ

Э С какой поры я почувствовал свое отчуждение от идеологии, вернее, тот факт, что это идеология, а не просто нормальное положение вещей, естественный образ мыслей? Первое потрясение случилось, когда мне было лет 5 или 6 и я со своей слегка старшей подружкой Юлей играл во дворе (дом на Дубровке, рядом с тем местом, где почти полвека спустя случился Норд-Ост). Наступали ноябрьские праздники. «Что-то не видно портретов Сталина», — заметил я с несвойственной мне наблюдательностью. И тут Юля меня просветила. «Сталин — плохой. Он убивал людей» — заявила она со всем непререкаемым авторитетом первоклассницы. И что-то во мне обрушилось. Сталин? Убивал людей? Так отзыв хрущевской большой политики дошел до нашей песочницы.

Дальше — пробел до примерно 14 лет. В нашей семье не говорилось о: политике, религии, эротике. Думаю, табу выстраивались именно в такой последовательности. И если категорически нельзя было «про это», то под «этим» понималась в первую очередь: власть, строй, партия, народ, единственно верное учение. Да и меня это как-то совсем не трогало: уже поверив, что Сталин убивал людей, я все еще верил и в то, что Ленин — самый человечный... Первое мое несогласие объявилось в 8-м классе перед классным руководителем Наумом Захаровичем Цлафом, который вел у нас химию. Что-то он внушал нам об освоении космоса, об успехах науки и о том, что религиозные пережитки окончательно разоблачены, поскольку космонавты побывали на небе, а Бога не обнаружили. Меня эта глупость вывела из себя, и я ему на весь

класс стал возражать, что Бог вовсе не одно из космических тел, что у него духовная природа и т.д., а поэтому полет космонавтов не может иметь решающего значения для победы атеизма.

А я, когда мне вожжа попадала под хвост, делался упрямым и собой управлял с трудом. Наум Захарович сильно со мной спорить и раздувать вопроса не стал. Он был человек суховатый, химический, но далеко не бездушный, и понимал, что дело не в нем, а во мне. И потом мама, по его просьбе, поговорила со мной о том, что одно дело — иметь свои взгляды, и другое — высказывать их там, где они неинтересны, никому не нужны и попросту опасны. И призвала меня быть умнее. Чему я вроде бы внял и в школе уже особо не высовывался. Но я вдруг стал слышать и понимать, о чем говорит Эдик, мой двоюродный брат, на 14 лет старше меня, весельчак, хохотун и мастер политического анекдота. А в пионерлагере, уже 16 лет, я познакомился с девушкой Любой Борисовой, которая воспламенила меня высокими чувствами — не к себе, а к родине. Не знаю, как это ей удалось, поскольку и сама она в это время пылала другими страстями (не ко мне). Но словно бы понимая свою несозданность друг для друга, мы взаимно устремились навстречу Родине и в служении ей нашли залог своей дружбы (впрочем, недолгой). Но даже тогда, когда я уже понимал природу того общества, в котором мы живем, для меня долго неприкосновенным оставался В. И. Ленин. И бороться я хотел не против него, а как он, вместе с ним, за него.

Последний рецидив моего романтического ленинизма, сколько я помню, пришелся на 50-летнюю годовщину Великого Октября. 1967 г. Первый курс. Нас, студентов-филологов, колонной выводят на демонстрацию, откуда-то издалека мы идем к Кремлю, а по дороге, конечно, развлекаемся, согреваемся, травим анекдоты. Аркаша Голденберг из Волгограда, несколькими годами старше, с трудной судьбой, исключавшийся за политику и потом восстановленный, рассказывает анекдот про Ленина. А я напрягаюсь и не смеюсь. И объясняю

ему искренне, что да, советская власть и прочее — это дерьмо, но Ленина не надо трогать. Потому что должно же быть что-то святое. Иначе — цинизм и опустошенность. Что-то такое я ему выговариваю, он замолкает, и к этой теме мы больше не возвращаемся. Проходим перед Мавзолеем, что-то такое изображаем, расходимся по домам. Но, защитив тогда Ленина, я вскоре почувствовал, что надорвался, что нет у меня больше сил его защищать. Но и нападать на него тоже нет охоты. Так и сдавали мы все экзамены по истории КПСС, по марксизму-ленинизму — без вопросов и ответов, говорили как бы молча, подразумевая, что никто ничего не слышит и слова — это такая форма молчания.

Только однажды меня сильно разозлила профессор Шишкина с кафедры марксизма-ленинизма, мать студента Шишкина, который с нами же учился. В Большой Коммунистической аудитории она читала нам лекцию, разоблачающую антисоветские взгляды академика Сахарова. «Академик Сахаров клеветает на наш народ, на достижения советского строя. Он утверждает, что 40% населения у нас живет ниже черты бедности. Посмотрите вокруг себя — она обвела рукой зал. Вы видите этих людей, живущих ниже черты бедности? Разве это не клевета?» — Я посмотрел на нашу аудиторию, типично представляющую тот народ, который, конечно же, никогда не опускается ниже черты бедности. Я посмотрел на небедного студента Шишкина, чья мать так красноречиво указывала рукой и на него, своего сына. Его лицо ничего не выражало.

Еще мне доводилось беседовать с отчимом Тани Горбачевой, нашей сокурсницы, — этот Горбачев (не тот Горбачев) работал в ЦК, номенклатурные подробности выветрились. Но со слов Тани запомнилось, что если он умрет до выхода на пенсию, то будет похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с которым, в шикарном районе Москвы, был расположен их дом. Вот так мерился ранг — на каком кладбище тебя похоронят, и выше Новодевичьего не было ничего (кроме Кремлевской стены, но это уже для Политбюро, и то не для всех).

Понимая редкость такого случая — поговорить с членом ЦК, который уже наверняка все знает и может ответить на любой (несекретный) вопрос, я изо всех сил допытывался, что же нам думать о таких-то и таких-то явлениях: о хозяйственной стагнации, об отсутствии демократии, об отставании от Запада, и т.д. Мне думалось, что у них заготовлена мощная, изощренная машина всеобъясняющих, пусть даже лживых, аргументов. Я ожидал некоего остроумия, изобретательности, идеологического блеска. Нет, ничего. Обыденное ковыряние вилкой в остывших словах. «Да, есть еще недостатки... многие резервы не используются... у нас есть друзья во всем мире... у нас у власти стоят очень умные люди... можете быть спокойны за нас... (а я за «нас» и не волновался)... они не позволят сорвать мир в пучину ядерной войны... но не позволят и врагам диктовать нам свои условия... мы нормально живем, работаем, развиваемся... не так быстро, как хотелось бы, но у истории есть свои законы... правда на нашей стороне...»

В общем, Ленина я из себя выдавливал по каплям, как Чехов — раба.

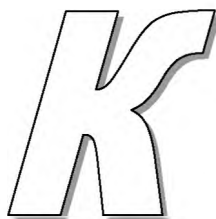
Ю Никакой симпатии к этой фигуре внушить я себе не смог, хотя, бывало, перелистывал «Философские тетради» (но только из-за удачного названия).

«Критиканом» же был, пожалуй, с детства — задолго до того, как в 11 лет сделал запись в ленинградском дневнике о том, что у поэта Некрасова было 12 комнат, я посчитал их в музей-квартире на Литейном, 36, «а говорят, что плохо жил». Не верил ничему, что за пределами моего опыта и поля зрения. Конечно, я находился в состоянии непрерывной, пусть и не всегда взрывчато-гласной дискуссии с оппонентами, которые, будучи «Рго», менялись (мой советский отчим, член КПСС, мой испанский тесть, руководитель КПИ). Но достоверная информация извне доходила редко, урывками, и острый ее дефицит был причиной того, что при всем своем критицизме

я честно пытался отыскать положительные стороны «социалистического эксперимента». Не зная еще («Архипелаг ГУЛАГ» предстояло прочитать в Париже в 1976 году), какая вселенская гекатомба трупов заложена под этот эксперимент, я повторял тогда за Сартром это «дистанцирующее» выражение. Мне, например, нравилось то, что Виктор Астафьев (но много позже) называл «сбродом», а официоз — «исторической общностью советский народ». Какое-то время мне даже казалось, что мы, Советский Союз, — это неудавшаяся Америка. Проект, который еще можно спасти, взяв за основу свободу. Но это было так, наплывами фантазий.

В реальности же я с пионерского возраста испытывал отвращение к идеологии, и это чувство становилось вполне активным, когда мертвечина «единственно-верного» переходила в свою агрессивную фазу в очередной попытке «овладения массами». Так, моим последним комсомольским собранием стало то, на котором — в последнем классе школы — решался вопрос о том, место ли вообще мне в рядах ВЛКСМ — поскольку по наивности я выбрал тогда (не помню, по поводу какой несправедливости) *fight*, а не *flight*. Но после этого я, по возможности и невозможности, уклонялся от всех видов комсомольского коллективизма, как то: собрания, демонстрации, выезды «на картошку», встречи высоких иностранных гостей (с флажками вдоль Ленинского проспекта). Я прекрасно существовал вне идеологии, радуясь, что в массовидности тоталитарного бытия нашел себе экзистенциальную лазейку, и оттуда взирал на идеологию как на нечто сугубо внешнее, на нечеловечески-уродливые напластования лозунгов, транспарантов, плакатов, портретов и трансляций из Кремлевского дворца съездов. Спихватился я уже только лет через десять, незадолго до убытия из этой организации по возрасту, поскольку для первого выезда за рубеж, в Венгрию, мне понадобилась характеристика.

См. АНТИСОВЕТСКОЕ, ДИССИДЕНТСТВО, ПОЛИТИКА



КАЗАКОВ

Ю Лет с 13-14 стал восторженным читателем его рассказов, нашел все изданные сборники — включая самые первые, второй половины 50-х. Я считал его лучшим стилистом в СССР и даже поссорился с отчимом, который про рассказ «Адам и Ева» отозвался кратко: «Скотство!». И так получилось (пример вторжения магии), что именно Казаков, будучи тогда редактором отдела прозы кратко-временно-либеральной «Молодой Гвардии» (печатавшей «Озу» Вознесенского), в 1964 году собственноручно выловил из самотека мои первые рассказы — городской, курортный и деревенский. Первый назывался «Солнце в нашем окне» и описывал морозный мартовский день и состояние ошеломленности по поводу совершенно случайного — мерзлую клюкву завернули на колхозном рынке в кулек, свернутый из нью-йоркского «Нового русского слова» — открытия факта существования русского Зарубежья. Там была прерываемая домами траектория солнца, сопровождавшего автобус. Другой рассказ был про ночи в Сочи, аромат магнолий и прогулки к запрещенному морю с лирической героиней (прототипом которой была Ирина***, 16-летняя красавица из подмосковного Солнечногорска, брюнетка донских кровей с тяжелыми грудями и обгоревшей их ложбиной, которую ее мама, видящая меня насквозь, присыпала толченым на вощеной бумажке стрептоцидом). Третий рассказ, и моя первая Dorfprosa¹⁶, изо-

¹⁶ Деревенская проза (нем.).

бражал застолье на хуторе у лесника Петровича в полигонной зоне под Борисовым.



Юрий Павлович Казаков (1926-1982)

Казаков написал мне в Минск: «У Вас зоркий глаз и точная рука... К счастью, Вам мало лет, и если не охладеее к литературе, годам к 25 будете писать хорошо: раньше прозаики не возникают...» Более того, Казаков предложил мне присылать ему новые рассказы, тем самым определяя взаимоотношения и давая им открытую перспективу. В одном из последующих писем, в ответ на мой первый «большой» рассказ «Свои мертвецы», совершенно неожиданно для меня, тогда все же только 18-летнего, Юрий Павлович поставил мне в упрек «старче-

скую» изощренность — сравнивая при этом с неизвестными мне тогда эмигрантами В. Набоковым и Б. Зайцевым (книги которых привез из Парижа в 1965 или 66-м. Впоследствии, сам оказавшись в Париже, я прочитал в Дневниках Габриеля Мацнева, православного французского декадента, об угрюмом пребывании Казакова во Франции на пару с куда более светским в православном смысле Солоухиным). Под воздействием и с помощью Казакова я переехал в Москву, со второй попытки поступив в МГУ. Все его усилия напечатать меня остались, однако, безуспешны, о чем он писал со всей откровенностью в канун 1967-го года: «На публикацию особо не рассчитывайте: год предстоит юбилейный».

В 1982 году в Париже я написал некролог для Радио Свобода. К 5-й годовщине посвятил своему учителю целый «Экслибрис» в виде собственного эфирного монолога, который к 10-летию кончины появился в газете «Московские новости» под названием «Свои мертвецы». На публикацию Битов отозвался критически: «Не столько о Казакове, сколько о себе...» Поэтому я, пожалуй, здесь добавлю, что при всем моем восхищении Казаковым-писателем, этот человек, массивностью напоминая Набокова, не создан был для устного общения. При личной, оставшейся единственной встрече у него дома в Москве, в районе ВДНХ, нельзя было не почувствовать, что всё — и в нем, и вокруг него, в отношениях, — как-то уж слишком напряженно, тяжело и тягостно. Какая-то глубокая неразрешимость была внутри него. Я думаю, что невозможно в условиях безгласности открыть свою закрытость (под которой, конечно же, невыносимость душевных травм) и объясняется его упрямый эскапизм — увы, не только географический, в сторону «проклятого Севера».

КВАРТИРА

Ю Самое первое появление у тебя на Донском. Осень 1967-го? 68-го? Вспомнилось окольным ходом памяти, через деталь — поскольку у тебя в кабинете я сразу увидел один из первых пэйпербэков своей жизни. Это была популярная американская книжка по философии. Желто-красная — наглая. Меня тогда удивил уровень английского у тебя, 17-летнего выпускника обычной школы. И само наличие пейпербэка. Который тебе, кажется, подарил американский турист, с которым ты разговорился в центре... Ты, кстати, сразу, «не зажимаясь», одолжил мне книжку, и в профилактории МГУ, зона «Ж», я помню, выписывал философские термины по-английски...



В гостях у Миши. 1971 или 72

В правом углу проходной комнаты был стол, за ним покрытой скатертью «алтарь» с фотографиями и безделушками, окно, в левом углу телевизор... Это окно, должно быть, мешало сидящим на бутристом молескиновом диване 30 - 40-х. В простенке слева был застекленный шкаф, тоже с книгами (прочитанными в школе и не актуальными).

Твой кабинет: справа старомодная и очень удобная кровать. Окно в две незатейливые рамы. Слева стол, застекленный старинный шкаф и еще один, новый, со скользящими стеклами, где, среди прочих книг, одиноко стоял 4-й том Эйнштейна [(неизменно веселивший омонимичностью с тобой (как и добавившийся несколько позже Эйзенштейн))].

На предыдущей странице фото, снятое тобой: я у тебя с сигаретой за чаем на кухне – твое любимое место в углу, которое ты мне уступал, садясь лицом к изоконному свету.

В МГУ, среди спящих студентов, мне было жутко представлять тебя в твоём доме — за спиной мертвое кладбище (вспомни описание в «Доме на набережной»), крематорий... Между Донским монастырем и заводом Красный Пролетарий. Небытие. Танатос.

Лицом ты, к счастью, был обращен к Эросу — в виде женского общежития текстильного института. Биногля у тебя не было: впрочем, силуэты раздевающихся девушек я видел и невооруженным глазом, и как волновали эти взлетающие руки!

Что касается моих квартир — помимо 5 корпуса и ГЗ на Ленгорах... Кусково, флигель... Плетешковский переулок у метро «Бауманская»... Солнцево, ул. Северная, дом 1, и снова Москва — Новопесчаная (она же Вальтера Ульбрихта) на «Соколе». Затем Арбат — закрытая гостиница на Плотниковом переулке с видом на высотку МИДа. Нижнекисловский переулок между Военторгом и консерваторией. Наконец улица Трифоновская с видом на часовню Св. Трифона, которую пользовали, как склад для мазута и горючего... а далее такси доставило меня на Белорусский. «А далее — везде».

Э Детство я провел на Дубровке (до 8), отрочество в Измайлове (до 14), юность и молодость у Донского монастыря (с 14 до 32 лет), первую зрелость на Аргуновской (близ Останкина, 1982 -86) и на Смоленке (1986-90)... Та квартира, о которой ты говоришь, была самой долгой в моей жизни, 18 лет, ровно совпав с брежневской эпохой (1964 — 1982). Папа получил ее в награду за многолетнюю беспорочную службу и в обмен на нашу часть деревянного домика в Измайлово. Две смежные комнаты, кухня, совмещенный санузел, общая площадь 23 кв. м., на троих.

По переезде меня ритуально избили дворовые мальчишки, просто подошли и ударили, когда я через двор шел в магазин. То ли как чужеродца, то ли как чуждомца, — чтоб знал, кто здесь хозяин. А отъезд ознаменовался тем, что квартиру посетила знаменитая поэтесса и публицистка «того» лагеря Татьяна Глушкова. Она самого В. В. Кожина обвиняла в уступчивости евреям и либералам. Дело в том, что новую квартиру мне, уже отцу троих детей, давал Союз писателей. Даже их мое положение — трое взрослых (с женой и мамой) и трое маленьких детей в 23 кв. м. — разжалобило. Но взамен трехкомнатной квартиры, которую мне согласились дать, они хотели оставить себе, в писательском жилом фонде, нашу двухкомнатную. А мы, естественно, хотели, чтобы двухкомнатная осталась маме, а наша многодетная семья получила отдельную. И вот Союз стал посылать к нам потенциальных жильцов, писателей, которым приглянулась бы наша квартира. Первой и, кажется, последней посетила Татьяна Глушкова. Она пришла в такой ужас от «еврейских запахов» и «еврейского духа» квартиры, что не только отказалась в нее переезжать, но, видимо, своим ужасом заразила других писателей — и квартира осталась маме. Впрочем, я не исключаю благотворной роли Александра Рейжевского, который был тогда председателем жилищной комиссии и испытывал ко мне простую человеческую симпатию. Возможно, именно он послал Глушкову впереди всех, чтобы отбить желание у других писа-

телей. Такая вот камерная сценка времен андроповских и покорения Афганистана.

КГБ

Ю Время от времени на факультете появлялся наш сверстник, который был словно бы в прозрачном коконе неприкасаемости, существуя в режиме «свободного посещения» — возможно, думал я, по причине некоей болезни. Потом он возник в семинаре по Толстому, который вел заместитель декана по учебной части «толстовед» Зозуля. Короткие отношения, непростительно доверительные с моей стороны (я привел его в общежитие и показал содержимое своего чемодана с запретными книгами и самиздатом), у нас возникли прежде чем я узнал, кто его отец.

И все же по-настоящему «под колпак» я попал после того, как мы стали жить с Ауророй. Тогда на меня стали собирать компрометирующий материал, опрашивать знакомых по общежитию о характере моих чтений и разговоров. Ничем хорошим это бы не кончилось, если бы наша лав стори не превратилась в международный брак, который перевел все «дело» в высшие сферы.

Именно поэтому фактом моего невозвращения занимался впоследствии лично Андропов, раздувший всю историю до абсурда — допросы всех, кто меня знал в Союзе, посылка людей в Париж и Мюнхен, где я едва не оказался в той же ударной ситуации, что Троцкий в Мехико-сити (не паранойя, — факт биографии. Думаю, что победа Горбачева и его «нового мышления для страны и мира» мне сохранила жизнь).

Э Да, это было удивительно — на фоне Афганистана и состязания двух мировых систем вдруг вспыхнуло дело С. Ю. После твоего отъезда-невозвращения мне звонили в мое отсутствие, вызывали на встречу. Мама мне

передала, и я, развезя рукописи по нелитературным семейным знакомым, отправился переждать в Ленинград. Больше не звонили, так никогда я с этим племенем и не встречался. А у мамы, за неделю-две до смерти, были видения о тебе и обо мне, полные страха: ей казалось, что за нами пришли, ворвались в квартиру, пытаются ее, допрашивают о нас.

Ю «Может приехать на свой страх и риск», — слетело обо мне с вершин Лубянки в период перестройки. В Прагу из Германии однажды позвонил поэт ***, сосед по последнему дому в Москве. Сказал, что после моего «выбора свободы» с ним работал полковник КГБ с ласковой фамилией Котеночкин. Предлагал командировку в Париж — уговаривать меня вернуться. Поэт предупредил меня против поездок в РФ. «У них на тебя зуб».

Сколько можно его иметь на невозвращенца брежневских времен, никаких военно-государственных тайн никому не выдавшем по причине абсолютного неведения? Я понимаю, что «хранить вечно», что «контора бессмертна», но все же... Тридцать лет спустя? и при другой, казалось бы, «формации»?

См. АНДРОПОВ, ДИССИДЕНСТВО, ОТЪЕЗД

КИТАЙ

Ю Подростком я состоял в переписке (прерванной «культурной революцией») с китайским юношей по имени Ши-Чи-хай. Он был из Шанхая. В школьной юности Ли Бо, древнекитайские поэты. В юности эмгэушной — Лао-Цзы с его протестом против окаменения и апологией мягкости. С каким же чувством я вынужден был — вопреки дао недеяния — пойти на «демонстрацию народного гнева» по поводу событий на Амуре, на острове Даманском. Явка была обязательной. Из деревянных школьных ящиков

желающим раздавали чернильницы-непроливашки и баночки с чернилами. Гуманитарии воздерживались. Добросить до стен китайского посольства было непросто, но многим «естественникам» удалось. После этого сталинское здание с флагом КНР еще долго стояло запятнанным — облицованные плитками стены его крыльев, выходивших на проспект Дружбы, куда в знаменитую «стекляшку» ходили мы утром после ночных азартных игр; под пиво там приносили блины на индивидуальных сковородочках — такова была данная нам в ощущениях особенность непростого заведения у стен коммунистического недруга.

КНИГИ

Э Первую свою настоящую книгу я сам себе купил в 13 лет, в книжном киоске у кинотеатра «Родина» на Семеновской пл. (быв. м. Сталинская). Это был «Философский словарь», М., Политиздат, 1963. Он до сих пор у меня стоит. И до сих пор на том же месте стоит тот киоск, хотя кинотеатр закрыт (я проезжал на трамвае, видел). Ровно сорок лет спустя в изд. Алетейя, СПб, 2003, вышел «Проективный философский словарь. Новые понятия и термины», под моей редакцией и с предисловием. Там 165 статей 11 авторов, в т.ч. около 100 моих. С чего начал, к тому и вернулся.

Вообще к книгам я был жаден и старался приобрести больше, чем успеваю прочесть. Многие выходные посвящались походам в книжные и букинистические и топтанию на Кузнецком мосту среди чернорыночников. Хороших книг при тотальной цензуре было так мало, что промелькнувшее надо было немедленно покупать, надежд на повторную встречу в магазине и тем более на библиотеку не было. Книга была для меня не библиографической ценностью, а неким входом в будущее, пусть и иллюзорным, поскольку я старался впрок за-

пасть знаниями о том, что когда-нибудь сможет меня заинтересовать. Мне, например, грезилось, что когда-нибудь я захочу написать о морфологии облаков, и я закупал книги по метеорологии. Само присутствие книги на полке меня успокаивало и насыщало неким виртуальным знанием, тем более, что я отовсюду прочитывал по несколько страниц, а остальное досоздавал в воображении. Особенно любил энциклопедии и словари практически по любой отрасли знания, кроме сугубо технических. В результате к отъезду из России у меня скопилось чудовищная библиотека более чем в 10 тыс. томов. Основные разделы: справочный, философия, русская литература, зарубежная, эстетика и литературоведение, лингвистика.

Есть ли книги мне особенно дорогие, как книги? К книжной материи — изданию, переплету — я равнодушен, и все же есть книги, содержание которых навсегда связалось для меня с их видом, фактурой, а может быть, и запахом. Серая «Дхаммапада» в пер. и с коммент. В. Н. Топорова, 1960; черный, толстый, но малоформатный том Ф. Кафки, 1965; розовая П. Гайдено, «Трагедия эстетизма», 1970, открывшая мне С. Кьеркегора; черный Ю. Лотман, «Структура художественного текста», 1970; синий О. Мандельштам в Библиотеке поэта, 1973; малоформатный, в суперобложке «Поль Валери об искусстве», 1976...

Ю Настоящие книги, если не говорить о классике, были либо «на языках», либо же в рукописях, которые доверяли мне их авторы (так, «из первых рук», был прочитан в Ленинграде у Пяти Углов первый вариант «Пушкинского дома»). Впрочем, чудеса творил и Госиздат, и я разделял твою реакцию на те же самые книги: огромные черно-зеленые, уцененные до 20 копеек тома Л.Н.Толстого из 90-томника, Кафка, собрание Т. Манна, «Дхаммапада», «Трагедия эстетизма»...

В 20 лет я купил на черном рынке «у Первопечатника» книжку в ледериновом переплете на русском языке, но 1934

года издания: «Путешествие на край ночи». Последняя в жизни, которая довела до слез — никому не видимых в келье МГУ. С тех пор сопровождает меня по миру, эффект, конечно, свой утратив. Кто размагничивается, книги или мы?



*Гродно, ул. Скидельская. 7-8 лет.
Кирпич на коленях – Дмитрий Петров-Бирюк,
«Сказание о казаках» (1935-51),
трилогия в одном томе.*

КОРНИ

Ю Трудный для воспоминаний вопрос, — а потому что не хочется сдавать козыри тем, кому выгодно числить меня в русофобах... и однако там и тогда я не был сторонником твоей ориентации на русскую культуру, на Россию, которую ты с таким восторгом привозил из фольклорных экспедиций. Мне хотелось, чтобы ты экзистенциально «избрал себя» по-другому, в соответствии с принадлежностью, благо оба прадеда равнины. Дай мне судьба такие козыри, казалось мне, я бы... не знаю. Превзошел бы Кафку.

Э Боже, какие козыри? За спиной — местечко. Бабушка научилась говорить по-русски только к 15-16 гг., правда, вскоре уже сдала за всю гимназию с золотой медалью. А в 1930-е, переехав из Новгород-Северского (на Украине) в Москву и ютясь поначалу у родственников или снимая углы, дедушка с бабушкой оказались лишенцами, поскольку у прадедушки до революции в Новгород-Северском была лавочка, а у его брата мельница.¹⁷ Мое отрочество — деревянный домишко в Измайлове, с туалетом во дворе. В серый блочный дом в Донском проезде (впоследствии ул. Стасовой) переехали только в 1964 г. Дедушка под старость зарабатывал тем, что склеивал коробочки для лекарств. А отец всю жизнь простучал на счетах. Первые книги — Гоголь, Тургенев, Некрасов — появились в доме только к моему отро-

¹⁷ В 1918–1936 гг. лишенцы не только не могли голосовать, но им также было запрещено работать в государственных органах, получать высшее или техническое образование. Лишенцам не выдавались продуктовые карточки, что в периоды голода зачастую приводило к голодной смерти. Избирательные права лишенцам были официально возвращены конституцией 1936 года. На практике же в советских анкетах, заполняемых при приёме на работу, сохранялся пункт «были ли вы когда-либо лишены избирательных прав?», то есть на деле дискриминация сохранялась.

честву, в 1962-64 гг., чтобы сын-школьник учился, читал классику.

Ю Посещение башни у Донского. Семья москвичей. Семейные фото, которые ты мне показывал. Люди 30-х, похожие на Мандельштама. Ты сказал: «Смотри, какой ужас у них в глазах...»



Отец Мишиного папы Моисей Самойлович Эпштейн

Мне это было генетически близко — я тоже родом из жертв системы и маргиналов по нацпризнаку. Только от моих «варягов» не говоря уже о «греках», не осталось никого, тогда как за тобой была вся мощь советского еврейства, грибницу которого я ощущал, разветвленность сетей... У тебя была крепкая подпочва.

Э Может быть, психологическая, но не житейская и не карьерная. Когда меня не взяли даже на ту жалкую должность в НИИ строительства и архитектуры (составлять тезаурус строительных терминов), куда меня распределили с филфака МГУ, мне осталось идти к маме в издательство «Транспорт» помощником корректора и, по иронии судьбы, выдирать листы с фашистским флагом, который по политической ошибке был вклеен в книгу-альбом «Флаги государств мира». Работа кончалась — и гуляй смело. Диалектика перехода в никуда. Потом, к счастью, был принят на вечерние подготовительные курсы, где преподавал рус. яз. и лит. будущим энергетикам. Хорошая попала начальница Вера Никитична, а то евреев никуда не брали, даже на временные и внештатные должности. Но и ей пришлось через три года меня уволить из-за очередной компании против сионизма. Так я и не имел никакой работы в СССР до самого отъезда в 1990. От обвинений в тунеядстве меня спасало лишь членство в Союзе писателей (с 1978).

А почвы хотелось — мировоззренческой! Я одно время пытался найти каких-нибудь масонов (не обязательно «жидо»). Ну почему меня никто не вербует? я же подхожу по всем статьям! Подошел как-то в Библиотеке Ленина к бывшей сокурснице Тане Савицкой, которая вроде бы этими масонами занималась в архиве, и просил при случае меня с ними свести. Ждал не по дням, а по часам, чуть ли не на выходе из Библиотеки, верил в их всеприсутствие. Так и не завербовали по сей день.

Ю Моя писательская природа, естественно, отвергла любую форму «востребованности» в тогдашнем биполярном мире. Что акцентирую, поскольку в советские времена «Литгазета» писала о «коварной улыбке обольстителя с радио «Свобода»», а советский писатель Приставкин шел еще дальше, предостерегая эмигранта Георгия Владимова, мне об этом и поведавшего, от сближения с ЦРУ в моем лице.

Что я имел — *варягогрек?*

Синтез Северо-Запада и Юга, Санкт-Петербурга и Таганрога, безумную смесь кровей, которая говорила только о том, что я чистый продукт советской империи, всех переболтавшей. Фамилию, которую никто в СССР со мной не разделял (только в Дании увидел пару вывесок с фамилиями владельцев JØRGENEN). К тому же не поддержанную обликом, благодаря венскому деду. Тот же Юрий Казаков, меня увидев, со свойственной ему деликатностью протянул: «Я думал, вы рыжий финн двухметрового роста...»

Иностранец в русской культуре.

Нацмен.

В силу такого самоощущения я и был на стороне Марии Самуиловны — когда в ее доверительных разговорах со мной выражалась тревога за твое будущее.

Э Мама, в конечном счете, была на моей стороне.

Ю А на стороне России, как я понимаю, — магическое обаяние...

См. МАМА, ПАПА, РОД И РОДИТЕЛИ

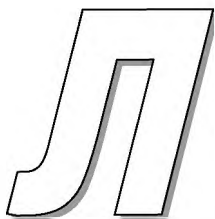
КОРРЕКТНОСТЬ

Э Полит- и всякая другая корректность уже навязла в ушах. Помню, как по приезде из СССР, в первые мои американские месяцы, меня поразили письменные инструкции, выдаваемые преподавателям, о том, что считается «сексуальным домогательством»: туда включались даже не востребуемые взгляды, поворот зрачков (а поди пойми, востребован ли он). Полицейщина, страх, беспощадная самоцензура там, где была бы уместна простая человеческая корректность, приличие, порядочность. Но вспоминая, что творилось на бескорректной родине в мои юношеские годы, я все-таки вынужден отдать должное американской системе. В летней пионерской республике «Юность Замоскворечья» я подружился с девушкой, которая призналась мне в связи с начальником республики, верховным пионервожатым, 34-летним отцом семейства. С ее стороны это была первая горячая любовь, тайна, ревность, муки. А что это было с его стороны к восьмикласснице, 15 лет? Мне трудно это понять, хотя, конечно, начитан: Свидригайлов, Комаровский, Гумберт... В первой фольклорной экспедиции на моих глазах завязался бурный роман между ее руководителем, профессором МГУ, и студенткой. Потом ко мне на квартиру приходила его жена выяснять подробности романа, чтобы уснастить ими свою жалобу в партбюро, но я сказался больным и не открыл дверь. Служебно-этическая проблема, особенно в педагогических учреждениях, остается, и ни юридически-запретительные, американские, ни стихийно-разрешительные, российские методы здесь не вполне работают.

Ю Корректность в этом смысле, Миша, понятие не из советского содома, который бы рухнул, изыми из него столь сладостную компоненту, как секс с теми, кто от тебя зависит, секс «сверху» с теми, кто «внизу». Поэтому просвещенная политика сексуального харассмента

обратилась в издевательски осмеянный прах еще на дальних, восточноевропейских подступах к границам территории, где от начальственно-подчиненного экстаза отказываться, похоже, никто не собирается — по крайней мере, в провидимые нами исторические сроки. Не самая экстремальная, но самая органическая форма социального садомазохизма, испытанная и глубоко овнутренная обществом тоталитарная модель поведения — как «сверху», так и «снизу», разумеется.

Э Даже не знаю, что репрессивнее: начальственный секс по принуждению, по карьерной зависимости подчиненных в России — или страх живых человеческих отношений перед служебным кодексом в Америке. Без репрессий, увы, нигде не обходится.



ЛИТЕРАТУРА

Э *Из дневника.* 19. 11. 74 «Литература-перестарок (перележавшая в ящиках) так же бесплодна, как литература-недоносок (на потребу дня)».

Ю Не могу не заметить, что это написано, несмотря на известный тебе эффект «Мастера и Маргариты», вынутой из ящиков через тридцать лет, и в год высылки из СССР автора «Архипелага ГУЛАГ», книги, созданной в ответ на требование, кажется, самой Истории, пришедшей к выводу, что пора закрывать коммунистический «эксперимент». Впрочем, на беллетристику ты всегда смотрел — не то, чтобы свысока, но снисходительно... Подрывал святое. Рассказ. Повествование. *Story.*

Э Я всегда имел на тебя метафизические виды, хотел соединить талант с «направлением». Помню, как уже в Праге предлагал тебе писать вставки в «Войну и мир», «Бесы» и прочую классику — эпизоды, от которых авторы воздержались по условиям времени и (само)цензуры. Например, что произошло между Ставрогиным и Лизой в ту единственную ночь, после которой между ними все изменилось бесповоротно. Достоевский явно что-то имеет в виду — и не договаривает. То ли что Ставрогин оказался не на высоте... Или что случилось в первую брачную ночь между Рогожиным и Настасьей Филипповной, почему он ее зарезал? Хорошо

было бы узнать — хотя бы от тебя. Этот жанр — обратная цитата. Не выписывать из Достоевского, а вписывать в него. Скажем, в Достоевском могут быть обратные цитаты из Юрьенена, в Гегеле — из Эпштейна.

И наоборот, еще в пору моих художественных опытов ты мне говорил: «Быть, быть тебе идеологом».

Ю И разве оказался неправ?

ЛЮБОВЬ

Э После твоей свадьбы с Ауророй¹⁸ я записал:
Из дневника. 14.6.74

«Найти всеотзывчивую, всепонимающую, как музыка... из литературного или музыкального мира..., предрасположенную к уединенному общению, сосредоточенную на себе и «друге», чтобы исключалось «обилие», суета...

Эта весна и начало лето — сплошное безумие. ... Все слипается в один ком и несется с горы в пропасть, чтобы мне разбиться и во что-то превратиться, чем-то, наконец, стать.

Мы привыкли быть не деятелями, а предметами действия, и потому предпочитаем не любить (действ. залог), а быть любимыми (страдат. залог). Кажется, что любить — легко (как раздавать имущество), а влюбить в себя трудно (как его приобретать). ...Когда-то было наоборот. Чтобы полюбить, требовалось вдохновение свыше, в любящего вселялся Бог. Любимым же мог быть каждый, в этом не было особого достоинства, ведь луч солнца может осветить и алмаз, и осколок стекла.

¹⁸ Аурора в день свадьбы и сделала наш с тобой единственный московский фотоснимок, помещаемый в этой книге.

Достоинство нес в себе влюбленный, и его отблеск падал на возлюбленного... Подлинную честь нам, как свободным и творческим существам, делает не любовь к нам, а наша собственная любовь. Она пробуждает в нас воинов...

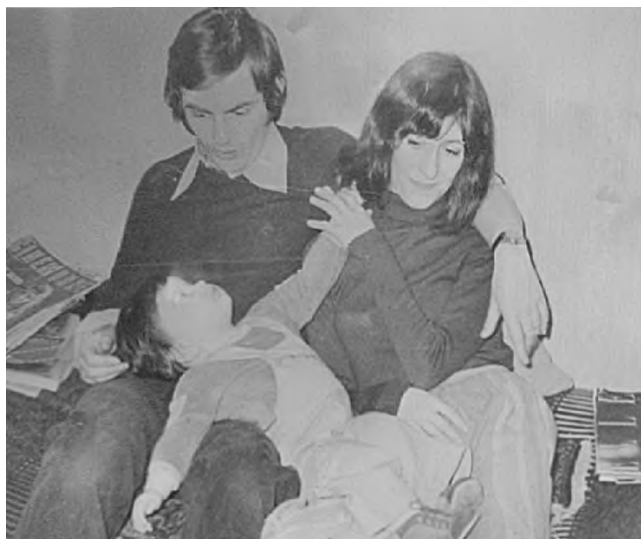
Написать трактат о любви. Можно ввести множество понятий, до сих пор неизвестных ни платонической, ни фрейдистской традиции....

Например, о значении доверия в любви. О необходимости хорошего начала в любви, чтобы ничто не было испорчено ни преждевременной просьбой, ни поспешным отказом. Любовь — это желание в его чистейшей сущности, когда оно облагораживает свой предмет, растит, а не потребляет его. Любовь побуждает не к обладанию, но к самоотдаче, когда весь мир предстает в состоянии желанности, и нужно отдать ему себя, чтобы приобрести его ...»

Ю А вот другая реакция на событие, которое побудило тебя к записи. Моя крестная, приехавшая на свадьбу из Питера со своего рода посланнической миссией от моей бабушки (с тем, чтобы удостоверить перед невестой мою не-без-рода-племенность), не выдержала образа того, что ей представилось чистым счастьем и разделенной гармонией. Внезапно хлынувшие слезы, которых было не унять, нервный припадок и поспешный отъезд до появления гостей. Нас это омрачило по-разному. А. — видимой беспричинностью истерического срыва; меня — тем, что жене-иностранке была продемонстрирована душа родственного мне советского человека, одержимость бесами, вся психопатология, сокрытая под внешним образом веселой и профессионально успешной советской женщины среднего возраста. Тяжелый этот местомиг был предопределен биографией моей крестной матери¹⁹, а поскольку ее «био» неотделимо от ре-

¹⁹ ТОПОРЕЦ-ЮРЬЕНЕН, Ирина Викторовна (1934-1990-е) в три года стала ЧСВР, членом семьи врага народа. Отец, бухгалтер ЦПКИО им. Кирова, расстрелян «без права переписки», мать сослана в Кировскую

альной советской истории, то единственно верной реакцией было еще раз проклясть ненавистное, но, увы, непоправимое прошлое СССР — в унисон автору «Архипелага ГУЛАГ», как раз в тот год высланному из страны, где мы с А. вынужденно бракосочетались (в Париже вряд ли стали бы формализовать отношения, жили бы «просто так» и «до тех пор, пока»).



Москва. 1975

область на лесоповал. Ирину воспитывали бабушка и дедушка, пока не вернулась после войны мать (сестра моего деда Мария Васильевна, «тетя Маня»). Когда в бессознательном возрасте меня крестили, Ирина и стала моей крестной матерью (сокращенно «Крестной» или «Койкой»: тогда в России у всех было много имен). В 11 лет я присутствовал на свадьбе крестной с аспирантом Института физкультуры им. Лесгафта из Мурманска по фамилии Селюнин Виталий. Их сын, Александр Витальевич СЕЛЮНИН, 27-летний питерский инженер, стал жертвой ритуального (спортивно-нацистского?) убийства в начале перестройки. Гибель сына окончательно сломила мою крестную, которая до самой своей смерти в начале нового тысячелетия не выходила из дому. Виталий же, оказавшись воистину витальным, пережил всех и стал владельцем бабушки-дедушкиной квартиры у Пяти Углов (см. мой евророман «Суоми»).

Э Из дневника. 29. 12. 1974. «Я чувствую в себе страшную энергию, которая ни в чем не может найти выхода. То, что я делаю, меня по большому счету не устраивает, но делать лучше я не могу. Больше всего на свете я хочу любить и быть любимым, и меня угнетает невозможность такой большой любви, когда можно было бы без остатка раствориться друг в друге, жить друг другом. Это какая-то болезнь духа, проистекающая от недостатка любви и любвиости. Для меня телесная близость сама по себе необязательна, это несовершенное выражение страшной духовной жажды. Если было бы можно, я отбросил бы все свои руки и ноги и остался с одной душой, чтобы отдаться любви без препятствий, без разделений, без знаков собственности и принадлежности. Но куда мне деть свои руки и ноги, как обойтись без них, ведь без них мое существо не цело, и я не могу полностью отдать себя? Самое тяжелое, непереносимое для меня — это равнодушие, с которым я отношусь к людям и они ко мне. Мне кажется, я могу сосредоточить на одной личности такую силу любви, что она расплавит весь покров телесности, социальности, этикетности; и с возрастом эта потребность лишь сильнее. Я не хочу больше марать бумагу, я хочу только любить, купаться в любящем взгляде, любящих руках, и сам хочу только обнимать, ласкать, оделять собою. Я не понимаю, как можно заниматься чем-то иным: политикой, литературой, деньгами, бизнесом, педагогией, когда единственное, что имеет смысл, это любить и быть рядом с любимым. Я не могу понять, как люди переносят это оскорбительное равнодушие близких, замаскированное вежливостью и невмешательством, занятостью тысячами «важных» вещей. Я знаю, что трудно вынести такое напряжение, которое от меня исходит, легче остраниться и перевести все в культурный диалог; но меня уже тошнит от культуры, истории, стилей, знаковых систем и т.д. Это всё — ветошь и рухлядь, когда наваливается потребность любви, когда разваливается вся система экзистенциальной защиты от «бездн» и «ужасов». Вся эта условная ли-

цевая мимика, знаки приветливости, вежливости тоже совершенно непереносимы, когда хочется глазами смотреть в глаза. Я вдруг почувствовал свою душу как огромную саднящую боль, как будто с нее сорвали кожу, сросшийся с ней лоскуток тела...



Ларочка, первая любовь. 1955

И ничто не сможет снять эту боль, потому что она-то и есть душа, и будет всегда со мной, даже в отсутствии тела. Моя беда в том, что меня слишком много, а отдавать себя настоящему я не умею, да и никто не берет, нет желающих. Все мои возможные и будущие книги — только замена того, кем я мог бы стать, но так и не стал. Высшее из телесных желаний — целовать ранки, царапинки любимого существа. Двойное действие: целования — исцеления. Откуда эти строчки?

Я из рода нежных азров.
Полюбив, мы умираем.

Или:

Я из рода нежных азров.
Без любви мы умираем.

Я не могу точно вспомнить «полюбив» или, напротив, «без любви». Но в сущности, это одно и то же, потому что в обоих случаях любовь равнозначна всему существованию: с ней или без нее — все равно умирают. Любовь сильнее и жизни, и смерти, взятых порознь, потому что она соединяет в себе обе эти силы. Любить — значит жить смертельно, с таким предельным упорством и отвагой, которой жизнь встречает смерть. Ибо спасает только любовь, хотя и она не может спасти».

Ю Что я могу сказать на это, Миша? Я не сумел удержать во времени любовь, которая со мной случилась там и тогда. Не смог остановить и «зафиксировать» себя в состоянии любви, которая дает, конечно, все возможное и невозможное счастье в мире, взамен, однако, требуя исключительности и, следовательно, асоциальности. Мир не только не нужен, он несет с собой разрушительную угрозу. Я был счастлив, когда не отрывал глаз от любимой,

развешивая уши на ее речи («секс — это род диалога», сказал Лоуренс *Ди Эйч*). Но реальность только тем и занимается, что отрывает твои глаза. Надо выживать, надо осуществлять то, что полагаешь призванием, надо обращать глаза к миру, к другим, нелюбимым и «противным» существам, его наполняющим, чужим людям, у которых твоя любовная «надмирность», проплавание в защищенной от всего капсуле, вызывает зависть, враждебность и коварство в стремлении спустить на землю, «обмирщить», опустить. Возможно ли это вообще — любить и жить не против общества, а «в обществе»? В советском мне не удалось. Тем более что против принципа уникальности любви, на подрыв ее, работало не только «общество», но и моя собственная маскулинно-писательская мифология, а в безусловном требовании «опыта» как опоры для письма — увы! — был тогда я чистый хемингоид.



МАМА

Э ЛИФШИЦ Мария Самуиловна. 8.9.1914, Новгород-Северский — 6.5.1987, Москва. По основной профессии — плановик в издательстве «Транспорт», проработала там больше 30 лет, с 1943 до 1974, до ухода на пенсию.

Мама осталась единственным ребенком в семье, ее младшая сестра Хана (1917 г. р.) умерла в 3 года от скарлатины и дифтерита (ей своевременно не ввели сыворотки), а младший брат Арон (1923 г.р.) в 2 года от кори, заразившись от старшей сестры. В годы гражданской войны семья тяжело голодала.

Приведу отрывок из маминых воспоминаний: «Самое страшное, что выпало на мою долю в детстве, - пережить погром, учиненный одной из банд, которых в то время было множество (1919–20 гг.). За один день в Новгород-Северском было убито 500 человек, преимущественно евреев. Папе со мной и сестричкой удалось перебежать на хутор к своему дяде, далеко от города; с одной стороны горы, с другой - река. Банда в основном свирепствовала в центре города. Мама и бабушка пекли хлеб, в дом забежали соседи с криком «спасайтесь». Пока они погасили печку и пустились бежать... им не удалось найти нас. Они очутились на берегу реки, где неподалеку жили родственники. Когда бандиты ворвались в дом, женщины, в том числе и мамочка моя, окружили себя детьми и просили оставить их в живых. Мужчин всех на глазах их семей расстреляли. То, что пережила в детстве, помнишь до конца жизни».

В 1930 г. мама переехала из Новгород-Северского в Москву, чтобы продолжать обучение после семилетней школы. Постепенно вся семья там воссоединилась. Дедушка и бабушка жили у двоюродной сестры за шкафом, занимая угол метра в 3. Сама мама за 6 лет жизни в Москве поменяла 6 углов, пока в 1936 г. семья не приобрела деревянный домик в Измайлове (Борисовская ул., д.4). Там была одна 14-метровая комната, позже пристроили кухню и холодные сени. В Москве мама сначала работала в адском сумопошивочном цехе — заваривала горячий клей и смазывала им концы сумок; потом, в виде повышения, ее поставили прибивать кнопки к сумкам.



Мама со своим отцом

В 1932 году поступила на Высшие промышленно-экономические курсы и спустя три года получила диплом плановика-экономиста. Работала в издательствах (Кинофотоиздат, «Искусство»), составляла тематические планы выпуска литературы, сметы расходов и т.д. Потом война. От бомбежек прятались в недостроенном метро «Измайловская», лежали прямо на путях. Затем эвакуация в Казахстан, нечеловечески трудная жизнь в селе Кувандык, работы в поле, на току по 12-14 часов в сутки. Затем в селе Куртамыш Челябинской облас-

ти работала статистиком у уполномоченного Наркомата заготовок. В ноябре 1943 г. семья вернулась в Москву. Замуж вышла только в 1946 г., познакомившись с моим отцом, Эпштейном Наумом Моисеевичем, когда он вернулся с военной службы. Четыре года спустя родился я, тоже единственный сын. Со мной тоже было трудно, я переболел в детстве всем, чем мог. И впоследствии болезни, типа гриппа и простуды, опять сближали меня с мамой.



Шестилетняя мама

Из дневника. 11. 2. 1974. «За дни моей болезни — особая духовная близость с мамой, необычайное ощущение родства с ней. Ее рассказы о прошлом, о детстве, о родителях, о «кавалерах», о замужней жизни. В детстве она любила играть в «чижика» («цурки»). Это сразу поставило перед глазами мою маленькую маму: веселая, по-хорошему простенькая, смешливая девочка. Болезнь сближает с телесным началом, рождающим нас; оттого редкая теплота и уют последних дней. А сегодня она сама заболела, заразившись от меня гриппом. У нее уже 1,5 месяца по неизвестной причине нестерпимо болят рука и плечо. Впервые я так ясно и мучительно сострадаю ей, чувствую ее боль как свою. Это отнимает у меня силы жить, думать, работать. ... Если она уйдет из жизни, что останется мне от нее? Я сам? Но мне нужна она рядом со мной».

21.11.74. Диктовал маме свою статью — настроения не было, фразы выходили тяжелые, сбивчивые («удаленные друг от друга точки пространства и времени» и т.д.). Я надолго замолчал — и в один из этих перерывов мама сочинила стишок:

Ласточка
летела и на кустик
села, села-посидела
и вдруг улетела.

Записала на обратной стороне листа из моей рукописи. Чистый Третьяковский. Мне сразу стала ясна жалкость моих попыток. Именно о всплесках свободы и слагаются стихи — мама это почувствовала, дав почти формулу свободного творчества — прихотливого полета — в паузе моего несвободного, душевной каторги».

Мама была мне ближе, чем папа, да и прожил я с ней почти на 20 лет дольше (папа умер, когда мне было 19). И чем больше я вырослел, тем ближе она мне становилась. К счастью, незадолго до смерти мама написала от руки воспомина-

ния, которые я надеюсь перевести когда-нибудь в печатный текст.

Ю МОСКВИЧЕВА (в трех своих замужествах — Типикина, Юрьенен, Арефьева) Любовь Александровна, родилась 22.08.1921 (но подозревает, что на самом деле раньше) в Таганроге.



Маме выпала долгая жизнь — в виде небесной компенсации за сумму злосчастий, которые достались: сама оказалась внебрачным ребенком, удочеренным преждевременно умершим отчимом; исчезнувший в ГУЛАГЕ отец-австриец; первый

муж, сгоревший на Курской дуге с телефонным проводом в зубах; угон и рабочий лагерь в Германии с нагрудным знаком «ОСТ»; трагическая гибель второго мужа, моего отца... Уезжая из СССР, мы прощались навсегда, но Большая История распорядилась иначе, мы виделись в Мюнхене, в Праге, вместе посещали греко-православный кафедральный собор Кирилла и Мефодия на Ресловой (тот самый, героический, в крипте которого нашли себе последнее убежище чешские парашютисты, организовавшие покушение на Гейдриха). Под мамину диктовку и по ее письмам закончили книгу воспоминаний «Германия, рассказанная сыну» (2005), которая в отрывках звучала по Радио Свобода, в сокращенном виде была напечатана в Дании, в журнале «Новый Берег», а в полном виде доступна в моем издательстве *Franc-Tireur USA*.

Сейчас, когда я это пишу, маме 88. Сегодня прислала мне имейлом фото в белых «ливайсах», полученных от меня из Америки.

Но это — забегая далеко вперед. В описываемое время я, окончательно ушедший из дому в 19 лет, оперировал в чужом пространстве и без мамы. Конечно, оставалась моя «внутренняя мама», которая подсознательно меня определяла, но тогда мне казалось, что все очень просто: захлопнул дверь за прошлым, а жизнь унес с собой.

См. РОДИТЕЛИ

МИСТИЦИЗМ

Э *Из дневника.* 21.4.1974. «Если мистика есть религиозное отношение к нерелигиозным предметам, то педанство есть профессиональное отношение к непрофессиональным предметам. В обоих — отсутствие инстинкта жизни столь радикальное, что приходится заново выдумывать для себя, изобретать в поту и пытках самоанализа, самые элементарные устройства, влечения и приспособления жизни. Борис С-н — мистик, я — педант. Мы одинаково утомительны друг для друга».

Ю «Не впадай в мистицизм», — неизменно заземлял отчим маму, когда она, по его мнению, отлетала от реальности: «В средние века тебя бы сожгли на костре». В той семейной ячейке, где я произрастал, отчим был самоназначенным о/хранителем догмы материализма, предохранял нас от попыток сверхчувственного познания мира, данного в ощущениях. Во время войны он брал не Кёнигсберг, другие города Европы, но вполне мог быть тем «культурным» советским офицером, который, согласно Эренбургу, написал среди мистических обломков на постаменте Канта: «Теперь ты убедился, что этот мир материален?» Естественно, что я — страдающий Гамлет-Эдип — испытывал отвращение не только к педантизму, но и все возрастающее недоверие к «материи» и склонность к «отлетам», озарениям, экстазам. Но только ли я один?

«Дематериализация» (на самом деле ужимание красной кожи идеологии) — это было подспудно и повсеместно в период нашей юности. Начиная с публикации «Мастера и Маргариты» впадение в мистицизм становилось все более массовым. Потом явился Габриель Маркес, и над советской литературой, которая дотоле видела выход только в ренессансе критического реализма, повисла звезда реализма «магического». Последний раз, когда я видел отчима, он не мог оторваться от

собрания сочинений Канта, хранимого мной дома. Когда в апогей застоя я покидал советское общество, там официально поддерживалось тенденция к «возвышенности», самым модным официозным словом была «духовность»; и возник даже насмешливый термин «духовка», воспринимаемый как анти-советский.

МОЛЧАНИЕ

Э *Из дневника.* 25.3.1973. «Самая сильная моя потребность — в молчании. Молчать всегда и везде и только думать, смотреть — идеал счастья. В 99 случаях из 100 я произношу слова только из неловкости, из желания поддержать говорящего, доказать ему свое внимание. Будь моя воля, я бы молчал и говорил только с мамой (к-ой это нужно) и на лекциях в МЭИ (по долгу службы).

...Сколько в мире раздается умных речей! А я молчу. Я хочу быть умным слухом. Ведь обычно речи пропадают даром: глупые их слушают, да не понимают, а умные поняли бы, да не слушают: у них по любому поводу своя речь. Для меня же истинное наслаждение — понимать и короткими репликами поддерживать чужую речь, беседовать встречному».

30.6.73 «Нет слов. Никогда, ни в чем. Адские муки. Нехватка слов для почти уже готовых понятий и образов. Какова же мука у Бога, которому не хватает человеческой плоти, чтобы воплотиться!»

Ю В отличие от тебя свое молчание я воспринимал как вынужденное, как способ выживания и результат насилия «сверху». Говорливый мальчик, я под ударами реальности, нередко и физическими, все больше уходил в никому не слышимую и поэтому безопасную внутреннюю речь, в «поток сознания». А что было делать? Когда я

говорил, «мир» мгновенно утрачивал свою любовьность и добродушие, чтобы броситься на меня всей сворой своих чудовищ. Даже когда я «озвучивал» невинные, как мне казалось, вещи. Таким образом я «намолчал» — словечко Достоевского — свой писательский проект, первые опыты и опусы. Только при условии абсолютного доверия в общении с друзьями-ровесниками возвращалась моя былая говорливость, и теперь у нее был вполне прононсированный «абличительный» аспект. Но стоило мне адресоваться в социум, как начиналось страдание косноязычия. Помню, как на приемных экзаменах в МГУ я не мог выйти из кататонии молчания, чтобы ответить на заключительный вопрос профессора, уже занесшего руку, чтобы поставить мне «пять»: «В каком жанре вы бы написали жизнь Сталина? Ну?.. ну?..»

Молчание облегчало лавирование среди неподвижных безумцев системы, но не всегда спасало, потому что меня нередко выдавал мой взгляд.

См. ВЗГЛЯД

МЫШЛЕНИЕ

Э

Из дневника. 9.5.1974

«Наука должна искать самых жестоких истин, чтобы искусство могло приносить самые светлые утешения.

Я хочу совместить оба поиска».

9. 6. 1974.

«Я из породы людей, много думающих и мало понимающих. Думаю до одурения, до обалдения — и когда додумываю до конца, то уже ничего не понимаю. А ведь есть люди, которые понимают все сразу — без единой мысли».

16.11.74

«Я ничего не люблю больше логики. Я ничего не люблю больше поражения и унижения логики. Я переходный тип: между схоластом и энтузиастом, между талмудистом и хасидом. Чистый разум во хмелю».

4.1. 1975. «Мыслить я начал оттого, что у меня были нелады с языком. Слово не приходит сразу на ум, и потому ум сам пускается на поиски слова».



Начало рефлексии? Май 1954 (4 года)

Ю *Человекомозг* — как шутил о тебе наш общий знакомый Юз Алешковский, раззнакомившийся, в конце концов, с нами обоими по причине нашей для себя под старость своих лет невыносимости. Где-то году в 1974-75, рассказывая о встрече с Битовым в Литинституте, ты заметил о нем: «Мельница мысли». Что показалось мне перпендикулярно-неуместным в тот серый день в центре Москвы, на улице Воровского; и сначала я вспомнил об антисоветской мельнице из фильма Жалакявичуса «Никто не хотел умирать», а потом подумал, что метафора куда приложимей к тебе самому.



НАСИЛИЕ

Ю Местомиг политического характера. У тебя дома мы обсуждаем событие — Ильин стрелял в Брежнева. 69-й, кажется. И ты запальчиво говоришь, что у тебя рука б не дрогнула. Глаза горят ненавистью. Вынужден тебе сообщить о наличии этого воспоминания. Полностью отдавая себе отчет, что оно опровергается твоей реакцией на смерть Франко, и вообще всей твоей философией, ничего общего с противлением злу насилием как будто не имеющей. Кроме этого, сам не уверен — произошла ли вспышка (которую помню) после покушения Ильина или позже, в 1972-м, во время визита Никсона в Москву. Наверное, все же осень 69-го — когда, помнишь, ранили космонавта Николаева?

Но помню свою реакцию — оторопи. Потому что ты в тот местомиг нарушил мое тайное табу, связанное с многолетними размышлениями на тему о «минчанине» Освальде и вмешательстве тайных сил в исторический процесс, который якобы не личностями вершится. Только отчего же тогда эти личности изымаются из оборота?

Э Ох, грехи наши тяжкие. Помнишь, в «Карамазовых» Иван спрашивает Алешу о генерале? «Ну... что же его? Расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства расстрелять? Говори, Алешка! — Расстрелять! — тихо проговорил Алеша, с бледною, перекосившеюся какою-то

улыбкой подняв взор на брата». Сейчас я бы так не ответил, но лицо все еще перекошено. А поскольку настоящего пистолета (вне тира) я в руках никогда не держал, то и вообразить себя Фигнер или Каплан, тем более Ильиным было не трудно, а Алешей — даже и соблазнительно.

Ю Из поразившего. И это тоже о насилии, но «центробежном», от мира — на тебя...
— А я бы дал себя убить. Не сопротивлялся бы.

Это ты — по поводу вариантов поведения по пути в газовую камеру. Очень возмутило, помнится. Как же так? Не попытаться убить хотя бы одного из твоих убийц?

(Подобные вопросы оставили меня, пожалуй, только после Музея Холокоста в Вашингтоне, ДиСи, где наглядней всего демонстрируется технология уничтожения масс.)

Э Не помню. Но понимаю себя. Так много нужно успеть сделать в последние минуты, что-то вспомнить, о чем-то попросить-помолиться, к чему-то приготовить, что устраивать потасовку на пороге в мир иной — уж очень по-детски.

Ю Может быть, в этом разгадка пассивного поведения «тонкошеих вождей» — жертв Сталина? В снизошедшей на них в предсмертный лубянковский период мудрости? Ты знаешь, возможно, о том, как глумился *Паукер*, хтоническое кремлевское членистоногое, впоследствии раздавленное теми же сапогами, глумливо пересказывая Сталину, как Зиновьев перед расстрелом призывал Бога Израилева.

НАУКА

Э Поступив в 1967 г. на филфак МГУ, я выбрал специализацию по теории литературы, первые два курса провел в семинарах П. А. Николаева и В. Е. Хализева, а на третьем влился в харизматический семинар В.Н.Турбина, проходивший под знаменем бахтианства. Там в 1970 г. я написал большую работу «К теории новеллы» (т.е. теоретизировал тот жанр, который литературно от меня все более ускользал) и был удостоен однократной встречи и краткой беседы с самим М. М. Бахтиным в доме престарелых под Подольском (см. БАХТИН М.М.). Для семинара Турбина, с его ортодоксальной «бахтианской» ментальностью и господством категории «жанра», я оказался чересчур независимым и посторонним и на четвертом и пятом (уже дипломном) курсах вернулся в семинар В.Е. Хализева, который и стал моим Учителем, терпеливым, терпимым, требовательным, слушающим, вникающим, либерально-консервативным — и остался добрым другом и собеседником до сих пор. В том же семинаре я приобрел будущих друзей и знакомых: Ирину Панкратову, ныне Муравьеву (известного прозаика), Валентина Масловского (литературоведа).

Главный и честолюбивейший проект моего университетского периода, которому я посвятил много общих тетрадей, но ни с кем не обсуждал, была «всеобщая эстетика». В этом труде я предполагал установить свою философию завершаемости всех вещей в самоценности и самоцельности их эстетического бытия. Все, что достигает этой высшей точки и бытийной полноты, становится эстетическим феноменом; следовательно, искусство прокладывает путь всем вещам, определяет меру их самоисполнения. Это были вариации на тему кантовской, марксистской и вагнерианской, отчасти феноменологической эстетики, которые, казалось мне, проложат путь к спасению мира красотой. Тем более что из всех философских дисциплин в СССР эстетика была единственной более или менее

свободной от ортодоксии, поскольку классики не успели много навывсказываться по поводу столь маловажных вещей.

Однако для официального завершения своего университетского курса я избрал более скромную тему диплома «Функции литературной развязки» (тоже имевшую отношение к завершенности — сюжетной). Я получил диплом с отличием, кафедра теории литературы во главе с Г. Н. Пospelовым рекомендовала меня в аспирантуру. Но потом произошел скандал, об антисемитской природе которого мне только недавно рассказал с большой горечью В. Е. Хализев (35 лет держал про себя): кафедра не сумела меня отстоять от партийного руководства факультета во главе с есениноведом П. Юшиным, который был против еврейских кадров на факультете. В итоге я устроился на несколько месяцев помощником корректора в изд. «Транспорт», а потом пять лет проработал преподавателем подготовительных курсов Московского энергетического института и затем Заочного Финансово-экономического института. (см. РАБОТА)

Одновременно у меня разворачивалась другая, интеллектуально гораздо более насыщенная жизнь в ИМЛИ (Институте мировой литературы АН СССР). Через В. Сквозникова меня пригласили участвовать в заседаниях Отдела комплексных теоретических проблем, где тогда работали С. Бочаров, Ю. Борев, В. Кожин, П. Палиевский, Д. Урнов, А. В. Михайлов, С. Небольсин, руководителем был А. С. Мясников, заместителем Н. К. Гей, секретарем И. Ю. Подгаецкая и доброй и участливой секретаршей Галина Левинская. Я фактически проработал в этом секторе до 1978 г., еженедельно приходя на заседания, выступая, обсуждая, сочиняя статьи для коллективных трудов и т.д., не получая при этом ни копейки и не состоя в штате, но питаясь надеждой на то, что откроется место в ИМЛИЙской аспирантуре. Когда оно открылось, меня все равно срезали на одном из экзаменов: среди множества правильных ответов я неправильно назвал имя издателя журнала перв. пол. 19 в. «Русский европеец». И всех моих трудов и статей,

опубликованных к тому времени в сборниках ИМЛИ и в лучшем литературоведческом журнале страны «Вопросы литературы», оказалось недостаточно, чтобы перевесить этот огрех в глазах замдиректора В. Р. Щербины и всей высокоученой и высокопартийной комиссии. Конечно, дело было не в «Русском европейце», а в нерусском, еврее. Но я бы работал в этом секторе даже если бы мне пришлось доплачивать из своего кармана за участие в каждом заседании: все-таки там делалось главное литературоведение «второго мира», выше по профессиональной лестнице в нашей стране забраться было некуда (если, конечно, не считать лотмановской школы в Тарту).

Там же, в 1974 г., я впервые вошел в настоящее общение с Андреем Битовым, который в течение года-двух был приписан к Отделу как соискатель ученой филологической степени и посещал заседания. Кажется, в роли литературоведа я ему импонировал намного больше, чем в роли начинающего писателя. Он даже предложил мне стать его секретарем, но мне это было не с руки, поскольку от прозы я в то время уже ушел в науку.

Из дневника. 15. 9. 74. «Ближайшие годы я должен посвятить одному: выработке строгого, рациональнейшего научного стиля для решения гуманитарных проблем. Поставить методологию гуманитарных наук на ту высоту, которая отвечала бы высоте предмета, т.е. человека и человеческого. Говорят, что чем сложнее предмет, тем ниже степень развития и возможности науки; отсюда первенство естествознания и точных наук перед гуманитарными. Надо перевернуть эту закономерность, поставить состояние и значение науки в прямую зависимость от значения и сложности ее предмета».

Ю Вся моя университетско-академическая активность была производной от задачи стать прозаиком. Филологией на факультете (новеллистика

Бунина, Л.Н. Толстой и «текучесть образа») я занимался лишь постольку, поскольку необходимо было поддерживать репутацию студента не безразличного к науке «литературоведение». Диплома, однако, я не защитил, и даже не дошел к нему «по семейным обстоятельствам», несовместимым с пребыванием в стенах МГУ. Тем не менее, меня можно считать выпускником – и даже многократным. До того, как на меня был наложен остракизм, мне случилось написать несколько дипломов, благополучно защищенных не только в МГУ, но и в Институте восточных языков. Почему я был дипломантом «под псевдонимом»? Нет, не ради выживания. Дабы утолить интеллектуальный голод. Потому что даже в самые безденежные времена – денежных, собственно, и не было — гонорары брал я *покетбэками*, тем самым обслуживая свои писательско-читательские интересы и на свой манер преодолевая организованный советской системой «информационный дефицит».

НАЧАЛЬСТВО

Э С юности я не могу относиться к начальству по-человечески, все время чувствую чин, власть, должность. Причем это относится к любому начальнику, даже чужого ведомства. Знаю, что это не хорошо. Умом понимаю, что начальники тоже люди, что в них есть своя детскость, непосредственность, увлечения, заботы... Но то, что он власть, что я или другие от него зависят, вытесняет для меня все остальное. С любым начальником я чувствую скованность, отчужденность, натянутость, — полнота общения невозможна. Наверно, это возникло в иерархизме советского общества, где мне приходилось чувствовать себя маленьким человеком, каковыми были и мои родители. Любой мог вытереть о нас ноги, и удивительно, что еще мало кто вытирал.

Ю Но разве единственно возможное отношение к начальству не определяется априорным знанием того, что «власть развращает»? Вопрос только в мере этой развращенности, в калибре начальников, этих больших и малых акул и калигул. Я на стороне «системы противовесов», того, что сдерживает, кладет и охраняет пределы, внутри которых начальство допускают развращаться. Власть — это приглашение к аморализму. Чего уж говорить про абсолютную власть?

НЕОБЪЯСНИМОЕ

Ю Что знал я о мире, в котором жил? 5-й корпус выходил на пустырь, тянувшейся за оврагом вплоть до насыпи Киевской желдороги на горизонте — путь в Переделкино. Справа неубранные декорации фильма «Анна Каренина» — якобы дебаркадер вокзала в СПб. Натура была выбрана там, потому что пустырь пересекала однопутная, уводившая в запретную зону, где были какие-то подземные бункера. По ночам мимо корпуса проходили дрезины. Охватывала тревога, и она сгущалась. Я подозревал, что там, в непосредственной близости от меня, секретный подземный воензавод, возможно, производство бактериологического оружия, и не исключал взрыва и контаминации...

Что там на самом деле было, так и не узнал. Но мне достаточно было знания по *существу* вопросов, оставшихся безответными. Благодаря Кафке и Ясперсу, я знал, что все вокруг меня есть тоталитарный мир. Максимум, на который можно в нем рассчитывать такому индивидууму, как я, это — обретение *лазейки*, убежища, коридорчика внутри массовидной плотности и твердой непроницаемости внешних тайн, сокровенный смысл которых, однако, был мне жутко ясен, сводясь к одному и тому же — умерщвлению меня.

Из пропавшего дневника, т.н. «Зеленой тетради», (купленной в начале третьего курса в киоске, в фойе зоны «В»), четко помню запись одного сна, который приснился мне, стало быть, в сентябре 1969 в Главном здании. Как будто я народный писатель Югославии Иво Андрич — он был еще жив тогда, единственный их лауреат Нобелевской премии, — седовласый мудрец, возможно, в турецкой феске, косоворотке и овчинном жилете, иду своим садом, яблонево-вишневым, цветущим бело-розовым дымом, направляясь на звук жужжания, предположительно пчелино-медового, и вдруг оказываюсь над жуткой гекатомбой — вповалку лежат расстрелянные окржавленные люди, и стар, и млад, детей включая. А зудят мухи.

Этот сон, возможно, отразил свойственное мне, я бы сказал, сверхчувственное восприятие в отношении «геопатогенных зон» в Советском Союзе, внезапное ощущение, что место, на котором ты находишься, есть место некоего преступления, точка, отмеченная самим Злом.

С другой стороны, не могу не видеть в этом сновидении предвестие того, что произошло через 20 лет при распаде «почти капиталистической», как уверяли нас, СФРЮ, все эти христиано-мусульманские злодеяния, массовые расстрелы и прочее, столь потрясшее нас, полагавших, что Югославия — страна «почти что демократическая».

Э Необъяснимое, невысветляемое. Это нас окружало повсюду и придавало жизни в СССР, при всей ее прозаической пошлости и обыденности, какой-то мистический оттенок. Мистика была столь явно изгнана в дверь, что лезла во все окна, приходилось озираться, прислушиваться, всюду были тайные знаки непонятно чего. То ли мировой революции, то ли конца света, то ли очередного этапа классовой борьбы и коммунистического строительства. Все могло в один миг перемениться, ибо решалось не ходом вещей, но внезапной волей свыше. Огромное витало над нами, дух Утопии, ко-

торый все время искал, во что воплотиться, кого утопить. Отсюда смесь зловещия и сладострастия: где-то убивали, где-то отдавались, все было запрещено, но тем самым и все позволено. Этот режим можно было ощущать кожей, как приближение в темноте чьих-то рук, готовых то ли ударить, то ли погладить, — все равно страшно.

См. БАБИЙ ЯР

НЕСЧАСТЬЕ

Э *Из дневника.* 6.4.1974. «Полное несчастье очищает, просветляет, толкает за предел себя — и ставит перед необходимостью новой жизни. Это радость, освобождение. Половинчатое же, раздумчивое несчастье — это груз, который нельзя скинуть с себя, потому что в нем — и половина надежды твоей, половина еще не утраченного довольства и покоя. С ним остаешься и начинаешь медленно загнивать...

Весь день — больной, глаза на мокром месте. Ходил в Донской монастырь. Служил сам патриарх Пимен. Хитроватый старик. Я долго стоял у порога, прижавшись лбом к стеклу, не заходя внутрь церкви. Бродил по прошлогодним листьям. Главная мысль: женская плоть свята, ее нужно любить религиозной любовью. Я преступил это — и был наказан не любовью, которая теперь возвращается ко мне томлением по уже навсегда потерянной душе».

Ю А может быть, несчастье уже в отсутствии счастья, в том, что можно назвать как угодно, повседневностью, обыденностью, но счастьем — невозможно никак?

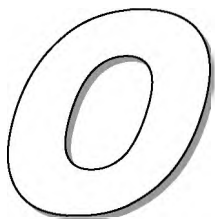
Помнишь, как поразил нас пронизывающе-точный образ подсоветского существования у Битова в «Саде»: «*бормотанье, прозябанье и нелепая дыра*»?

Главным несчастьем был Советский Союз.



Юра Токарев

*— после исключения и до восстановления на филфаке МГУ
— в дивизии Дзержинского. Москва, Лефортово, 1971*



ОБЩЕЖИТИЕ

Ю Общежитие МГУ меня шокировало и завораживало. Тебя, «атомизированного» москвича, уединенно живущего согласно прописке, оно законно возбуждало. Помню, твои появления — 5 корпус, Главное здание. Вылазки в реальность. Портфель с шапкой в руке. Резкие движения. Целеустремленная набыченность, почти ленинская (*Телец! Телец!*), в коридорах, которыми мы шагали в поисках приключений.

Не курил, но выпить не отказывался никогда, и меня даже удивляла твоя компанейская готовность к испытанию организма любым покупным пойлом. Впрочем, ниже «Рябиновой горькой» мы, кажется, не опускались. Не до «Солнцедара», это точно.

Э Впервые я попробовал спиртного только в 10-м классе, на вечеринке с одноклассниками, так что и на 1-ом курсе находился еще как бы на медовом месяце своей новой алкогольной свободы. Водки никогда не любил, предпочитал коньяк и десертные вина (а сейчас предпочитаю сухое красное и особенно ликеры). Общежитие для меня, домашнего мальчика, и в самом деле было веселым притоном. Я представлял, как там можно нагуляться, но жизни и учения в окружении постоянных соблазнов не представлял, а потому к твоей участи относился со смешанным чувством зависти-жалости. Образ общежития: распахнутые двери, кто-то напе-

вает, кто-то переругивается, кто-то сидит за учебником, заткнув уши, кто-то, голый по пояс и размахивая рубашкой, несетя по коридору. Немножко похоже на Босха в смысле упорной партикулярности многих людей, собранных в одном месте, но занятых своим. Аутизм в аду.

Ю Именно так я в 5-м корпусе, выстроив на столе полметра книг, намеченных к овладению, конспектировал Шопенгауэра и Фрейда — осмеиваемый соседями по комнате, парой нигерийцев, повесивших над своими койками свои портретные фототарелки и тыкающих в меня указательными пальцами. Причин улюлюканья решительно не понимая, я с горечью думал, что не далее как в 9-м классе хотел стать советским Швейцером, кончить мединститут и отправиться лечить их, сбросивших цепи колониализма...

ОДЕЖДА

Ю Не помню, чтобы тебя выделяло что-то в этом смысле. Пытаясь вспомнить, вижу тебя в пиджаке, брюках, водолазке, свитерке. Колер темный — темно-серый, иногда бордовый или темно-зеленый. При этом не могу сказать, что ты сливался с массой, поскольку студенческая масса даже и в те типовые времена одевалась неоднородно. Моя манера одеваться долго зависела от мамы, а мама (Петух по китайскому гороскопу, тем более с западноевропейским, пусть и трагическим опытом) имела установку если не на «импорт», то на индпошив. Поэтому если даже одет я бывал не вполне суразно, то есть адекватно, то неизменно на свой собственный, неповторимый и невоспроизводимый манер.

В МГУ я поступил, будучи в темно-вишневых узконосых чешских ботинках, сшитых на заказ полосатых брюках, восхи-

тивших (и мне только оставалось надеяться, что искренне) в момент знакомства Битова и Ингу Петкевич (коричнево-синяя чересполосица), и купленной за 4 года до этого в Риге рубашкой, серой, в тонкую черную полосу, очень красивой, но синтетического волокна, внутри которого в июльско-августовский московский зной кожа дышала с трудом; но она была любимой, альтернативы я не видел, а если бы и усмотрел, то денег на другую не было. Дорого стоили рубашки — о чем странно вспоминать сегодня, в обществе даже не избытка, а затоваренности.

Сейчас у меня не менее дюжины джинсов, настоящих американских (откуда взяться в Америке другим?), а тогда, как и все, конечно [кроме, наверное, тебя, но ты был уникам и в этом, тебя можно было обвинить, скорее, в низкопоклонстве *перед Россией* (впрочем, за эту форму антикоммунизма тоже давали срок)], я о них только мечтал. Я мечтал о них с 12 лет, увидев впервые на прибалтийских юношах в Дзинтари. Но откуда было взяться в СССР «дениму»? Первое подобие джинсов мне сшила бабушка из черной саржи, которую только метафорически можно было назвать «чертовой кожей». Заклепок не было, но прострочила красным. Вторые мама — из брезента. Были подпоясаны армейским ремнем отчима. Мечта исполнилась только через 14 лет, в 1974-м, когда А. прислала мне из Парижа светло-голубые *Lee*. Я влез в них, затолкал нераспечатанную пачку «Житан» и отправился в ЦДЛ на встречу с Битовым, — он тогда вызвался содействовать в публикации моего рассказа «По пути к дому»²⁰ в ленинградской «Авроре»; и это, кстати, единственный раз, когда Андрей Георгиевич пытался помочь своему «как бы» ученику.

²⁰ И даже отправил телеграмму из Ленинграда, поздравляя с днем рождения и публикацией, которая в последний момент в «Авроре» сорвалась. Рассказ был напечатан в Москве, но не в журнале, а в книжке, изданной «Советским писателем» и бережно отредактированной Владимиром Маканиным.



На югах. 1971

Э Про одежду мне и в самом деле сказать нечего. Не помню. Помню только, что однажды вышел в город с вешалкой, торчащей под плечами свитера. Кто-то из прохожих ее заботливо вынул. И еще пару-тройку таких историй.

ОТЪЕЗД

Ю 8 ноября 1977. Белорусский вокзал. Вагон «Москва – Париж».

Ты, Толя Курчаткин, П*** и З***. Никого больше в этот черно-мокрый вечер после праздника на перроне не было. О том, что я не вернусь, определенно знал только ты, и с твоей стороны эти проводы потенциального государственного преступника были безумно отважным поступком. Неужели не помнишь? Последнее объятие перед вечностью?

Э Вспомнил — и как мы возвращались грустные, как бы осиротевшие, потому что не только ты на Запад уехал, это Запад от нас уехал вместе с тобой.

Ю Нашел фрагмент текста, написанного в Париже в конце 70-х в полной уверенности, что разлука — навсегда:

«Я уезжал из СССР сразу после самого большого праздника всего прогрессивного человечества — 60-летия Октября. Был паршивый ноябрьский вечер, тротуары слезились, и по всей Москве, полутемной и сырой, от фонаря к фонарю, от дома к дому, стреляли мокрые флаги, и не красные, а черные — погребальные.

Я уезжал ни с чем, оставляя в Москве недавно полученную двухкомнатную квартиру с видом на Музей Советской Армии, то есть в центре, с мебелью и библиотекой, и с открыткой, полученной с утра, которой моя мама поздравляла меня с вышеупомянутым праздником... в общем, я бросал все, все пожитки, эвакуируя самое ценное — жизнь, которая дается только раз. Впрочем, у меня был чемодан, а в нем — нераспечатанная еще пачка экземпляров моей первой и — но об этом знал я

один — последней книжки, вышедшей в этой стране. Свидетельство того, что 29 лет здесь я провел не совсем впустую.

На Белорусском вокзале меня провожали пятеро *[на самом деле — четверо]* мужчин. Они были друг с другом незнакомы, эти пятеро моих московских знакомцев, внезапно и с неудовольствием собравшихся вместе. Кто они были? Погибающий алкаш-работяга, преуспевающий подпольный делец, ученый из засекреченного «ящика» *[имелся в виду Р***, которого в реальности на вокзале не было]*, официальный писатель, мой коллега, и теолог, мыслитель, которого я считал гениальным, — подпольный, как и делец...

Они стояли передо мной полукольцом, принужденно соприкасаясь плечами друг с другом, потому что любили меня, а я любил их — а фоном для моих сокровенных друзей был огромный портрет Генерального секретаря, глянцевито переливающийся багровыми бликами в свете вокзальных огней.

На этом фоне они и остались в моей памяти.

Экспресс «Ост—Вест» выехал из Москвы точно по расписанию в 20.31 по местному времени».

Э С Толей Курчаткиным мы сблизились позже, особенно после моих возвратов в Москву уже из Америки. С остальными я не был знаком. Удивительно, что ты меня называешь теологом. Я таковым себя всегда ощущал, но ни в то время, ни потом так себя не идентифицировал, да и прямых текстов на эту тему производил сравнительно мало. Главная мысль — о теологии единичного, о том, что всякая личность и даже вещь абсолютно единичны, а значит богоподобны. Быть одним — предикат Бога. «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь — один!»

См. РЕЛИГИЯ



ПАЛОМНИЧЕСТВО

Ю Поскольку это форма немой клятвы, подтверждающей верность призванию, необходимо, по моему, здесь перечислить все «святые места», к которым мы в юности дали себе труд проложить дорогу. В первую очередь это, конечно, все связанное с двубожием Толстой/Достоевский — Ясная Поляна, дом в Хамовниках... музей-квартира в Москве на Божьдомке, в Питере у Кузнецкого рынка... Старая Русса.



*Музей Ф.М.Достоевского. Кузнецкий переулок, 5/2
Ленинград. 1972*

Дом Пушкина на Мойке. Музей-квартира Некрасова на Литейном. В ранней, еще поэтической юности — Блок: «Когда я думаю о Блоке, когда тоскую по нему, то вспоминаю я не строки, а мост, Фонтанку и Неву...»²¹ Два места в Белоруссии, где прожито десять лет: Янка Купала, музей на станции Вязьинка, и, как ни странно, Элиза Ожешко, Гродно: мальчиком я чтил ее восточноевропейский писательский образ, чопорно-учительский. Из советских — музей Николая Островского в Сочи, куда привела меня мама 9-10-летним (и однако я запомнил фотографию «Французские писатели в гостях у Н. Островского», особо выделил для себя, как бы на будущее, яйцевидно-лысое чело Андре Жида). Ну и, конечно, заахаживал во дворик Литинститута на Тверском бульваре — чтобы представить, как дворничал Андрей Платонов.

Э Я тоже любил и люблю музеи великих личностей, и их посещение, как правило, наполняется для меня паломническим пиететом и экстазом. Стараюсь пережить на пределе вчувствования все, что знаю о них, именно через контакт с вещами и окружением: «вчувствую» в них прочитанное, вчувствую «Войну и мир» в этот вот дом, шкаф, перо, бумагу. То, что это было *здесь*, меня сверхнапрягает, из этого опыта родились понятия «местомиг» и «местосила». Ощущаю силу мест почти физически, и Ясная Поляна, где мы с тобой побывали зимой 1967/68, конечно, одно из самых сильных мест. Особенно выделяются для меня стол, где работал великий, и кровать, где он спал. В созерцании этих мест духовного подъема и телесного опускания я могу замирать надолго.

ПАПА

²¹ Евг. ЕВТУШЕНКО

Э Папа остается для меня загадкой. Он умер, когда мне было 19 лет, и я так и не понял, что было центром и нервом его существования. Может быть, это был я.



ЭПШТЕЙН Наум Моисеевич. 31.5.1907 — 26.10.1969.
Фото военных лет

Может быть, его работа, которой он отдавался с преданностью героев Гоголя и Достоевского — а работал он бухгалтером в исполкоме Октябрьского района г. Москвы, и ничего милее бумаг и счетов для него не было. Он работал по 12-14 часов в день, а уже в возрасте около 60 лет, незадолго до смерти, закончил курсы повышения бухгалтерской квалификации — не для повышения зарплаты, которая оставалась мизерной (800 старыми, 80 новыми после 1961 г.), а ради жгучего интереса и преданности делу. Он оставался на работе допоздна, а когда возвращался на выходные, брал ее с собой. Был застенчив и терпеть не мог хлопотать у начальства по личным вопросам, даже таким кровно важным, как получение квартиры от райисполкома (после сорока лет беспорочной службы, исключая пребывание в армии с 1941 по 1948 гг.). Внук раввина, он в отрочестве испытывал большой интерес к религии и собирался поступить в ешиву, но в том возрасте, когда я его узнал, от этого уже ничего не осталось, и все мои попытки разговорить его на какие-либо религиозные или вообще высокие, умные темы заканчивались ничем. Но он очень заботился обо мне и о маме, очень любил свою младшую сестру и ее семью, и плакал, когда у тети Сони в 50 лет обнаружился рак груди; но все обошлось, и она пережила старшего брата на 35 лет. Слава Богу, он не дожил несколько месяцев до смерти своего любимого племянника Эдика, который умер в 36 лет от опухоли.

Папа был женат на маме вторым браком, но первый, предвоенный, можно и не считать, — жена была, по рассказам тети, сварливая, безголовая и ухитрилась простудить на балконе их сына Семена, который умер в младенчестве. Осталась его фотография с высоким лбом и закрытыми глазами, то ли спящего, то ли мертвого. Прожив вместе около года, они расстались. С мамой папа познакомился у их общих родственников Хейфецев, были они оба уже не первой молодости: ему 39, ей 32. Я родился через 4 года.



Миша с папой. Дворик на Дубровке, 1953

В детстве папа водил меня гулять по Дубровке, на Крестьянскую заставу с яркими ярмарочными игрушками; рассказывал, как он ездил в командировку в Сибирь и видел там бурндука; привозил мне в подарок кедровые шишки. Позже я с ним ездил в дома отдыха, где мы гуляли, играли в шахматы, завтракали, обедали и ужинали. В юношеском возрасте, когда я уже учился в университете, его бытие, лишенное романтики и обобщений, вызывало во мне раздражение, особенно когда

я слышал шум его физической жизни: приходя с работы, он звенел на кухне посудой, пил чай, позвякивая ложечкой. Он почти никогда не болел, но непрерывно курил, и в августе 1969 г. почувствовал вдруг впервые в жизни усталость, поехал в дом отдыха, но вернулся еще более усталым и в октябре умер от рака легких. Перед смертью он бредил какими-то бухгалтерскими делами, кому-то что-то поручал, о чем-то просил.



Папа в конце 1930-х

Смысл этого существования стал проясняться для меня годы спустя. Вот что я записал в своем дневнике на 7-летие его смерти:

«Я собирался провести этот день в молчании и неделании — так потянуло меня, когда я был на его могиле. Но потом вышли и разговоры, и даже смех. Однако я думаю о нем и чувствую более живым, чем раньше. Там, на Востряковском кладбище, он как бы проник в меня на мгновенье, и я понял его жизнь. Ток времени медленно нес его через годы, и он не пытался бороться с ним, остановить его. Он прислушивался к ровному струению этих вод и не хотел кричать, чтобы его голос прорвался сквозь их усыпляющий рокот. Для кого и зачем? Мой отец был слух и согласие — не слишком даже внимательное и настойчивое, но приемлющее все тихим кивком, как бы плавным очертанием очередной волны. Он понимал, не усиливаясь, и не огорчался, не понимая. Я сердился на него за это безмолвование, удержание себя в потоке, — теперь же все больше люблю именно это непорывание, невыступление. Существование отца ни на миг не расходилось с сущностью жизни — ни в комическую, ни в трагическую сторону, оно было спокойно и достойно; прожить лучше жизнь нельзя — можно только полезнее ее употребить, глубже обдумать. Но это уже не сама жизнь, а подчинение ее требованиям воли и мысли». 26.X.1976.

Ю С отцом у меня запредельные отношения. Папа, как ты говоришь, - это постоянно присутствующее отсутствие. То, что не дает забыть о реальности другого мира: о *тонком плане*. Бабушка и дедушка меня заставляли его любить, у них был культ сына, которому я сопротивлялся, несмотря на то, что иногда влезал в бабушкин шкаф и заворачивался в его простреленную шинель, в сукно которой впиталась его обесцвеченная кровь.



Сергей Александрович Юрьенен
(Петроград, 1919 — Франкфурт-на-Одере, 1948)

Папа трагически погиб «при исполнении» за неделю моего рождения. Вот фотография, которая от меня старательно скрывалась.



Берлин. Январь 1948

Ставили на ноги и вели его сына по жизни другие отцовские образы и фигуры.

В первую очередь — отчим-сибиряк, ветеран войны, участник обороны Москвы и Сталинграда, добравшийся с одной лишь осколочной царапиной не то, что до Вены, но и до самого Мюнхена (откуда мне предстояло подрывать все то, что он защищал), преподаватель Белорусского политехнического института, полковник инженерных войск Арефьев Алексей Павлович.

А настоящий Папа — не биологический, не полученный в результате от меня независимых обстоятельства, а обретенный своими собственными усилиями к 11-12 годам, - это «Эрнест Хемингуэй. Избранное». В 2 томах.



Алексей Павлович Артыев
1921 – 1994

Отчим, кстати, тоже его любил. Но предпочитал Джека Лондона, которого постоянно перечитывал.

ПЕРЕДЕЛКИНО

Ю Паломничество к могиле Пастернака. Конец первого курса. Снова увидел Евтушенко (первый раз на похоронах Эренбурга) — у белой «волги» с двумя тридцатилетними дамами из «высшего общества».

Во второй раз — в конце второго курса — отправился в Переделкино с целью убийства. Преднамеренного. Это все неожиданно произошло, после сессии лежал, читал *Lady*

Chatterley's Lover. Посмеивался над озабоченной суетой соседа-рижанина, который перед своими безрезультатными прогулками на Ленгоры заранее накатывал презерватив, а по моему совету стал по два.

Вдруг плач в коридоре.

Полячка Эльжбета слыла роковой. На ее счету уже был один свихнувшийся юноша, увезенный на самолете родителями в родной Ереван. Так вот, у нее украли портмоне. Не на что возвращаться в Варшаву на каникулы. Пошел, снял все, что накопил за первый и самый успешный год (экономия, азартные игры). Упрашивал взять. Отказывалась. В результате объятия, поцелуи. Она устроилась без моих денег, благодаря связям отца — как оказалось, видного польского гэбэшника... Как? Безумная любовь тут же обратилась в безумие ненависти. На столе валялся нож, которым резали хлеб. Я взял его и вышел в ночь. Доехал до Киевского, сел в электричку...

Соперник — ректор Литинститута, специалист по польско-советским связям. Лет 50. (Эти девушки с патерналистским комплексом, либидоносность которого я тогда отказывался понимать, сводили меня в юности с ума!)

Не убил. Никто из дачи той не вышел. Ограничился мелким хулиганством. Разбил окна на террасе, исписал дорожку красным кирпичом, метровым криком на мертвом языке: «*Тето!*»

И наутро, проснувшись от жаркого луча в Пятом корпусе, изумился себе — настолько был уже свободен от этой совершенно случайной «любви».

Вот мой, если угодно, «Солнечный удар».

Чистое безумие.

ПИСАТЕЛЬСТВО

Э О писательстве, причем не только художественном, но и вторичном, критическом, я мечтал с детства, насколько позволяет судить дневник. Вот запись 13 янв. 1962 г., мне 11 лет:

«Я — критик. Мечты. Критика. Литературные взгляды.

Все говорят, что я много читаю. Ерунда. Я совершенно не знаю иностранной литературы и советской, да и русскую не всю. Так что я немного читал. А что читал, буду критиковать. Но сначала помечтаю. Мне хочется быть литератором. Очень хочется. Хорошо бы поступить в институт. Я еще не пробовал себя в прозе. Но если уж быть литератором, то чтобы меня везде знали, читали, уважали, любили. Чтобы издавали мое

Полное Собрание Сочинений

М. Н. Эпштейна

в 14 томах.

Вот как. Не как, например, издают одну книжонку. Нет. Как Гоголь, Тургенев, Пушкин, Лермонтов... Чтобы меня не забывали. Вот».



Первый класс. 1957.

Лет с 9-10 я калякал стихи, в которых не проявил ни искорки дарования, а с 13 лет и до окончания университета (22) — прозу, в которой преуспел немногим больше (мой первый рассказ назывался «Тринадцатилетняя любовь», а последним я написал цикл «Паломник», «Кочевник» и «Гость»). Сюжеты у меня выходили небезынтересные, психологически и метафизически нагруженные, но я был начисто лишен повествовательного дара: выстраивать события во времени, в последовательности действий было для меня обузой, наценкой на философский замысел. Образы у меня подчинялись понятиям, я исходил из идей и конструкций. Тем не менее, некоторые мои друзья, в том числе ты, прирожденный прозаик, и любимая девушка поощряли мои художественные занятия, чем продлили агонию моей прозы. Некоторые рассказы, например, «Мертвая Наташа», я даже посылал в «Новый мир» (и получал сочувственный отказ). Но литературоведение, с философским и эстетическим уклоном, постепенно брало вверх.

Ю В первом письме Казакова меня потрясло допущение, что к литературе можно «охладеть». К этому времени лихорадка, охватившая меня в 12 лет, превратилась в горячечный бред. Я много писал, но еще больше читал, был записан в пять-шесть библиотек. К тому времени я, наверное, был самым юным в СССР, а может быть, и в мире, экспертом по Хемингуэю, который и привел меня к своим мэтрам. Не только к Джойсу, из которого он «вышел», к русской классике тоже, но в первую очередь, конечно, к Джойсу. В то время я начал всерьез читать Достоевского, но при этом знал, что «Улисс» моя где-то спрятанная Библия, я искал ее повсюду и, наконец, нашел, пусть и частично, — в Белорусской республиканской библиотеке им. Ленина. Эзотерический журнал «Интернациональная литература», закрытый еще до войны. Невозможно описать, как я пылал, когда получил свой заказ — ветхую стопку с переведенными глава-

ми «Улисса». На дом, конечно, не выдавали — притом, что и «на руки» выдали с подозрением и крайне неохотно.



Первая машинка. 1964

Я ездил к Джойсу на 7-м трамвае, но возвращался пешком, чтобы остыть в пути. И вот со мной произошло тогда нечто большее, чем его эпифании. Я шел мимо парка Горького, улица Красноармейская поднималась все круче, и где-то на высшей точке, перед переходом в плато, я оглянулся и увидел сквозь мерцающую изморось ноябрьского вечера огромно-

слепащие буквы «VV». Нет, не даблью, а двойной знак *Victory*. Я не задавал себе вопроса, почему белорусская, минская ночь обратилась ко мне по-английски, я знал, что цепочки фонарей над уходившими вниз трамвайными колеями сложились так потому, что этого захотел дух Джойса, обратившегося именно ко мне, избравшего именно меня, потому что только я знал, что означает этот мессидж. Достоевский и Джойс. Два «Д». Два «V». Подтверждение гарантированной победы.

Через год Казаков, журия и воспитуя, сравнивал меня с эмигрантскими авторами, и эта поддержка замечательного московского стилиста была исключительно важна, но главным событием для моего хрупкого эго было то послание. Сим победиши в стилевой борьбе с миром...

Не могу сказать, что я помнил об этом непрерывно, но, наверное, неслучайно, по поводу моего первого романа в Париже Жорж Бельмон, романист, переводчик с английского и мой редактор, сказал: «Сплав Достоевского и Джойса, никогда не думал, что возможен такой синтез». Бельмон, кстати, бредивший Ирландией, в юности знаком был с Джойсом — так закольцевался этот мой сюжет.

Э В юности я казался себе ужасно косноязычным, и, перечитывая свои дневники до 19-20 лет, я вижу, что это, действительно, было так. Слова давались мне с трудом, я долго думал над каждым, и они не складывались в ясный жест или картину, они торчали в разные стороны, тупенькие, короткие, вялые. Я ходил по листу бумаги на ватных ногах, покачиваясь, с дрожью в коленках от сверхнапряжения каждого шага. С годами поступь твердеет, слова начинают выговариваться сами собой, очерчивая пластически внятный жест мысли. Очень трудно давалась мне эта наука: снять перегородку между мыслями и словами, писать так, чтобы это само собой, легко и вприпрыжку сбегало с пера. В 1970-е годы

почти на каждую статью, на сбор материалов, продумывание, расчленение, композицию, а главное, стиль у меня уходило по году, а потом почти с такой же скоростью стали получаться целые книги. Постепенно каналы перехода мысли в слово расчищаются, но для этого нужно много раз проталкивать через них жалкие, скомканные слова, слова-терки, тряпки.

Писательство, безотносительно к тому, художественное оно, или эссеистическое, или научно-гуманитарное, — это умение писать так, чтобы *тобой писалось*: свободно пропускать через себя, не заслонять собой Нечто, ищущее выражения. Юность, наверно, и есть та пора, когда происходит — или не происходит — это волшебное превращение трудового в даровое, трудного в дарное. Конечно, есть и такая степень дара, которая опережает труд и ведет его за собой, но я был в юности выучным животным, которое изо всех силенок тащило за собой маленькую поклажу дара.

Из дневника. 3. 1. 1975. «Я хотел бы разобраться в подлинном значении своих слов. Я своих-то не понимаю, что толковать о чужих. Я пишу, говорю с полным напряжением мысли, но потом остаются только слова, а значения их уходят, отступают, как вода от кромки берега. Слова остаются сиротливые, жалкие — и нужно снова брать над ними опеку. Знаки ущербны физически, духовная же их полнота зависит от нас. Самое мучительное, что смысл не держится в слове, его нужно возобновлять усилием души. Слово само по себе не обеспечивает смысла».

См. БИТОВ; КАЗАКОВ; НАУКА

ПИШУЩАЯ МАШИНКА

Ю С пишущими машинками в СССР становилось год от году труднее, и снова вспоминалась мама с ее эсхатологическими пророчествами, доводящими до абсурда любое настораживающее явление жизни.

Относительно пишущих машинок она прозревала в будущем поголовную регистрацию владельцев, номеров машинок и снятие проб шрифта, вот как отпечатки пальцев в ФБР, — и его оправданное стремление обзавестись наконец своей собственной вызывало в маме тревогу за судьбу сына. Не то, чтобы активно противилась, но напрасно он старался рассеять общее настроение пессимизма, в которое она впадала от сознания неизбежности приобретения. Напрасно, — а мама заставляла изощряться в аргументациях, — говорил, что «в Штатах» каждый школьник имеет, и сочинения, представь себе, только и пишут на машинках (что поразило в повести Сэлинджера в начале 60-х, а ведь написана в 1951-м!) И не говоря уже о сверхзадаче жизни, исходя из которой он понимает ее, машинку, как главное орудие, инструмент и станок, он, в конце концов, напрасно, что ли, три года обучался машинописи в школе, на уроках производственного обучения, и вместо того, чтобы с мужской половиной класса бить баклуши на станко-строительном заводе им. Кирова (они там, главным образом, выпивали с работягами), прилежно овладевал слепым методом в классе машинописи — единственный там «мальчик».

Но время — а тем временем школа была кончена и со второго захода он поступил в МГУ — доказывало правоту маминного иррационализма.

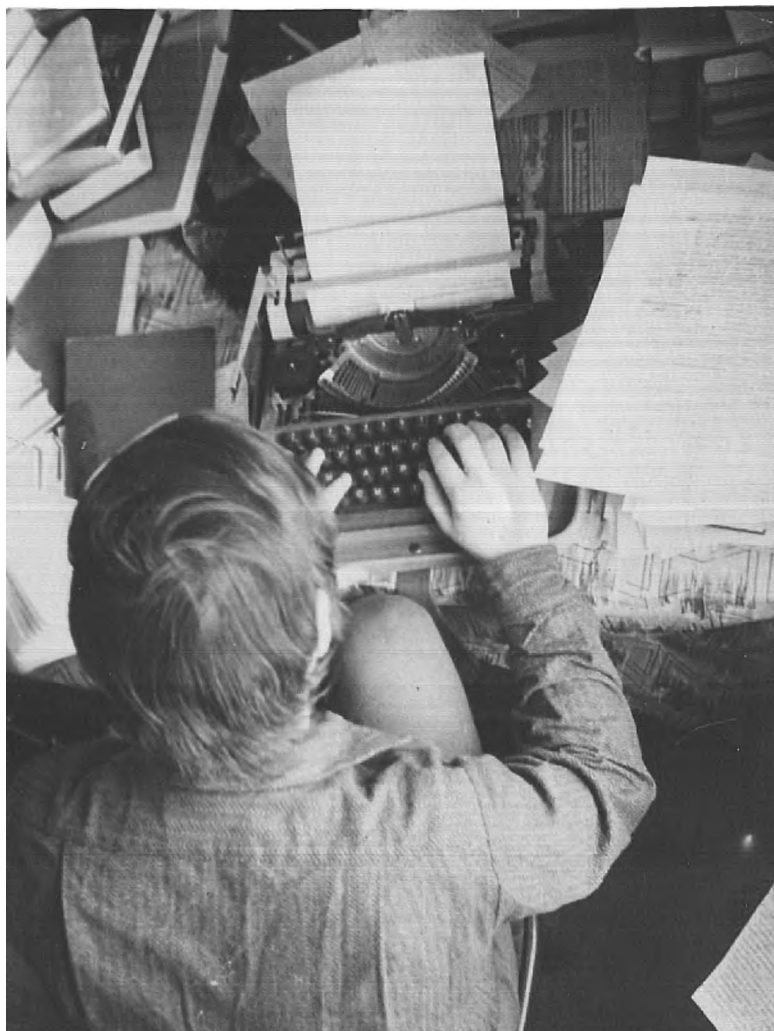
В первый московский год машинки еще были, но в этот 68-м исчезли, и, вдумываясь в проблему внезапности дефицита, он связывал ее с тем, что творится в Чехословакии, а также с распространением машинописных текстов — самиздата. О чем на фэке ходит масса анекдотов, вроде того, что декан после работы садится за машинку и глава за главной перестуки-

вает (без полей и через строчку) «Анну Каренину». А на вопрос зашедшего по соседству замдекана по учебной части, зачем он это делает, отвечает: «А чтобы сын наконец-то прочитал...»

Так и я на своей машинке «Ideal», подаренной мне мамой и отчимом в 1964 году на 16-летие, параллельно со своими личными текстами перепечатывал в Москве «для себя» Бердяева и Бродского (которому суждено было стать владельцем лучшей из моих машинок, купленной в 70 году в Москве на деньги, вырученные от продажи отроческой нумизматической коллекции).

Э Машинка у меня появилась на втором курсе, в январе 1969 г., последний и главный подарок отца, который в октябре того же года умер. Гэдээровская Эрика, и с тех пор до отъезда в 1990 г. я с нее не слезал, лишь последние годы порой изменяя ей с более subtilной югославской Олимпией. На Пушкинской ул. (ныне Бол. Дмитровка) был единственный в Москве магазин печатных машинок, я любил в нем ошиваться даже без дела, как потом полюбил компьютерные магазины, почти наравне с книжными. Пусть результат письма и больше его орудия, но с орудием можно достигать любых результатов, об этом и грезится пишущему в магазинах орудий письма.

Ю Ты никогда — очень редко — чистил свою машинку. Никакой эстетизации, крышка постоянно снята, механизм обнажен. Буквы забиты отходами лент. Но твои «грязные», чумазо-цеховые машинописные тексты дышали метафизикой.



Миша. Пишмашинка открыта и дымится. 1969

Э Да, помню эту налипшую чернь, которая мне по-своему нравилась, как трудовая мозоль механических пальцев.

ПОКОЛЕНИЕ

Э Наша юность пришлась на время резкого постарения режима, его идеологии, ценностей и носителей, и в этом благое, отрезвляющее воздействие эпохи на наше поколение. Конечно, одряхление режима разлагало общество, но одновременно лишало иллюзий. Если бы мы росли в 1920-е—30-е или 1950-е—60-е гг., когда коммунизм воспринимался как молодость мира, тогда и у нас, молодых, был бы соблазн влиться в его ряды. Так было у шестидесятников: целина, великие стройки Сибири, очищение партии, Ленин опять молодой, революция продолжается, через двадцать лет новое поколение советских людей будет жить при коммунизме... Мы, конца 1940 — начала 1950-х гг. рождения, были, вероятно, первым поколением, которое совсем не очаровалось коммунизмом — и по той же самой причине не разочаровалось в нем, не пошло в диссиденты: послесолженицынское и послеевтушенковское поколение (хотя мой *политикоз* в 1966-67 гг. еще был остаточным симптомом той генерации, но август 1968 г. разделался со всеми иллюзиями). Конечно, это разложение «идеалов» создало благоприятную среду для цинизма, как официозного, бобковского, так и неофициального, упадочно-богемного, причем последний был более симпатичен.

Но возник и третий путь, между идеалами и цинизмом, путь самоцельной, самодостаточной, профессионально-качественной, морально-ответственной работы в своей области знания и мастерства. Быть *большим* в *малых* делах. Важно то и другое. Наше МГУшное, филфаковское поколение конца 1960-х — начала 1970-х все-таки не успело сужиться так, как последующие, оно захватило в себя ту широту и «духовность», которую я ощущаю в оставшихся на виду: в тебе, в Оле Седаковой, в Ире Муравьевой, в Вите Ерофееве (хотя цинизм его не обошел), да и в себе. Но для нас ценностью была литература сама по себе, философия сама по себе, язык сам по себе,

мораль сама по себе, а не просто как подручные средства для переделки мира, для пришествия царства изобилия и свободной необходимости. Так что через наше поколение время сдвинулось от коммунизма, модернизма, утопизма — ко всему тому, что стало «пост-»: посткоммунизму, постмодернизму, постутопизму и т.д. Но еще не дошло до точки релятивизма и деконструкции, когда все значения превратились в игру означающих, реальность в симулякр, культура в многокультурье и т.д. В этом я вижу место нашего поколения как связного между миром больших, тоталитарно извращенных идей — и миром мелкой, копотливой деконструкции, фрагментарности, мультикультурности, демагогии малых культур и аналитических процедур без попыток синтеза. Сохранить великое, высокое и духовное — но освободить его от тотальности, от насильственности утопического размаха и замаха; а значит, передать последующему поколению, идущему после постмодерна, вкус к целостности, к большим несущим конструкциям, к синтетической работе воображения.

Ю Схема сурово-элегантная. Однако не слишком лестная по отношению к нам? Так и вижу разрозненных гулливеров, бредущих среди «тех, кто пришли» - отвергающих, судя по всему, дары «сверху»...

Но сменятся и они, конечно. Чего, возможно, пока не ведают – в отличие от нашего (не всецело) потерянного поколения, своевременно узнававшего об Экклезиасте по просветительским эпиграфам Хемингуэя:

One generation passeth away, and another generation cometh, but the earth abideth forever...

ПОЛ

Э К тайнам пола я приобщался с чудовищным опозданием. Кажется, в последний раз я спрашивал маму, как рождаются дети, когда мне было уже лет 14, если не 15. Можешь это себе представить? Здоровенный балбес, а все еще смутно представляет, откуда он сам появился на свет, и спрашивает о том родительницу. А в самом деле, откуда мне было знать, если вся, даже просветительская информация на эту тему была настрого удалена из книг, учебников, кино? Государство ревниво относилось ко всем тратам половой энергии, если это не прямо служило целям умножения его граждан, трудовых ресурсов. Мои сверстники, вероятно, узнавали эти сведения в подворотнях, но я там не терся. Правда, приходил ко мне несколько раз в гости жалкий и обаятельный одноклассник, двоечник Слава Парушкин (это был 5-ый класс) и при мне занимался онанизмом, но я слабо понимал, что он делает, и старался поскорее его выпроводить. Спрашивал «про это» только у мамы. А она мне всякий раз отвечала уклончиво и обещала просветить потом, когда я еще на несколько лет подрасту. И только уже лет в 16-17 я понял, что спрашивать больше не стоит.

Нельзя сказать, что я очень жаждал этих сведений, меня больше увлекала романтика косичек и фартуков, чернильных пальчиков, белых шеек, задумчивых взглядов, легкого дыхания, идеальность любовных томлений. Так и получилось, что слово «вульва» я впервые услышал только от тебя, уже на первом курсе. Мы с тобой рыскали по центру Москвы, по всем книжным магазинам в поисках тома Медицинской энциклопедии на букву «В», где можно было узнать все о тайнах зачатия. И, увы, не нашли. Я тогда втихую удивлялся, зачем эта сухая теория тебе, уже постигшему эти тайны вживую, побывавшему там, куда и мое воображение не доставало. Но, видимо, теория не дает покоя и практикам, и всегда хочется знать, как называется то, что ты уже испытал.



*Для фотосессий тетя любила наряжать меня девочкой.
1953 или 54*

Помню, что тогда же или в другой раз мы с тобой обшарили букинистические в поисках 24-го тома Полного собрания сочинений Л. Толстого, с его переводом и толкованием Четвероевангелия. Это была единственная за все советские годы

публикация евангельского текста — только потому, что его перевел Толстой. Вот так все точно сходилось в нашем опыте погони за книгами: эротика и религия — две самые запретные, невыговариваемые темы, два сильнейших вызова диктату политического. Эротика и религия уводили из общества в беспредельность сверхвремени, в те два лона, земного и небесного, куда нам не положено было уходить. Советский опыт подтверждал от противного мысль Жоржа Батайя о глубинном родстве эротического и религиозного.

Что касается половых ощущений, я долго не понимал их природы. Первую девочку, с которой меня посадили за парту в первом классе, звали Графчик. Имени не запомнил, только фамилию. У нее были удивительно нежные, гладкие щеки розового цвета — кажется, такой гладкости щек (по силе впечатления) я больше не встречал. Она была мне очень мила и приятна. И то, что она имела отношение к графии, к письменности, тоже подсознательно действовало на меня. Может быть, с той поры я и стал графофилом? (Кстати, слово, совершенно не использованное в языке, в отличие от графомании. Почему письмо, письменность вообще, не может быть предметом тонких, нежных, любовных чувств, не обязательно мании, одержимости?).

Во втором и третьем классе я сидел за одной партой со знаменитой Тамарой Сосновой — чемпионкой страны по плаванию в своем девчоночьем разряде (а впоследствии — и во взрослом). Мы с ней постоянно играли в пережималки, только не руками, а ногами, под партой: кто кого. Я зажимал ее ногу между своими и наклонял, поворачивал к себе, а она старалась этому противиться. Помнится, я всегда побеждал. И это доставляло мне большое спортивное удовольствие. А она, хоть и привыкла к победам на водных дорожках, тоже не возражала против своих поражений. Было нам 8-9 лет.

Я вдруг сообразил, что из этих двух крохотных детских сюжетов выстраиваются два рассказика: «Щечка» и «Ножка». Невинная детская эротика. Есть ли такой жанр в детской ли-

тературе? Чтобы не похабно, по-свидригайловски сглатывая слюну, и не научно, по-фрейдовски потирая руки, а вот именно так светло, невинно, но очень приятно и увлекательно, как это и воспринимается в детстве...

Ю Не забывай, что к моменту нашего знакомства я был на два года и трех-четырёх девушек старше. Терминологией же владел, потому что лет с 12-ти втайне от мамы читал ее толстенный «Справочник фельдшера». Я знал даже про «Колпачок Кафки». Не каждый сегодняшний читатель сможет ответить про этого Кафку, а я про этого гинекологического гения узнал задолго до того, как открыл Франца. Потому что верил, что к тайне тайн можно проникнуть не только лобовой атакой, но и тихой сапой — неисповедимыми ходами возбужденного книжного червя. Надо сказать, что мама контролировала чтение, но на каникулах у бабушки в Ленинграде в моем распоряжении был собранный дедушкой для меня же книжный шкаф, а в нем — если ограничиться наиболее эрогенным чтением — Куприн Александр Иванович с безошибочно мной найденными в бирюзовом его собрании «Суламифью» и «Ямой», в которой, правда, много не понимал (а именно — намеков на оральный секс, которые сближают этот роман с «Чапаевым» Фурманова и «Приглашением на казнь» Набокова).

ПОЛИТИКА

Э Мне только что исполнилось 17 лет.
Из дневника. 25.4.1967. «В воскресенье был Эдик (двоюродный брат, 31 год). Говорили о политике. Особенно его возмущает, что люди выдвигаются не по деловым качествам, а по случайным обстоятельствам, и от этого у нас хозяйственный развал. Но он убежден, что стену лбом не

прошибешь. Когда я заговорил об активном сопротивлении — «ты что, с ума сошел? Эх, жизнь тебя еще не научила, не навешала оплеух!»



Миша с двоюродным братом Эдиком (1936–1970)

Идея политической организации меня поглощает. Об этом черновик письма Любе (знакомой). Но какой еще вялый, невежественный у нас народ (сегодняшние разговоры в трамвае). Если же действовать — то во имя его. Пусть он даже не сознает своего блага. В народе воспитывают гражданственность и пр., кричат о ней из газет, радио, с трибун. А между тем я не встречал людей, которые глубоко и искренне думали бы о родине, болели бы за нее и хотя бы несколько напоми-

нали людей прошлого века, для которых «отечество» — священное слово. Людей мучают квартирные и гардеробные проблемы, иных — наука, но высшее им недоступно.

Переход в моем духовном развитии уже отчетливо совершился. Теперь меня волнуют не призрачно-отвлеченное углубление в себя, но вещи действительные, простые и важные для всех: мужество, справедливость, самопожертвование, мужская дружба. Не заваливать мир испражнениями своей души, а проветривать душу чистым ветром всемирного».

Ю Моей первой манифестацией, расцененной как политическая провокация с негативно-оперативными последствиями, было выступление в ресторане «Минск» на Ленинском проспекте осенью 1966 года. Нам, одиннадцатиклассникам, всем уже было по 18, и мы отмечали 18-летие нашего задержавшегося товарища (и, в отличие от нас, гея). Мы заказали слишком много водки и коньяка. Я выступил против соцреализма. Пил за «реализм-без-берегов». За Роже Гароди. За Ж.-П. Сартра. За Джойса, Кафку, Пруста (и, боюсь, что по отдельности за каждого). Я пригласил танцевать американку, которая была выше меня и оказалась специалисткой по советской литературе (а впоследствии и персонажем известного памфлета «Чего же ты хочешь?» главного редактора «Октября» сталиниста Всеволода Кочетова). Двое друзей, включая гея, предусмотрительно слиняли. Я же был настолько вне себя, что увидел в гардеробщице графа Льва Николаевича Толстого и попытался поцеловать его «мужицкую руку». К счастью, третий друг доставил меня домой. Физического похмелья на следующий день не было (что значит юность!), но было жуткое политическое отрезвление. Оказалось, что в ресторане (топографически это в непосредственной близости с белорусским КГБ) было полно клиентов «в штатском», наблюдавших за американцами. Что я чуть ли не сорвал гэбэшную операцию. Что меня не задержали только потому, что я был за одним столиком с сыновьями влиятельных людей, в частности, с К., отец которого в ЦК

КПБ курировал науку. Что столики были радиофицированы, и влиятельным родителям предоставили возможность прослушать на магнитофоне запись всего, что я нес. Все это я узнал от своих собутыльников, которым приказано было со мной раздружиться (и карантин на дружбу длился до Нового года).

Э 21 августа 68. Наши танки в Праге. Я с утра ходил по Покровскому бульвару, ждал свою девушку. Вижу газетный стенд. Прочитал. Ударил кулаком что было силы по прозрачному пластику. Но он даже не треснул. Запись в дневнике лаконична. 22 авг. 1968, вторник. «В мире творится величайшая подлость — в Чехословакию введены советские войска. Но народ уничтожить нельзя». Все-таки ИХ язык. Антисоветское содержание давалось гораздо легче, чем освобождение от советского языка.

Ю Я был на каникулах в Минске. Мы сидели у приятеля, цэковский отец которого получил новую квартиру с видом на Ленинский проспект, находящийся, как и вся магистраль Минск—Москва, на оси «Восток—Запад». Выпить было в намерениях, однако в тот момент, когда стал слышен странный гул, были совершенно трезвыми. Потом стала ощутима вибрация, и я узнал этот гул брони, сотрясший мое детство в 1957 году, когда через Гродно наши танки шли на восставший Будапешт. Но куда сейчас?.. Нигде не убивали коммунистов, не линчевали гэбэшников. Мы увидели, как на пустое пространство проспекта между старо-сталинским зданием Института физкультуры и новым корпусом завода телевизоров уверенно выполз первый танк, за ним, с небольшим промежутком, другой, и вскоре вся эта рокошущая цепь бронированным гуськом заполнила Ленинский проспект. С тротуаров смотрели прохожие, застыв, как в игре «замри». Вторжение такого количества целеустремлен-

ных танков в жизнь, которую мы привыкли полагать мирной, было ошеломительно странно — как увидеть вдруг дефилирование динозавров, полагаемых отмершими. Но прежде всего тревожно. Мы настолько ничего не знали о предстоящем подавлении невинной «Пражской весны», что даже самый осведомленный из нас цэковский сын вполголоса предположил: «Война?..»

Через неделю я вернулся в МГУ. Чешская студентка, с которой в начале лета завязывался многообещающий роман, ответила отказом в форме оскорбительной для русского.

Э Время от времени отец Ауроры появлялся в Москве, и однажды ты показал ему мои записи, под общим названием «Осеннее отступление» (сент. — окт. 1971). По крайней мере одну из них (#22): «Чья это кровь в красном цвете полотнища? Тех, кто несли его, или тех, чью кровь проливали? — Две крови. Две слившиеся, спекшиеся в одном цвете крови. Символ слияния всех кровей, на которых замешана история. Капля алчет другой капли, и кумач — это только эстафета крови, короткий зов крови пролитой — к той, что еще обращается в сердце».

Помню дословно мнение вождя испанской компартии, переданное тобою: «Субъективно это честно, но объективно — реакционно».

Ю С первого дня знакомства в Солнцево в сентябре 1972 года мой будущий тесть был со мной непривычно откровенен политически. Событие, о котором ты вспомнил, имело место несколько позже, на Соколе, на улице Новопесчаной, где мы с Ауророй жили в квартире уехавшего в Румынию Роберто, брата генсека Сантьяго Карильо.



*Игнасио Гальего с русско-испанской внучкой Анной.
Фарос. 1975*

Там была большая и разноязычная библиотека по истории КПИ и гражданской войны в Испании. Материал этот я так или иначе овнутрил. И твоя запись, видимо, была моим аргументом в дискуссии по поводу «миллиона убитых» — им, как ты знаешь, и франкистам, и республиканцам, поставлен был сразу после смерти Франко огромный общий крест под Мадридом. В перспективе этого деяния, совокупно почтившего павших в их гражданскую войну, формировалось соответствующее умонастроение, так что наш обмен мнениями был своего рода пролегоменами на подступах. Я, конечно, с большей гордостью аргументировал бы своим текстом, но у меня их, увы, не было, поэтому, с гордостью, но меньшей, я продемонстрировал интеллектуализм своего друга.

Э Задним числом: не было ли риска в таком показе? Конечно, секретарю компартии Испании не пристало связываться с мальчишкой, другом зятя, но ведь идея-знамя — превыше всего.

Ю Прости, дорогой, но... «Говновопрос» - сказали бы в ЖЖ сегодня. Испанский мой тесть был слишком масштабной фигурой, и там, на своей иерархической высоте, располагал свободой, вполне допускающей элементарную порядочность. Если его и можно считать агентом СССР, то, разумеется, это был Суперагент. С другой стороны — конечно. Ты рисковал уже тем, что не вышел (как Боря ***) после начала моих опасных отношений с Ауророй из списка моих «контактов», по причине чего, надо полагать, и находился, возможно, не в центре, но в сфере «компетентного» внимания.

Актуальных поколений ради следует внести ясность в структуру. Во главе испанской компартии находились, *primo*, почетный президент Долорес Ибаррури (в Москве), *secundo*, генеральный секретарь КПИ Сантьяго Карильо (движитель еврокоммунизма и советофоб) и мой тесть, теоретически номер Три, практически номер Два — член Исполкома КПИ и критик еврокоммунизма, а по связям с КПСС — он в КПИ был первый человек. И это неудивительно. Команданте (то есть майор республиканской армии) Игнасио Гальего был последним из защитников Мадрида, бежавшим из осажденной испанской столицы в 1939-м, - самолетом в Алжир, откуда был выкуплен Советским Союзом («За тракторы», — он говорил. К 1944 году, когда вместе с Долорес Ибаррури Сталин отправил его в Париж, создавать компартию в эмиграции, тесть успел поработать на автозаводе Лихачева и закончить легендарную школу Коминтерна в Башкирии, на реке Белой. В Париже я прочитал тутиздатскую книгу выпускника этой школы Вольфганга Леонгарда «Революция пожирает своих детей» (1955) — и узнал своего тестя в одном из самых дисциплинированных персонажей, призывавших к порядку сородичей-

разьебаев. Сам Игнасио (*Падре*, как я его называл, себя подразумевая, конечно же, Оводом) мне рассказывал, что на вопрос советского офицера: «Кто из вас готов к десанту за Пиренеи?» — шагнул из строя первым.

«Архивы Митрохина», секретные документы КГБ, тайно собранные офицером КГБ и опубликованные по-английски на Западе²², открыли нам его кодовое имя: «Кобо».

²² Christopher Andrew and Vasili Mitrokhin, *The Sword and the Shield. The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB*, Basic Books, New York, 1999, pp. 301-302.

[P. 301 - «Just as in Italy, the KGB's principal point of contact with the PCI was with a Soviet loyalist, so the Madrid residency's main source within the PCE was the most pro-Soviet member of its executive committee, Ignacio Gallego, codenamed KOBO. Until March 1976 Soviet subsidies to the PCE had been forwarded via the French Communist Party, the PCF. By Politburo decision no.P-1/84 of March 16, however, the KGB was instructed to make payments directly to Gallego. At least some of these payments were intended for Gallego himself, rather than the PCE executive as a whole, so that he could «work on his contacts». On December 6, 1976 the Politburo approved a payment to Gallego of 20,000 dollars (decision no. P37/39-OP) for the purchase of a flat in Madrid. Though his public criticism of Carrillo was muted, the Madrid residency reported that in private Gallego was bitterly critical, denouncing him as «a danger to the Spanish Communist Party and the international Communist movement.» Early in 1977, through his wife LORA, Gallego passed on to the Madrid residency Carrillo's draft of a joint declaration to be issued at a summit meeting of the leaders of the PCE, PCI and PCF, as well as the proofs of Carrillo's forthcoming book, «Eurocomunismo» y Estado («Eurocommunism» and the State). The Centre was scandalized by the criticisms in both documents of the Soviet Union--though, in the event, Berlinguer and Georges Marchais, general secretary of the PCF, rejected the most trenchant passages of the draft communiqué. Gallego informed the KGB that the left-wing daily Pueblo planned to send a correspondent to Moscow to interview Soviet dissidents. Thus forewarned, the Madrid Embassy refused the correspondent a visa. « P. 302 — «At the parliamentary elections of June 1977, the first free elections in Spain for forty-one years, the electorate rejected the extremes of both left and right. The PCE won only 9 percent of the vote, as compared with the 34 percent of Suarez's Union of the Democratic Centre and the 28 percent of the socialists. Among the new Communist deputies was Gallego, who became deputy chairman of the PCE parliamentary group. Believing Carrillo's position to be much weaker

Примеры могущества «Кобо» в Москве: когда мы с Ауророй (отказавшейся от вылета в Париж и просрочившей визу на пребывание) сбежали из удушливой Москвы (горели торфяники) в Ленинград, нас там по требованию отца разыскали в тот момент, когда мы катались на лодке в Парке ЦПКиО. То есть, включился дремлющий репродуктор, и на весь парк мы услышали срочное объявление... Представь, что за этим стояло: Андропов на Лубянке, Ленинградский Большой Дом, лихорадка поиска...

Мы вернулись «Красной стрелой» в Москву, А. вышла из такси в тихом арбатском переулке — и больше я ее не видел целый месяц. Тем временем в Крыму, в том самом Форосе, где вся семья была на отдыхе, мой будущий тесть изучал мое «дело», доставленное специальным курьером. В «деле», составленном, как я понимаю, по материалам Первого отдела МГУ, было, видимо, немало негативной информации от стукачей и тех, кого я считал друзьями. (Настоящие друзья в этот момент посещали меня в городе Солнцево, разглашая, что давали показания «людям в черном», появившимся в общежитии и на факультете). В этот месяц, когда в Крыму решалось мое будущее, я заболел, перекуривши болгарского табака «Амфора» и лежал в полном одиночестве с температурой под сорок, наблюдая, как садится пыль на линолеум. Слово Форос звучало для меня, как Фобос, и вчуже я сознавал, что сделался про-

than Berlinguer's, the Kremlin tried to rally opposition to him in the PCE.

«*...»During 1978 the public controversy between the PCE and CPSU died down. In private, however, Carrillo was more critical than ever. According to a report from Gallego forwarded by the Madrid residency, he condemned the Soviet Union in an off-the-record outburst as «a semi-feudal state, dominated by a privileged bureaucracy which is cut off from the people,» with a far less democratic way of life than the United States.»*

...»Gallego meanwhile continued to receive about 30,000 dollars a year from the KGB. The Madrid resident, Viktor Mikhailovich Filippov, reported that though Gallego struck «as far as possible» to the political line recommended by the residency, there was little he could do to galvanize open opposition without isolating himself on the executive. «]

блемой в сферах, где решать их принято по-сталински — вместе с человеком.



**Анн Юрьенен-Гальего на коленях Долорес Ибаррури. Под любовным взглядом деда Игнасио. Москва, Плотников переулок, гостиница «Октябрьская». 1975.
© by Serge Iourienen**

«Кобо» дал согласие — не на брак, а на «испытательный срок». С первой же встречи я подпал под обаяние этой фигуры, в чем ничего удивительного — сумел же он обаять и Пасионарию, и самого Сталина. Его харизма двигала в Европе массами. Однако А. предупреждала меня от впадения в экстаз. За кулисами он постоянно предлагал ей бросить меня в Москве и вернуться с нашей дочерью в Париж или куда ей захочется на Западе. В 1976 А. перевела ему мой рассказ «Шар», напечатанный в «Литературной России». В ответ услышала запальчивое: «Враг социализма! Место ему за колючей прово-

локой. Эти дураки сажают диссидентов, не видя настоящих врагов». Испанская же теща говорила мне прямо в лицо: «Советские товарищи говорят, что не возражали бы против вашего отъезда в Париж (*Помню, как в этом месте выжидательно остановилось сердце; это было все там же, в закрытом отеле, за завтраком, в сентябре 1976 года*). Но, - завершила теща, в свое время убежавшая из своего Бильбао на фронт и уже в 15 лет носившая тяжелый парабеллум, - мы знаем, как американский империализм использует русских писателей на Западе. И новых солженицыных создавать не хотим». И разве моя бель-мэр была не права?



Они просто остолбенели, увидев меня вне СССР. А произошло это в 1976-м, когда вместе с их детьми (приславшими мне в Москву заветное приглашение) я встретил их в Шарль де Голль/Руасси — вернувшимися из Рима «от Берлингуэра», чтобы назавтра же лететь в Мадрид, где легализовали еврокоммунизм. 37-летняя эмиграция для тещи с тещей кончалась, моя — еще не началась. Предстоял целый год в Москве.

Предстояло привезти тебе благовест (переданный вслух под стук колес на станции метро «Кропоткинская») о том, что «да! Цивилизация, Миша... *существует*».

См. ДИССИДЕНТСТВО, ФРАНКО

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Э Наверно, у каждого есть свои правила жизни, осознанные или неосознанные. У меня с юности, возможно, под воздействием Лао-цзы, но главным образом, как вывод моих собственных болезненных взаимодействий с миром, выработалось правило: «Ничему не противостоять, ни с чем не отождествляться». Как только я чувствую, что слишком глубоко влипаю в некое движение, тенденцию, группу, я начинаю отлипать, шевелиться, вылеплять себя из массы. Как только я чувствую, что начинаю намертво, в упор кому-то или чему-то противостоять, я чуть-чуть сдвигаюсь, переносу точку упора, чтобы была возможность маневра, обхода, движения дальше. Моя стихия — текучая середина, чтобы всегда оставалось чуть-чуть места и справа, и слева, чтобы не быть прижатым к стене или загнанным в угол. Я стараюсь смотреть на мир двумя глазами, слушать двумя ушами, мыслить обоими полушариями мозга, проговаривать мысль на двух языках (русском и английском).

Еще одно правило мне преподала мама, и я с возрастом все больше ценю ее совет: не перегружать других людей информацией о себе. Не то чтобы никому нельзя не доверять, но надо исходить из энтропийности нашей вселенной, где всегда происходят какие-то утечки и расползания. Меняются отношения между людьми, близкие отдаляются, доверенные лица сами доверчивы и делятся с другими... Нет более надежного хранилища сведений о себе, чем твой собственный мозг. Впрочем, несмотря на мое старание следовать этому

правилу, я на шкале открытости-закрытости стою ближе к первой и шпион-разведчик из меня получился бы никакой.

Третье правило – неопределения, овозможения.

Из дневника, 3.10.1970. «Нужно довольствоваться той степенью определенности, которая есть в мире. Наши провалы, мучения, конфликты с людьми – от попытки определить больше, точнее то, что остается только возможным. Вот человек: думает так-то, смотрит так-то. Но мы не удовлетворены, пока не определим для себя: умен он или глуп, любит меня или не любит. Не превышай меру определенности, заданную самим предметом, предоставь ему возможность роста и самоопределения, смотри на него сквозь расширяющуюся дырку в своей системе категорий. Во всем, что есть и происходит, гораздо больше возможного, чем уже определившегося».

И еще одно правило, которое можно назвать «усилие без насилия». Я считаю, что правильные вещи должны делаться относительно легко. Конечно, к ним нужно прилагать усилия. Но если вещи все-таки не делаются, лучше оставить их в покое или по крайней мере подождать, не изменятся ли обстоятельства. Чрезмерные усилия могут привести к результатам, обратным ожидаемым. Если ключ не вставляется в замок, не стоит его туда изо всех сил запихивать, может быть, это ключ от другого замка или замок для другого ключа. Иными словами, нужно следить, чтобы усилие не перешло в насилие над природой и ходом вещей. Если я звоню кому-то, но после двух-трех попыток не могу дозвониться, я оставляю попытки, переношу на следующий день. Может быть, этот человек сегодня не в настроении, устал, занят, измучен жизнью и ангел охраняет его от моих вторжений. У обстоятельств есть своя логика, поэзия, грация, им нужно доверять, чтобы не превратить их в грозную судьбу, вырастающую против тебя. Не будь мелочен и дотошлив в своих претензиях к бытию, сохраняя за ним право на крупные жесты щедрости и удачи.

Ю В мой первый студенческий день, сидя на постаменте под памятником М.В. Ломоносову (напротив Манежа), я составил в записной книжке свод правил на предстоящую пятилетку. К диплому я должен был выйти, написав роман и накопив 1000 рублей «на книжке» (каковую немедленно завел в сберкассе на Мичуринском). Выдержал только первый год, сокрушенный силами либидоносными и, по определению, иррациональными. Помню, однако, что вчуже восхищался, когда ты рассказал про свои правила в отношении обязательных «единиц работы».

Нельзя сказать, что правилу, которое, согласно Гуглу, восходит к Дизраели, следую неукоснительно, будучи все же трансгрессор и «нарушитель границ». Но вспоминаю чаще других... *Never explain, never complain.*

Э «Единицы работы». Хорошо, что ты напомнил мне об этом казусе юности. Закончив университет и опасаясь размагнититься на вынужденном безделье, я с августа 1972 г. как следует за себя взялся. Писал обязательства и расписки самому себе. Придумал некую меру свершения: «единицу работы» и задавал себе на каждую неделю число единиц, а потом подсчитывал по месяцам и годам (года на два хватило этой системы). Чему же равнялась единица, какие действие приравнивались к ней?

1 страница на машинке (оригинального текста или перевода)

1 стр. в тетради «Эстетика»

1,5 стр. в тетради «Мысли»

1 письмо

15 стр. чтения на английском

40 стр. чтения на русском (только научная литература)

И, как подтверждения эквивалентности всего на свете:

Знакомство с девушкой (телефон или адрес).

Это тоже была работа! (для меня). Что страница текста, что телефон девушки.

И вот радостный итог:

За год, 28 авг. 1972 – 28 авг. 1973 г.: 1670 единиц работы.

Подумать только, что это могло быть 1670 телефонов девушек. Целая телефонная книга! И ни одной написанной страницы. А могло быть три полновесных тома, по 500-600 страниц каждый! И ни одной знакомой девушки. В реальности все было гармоничнее...

ПРАЗДНИК

Э *Из дневника.* 14.10.73. «Холодно и одиноко. Совершенно без никого. «Живу без новостей» — говорю я теперь по телефону. Израильская война усиливает тоску и тягу к близким, родным по крови. Хочется жениться и никуда из своей крови и рода ее не отпускать, пусть вяжет и нянчит, носит длинные юбки и теплые шерстяные носки. Умственная работа (Маклюэн, лекция Мамардашвили, французский язык, ежедневная Библиотека иностранной литературы) уже не успокаивает и не умиротворяет, а загоняет глубже эту тоску о родине, о веселых лицах, о празднике, о вечере в тесном кругу родных и гостей, о долгом сне вдвоем. Не уверен, нужен ли мне сейчас всеобщий праздник, братание на улицах, открытые двери домов и огромные огненные буквы в небе. Мне бы хватило и...

Рай — это начало любви, первая догадка, узнавание, проблеск взаимности. Рай — это вход в рай. В самом раю уже трудно обитать по-райски».

Ю Я не знал, что такое праздник, пока не попал в Париж и не увидел ретроспективно беднобледные советские застолья и торжества, где был переизбыток алкоголя, но дефицит сердечности. Всегда вылезал к тому же какой-нибудь «скверный анекдот». Я здесь, конечно, не оригинален, но испытал и пережив этот «мой» Па-

риж, очеловеченный и согретый испанскими эмигрантами и офранцузившимся их детьми, не могу не поддержать Хемингуэя: первые несколько лет в Париже были, несмотря на нищету и переезды из одного аррондисмана в другой, с квартиры на квартиру, моим перманентным праздником: воистину *moveable feast*.

ПРОФЕССИЯ

Э У меня всегда возникают трудности с кратким определением своей профессии (точнее, специальности). Начинается перечисление: филолог, философ, культуролог, эссеист... А если еще разложить филологию на литературоведение и лингвистику, которым я привержен в равной мере, то создается впечатление разбросанности и неменяемости или «полимании» (назовем так одержимость профессиональным разнообразием, отталкиваясь от английского «polymath», «тот, кто сведущ в разных областях знания»). На самом деле, если разложить этот спектр хронологически, то легко увидеть, что в каждый период преобладали один или два основных цвета. С 11 лет я осознал свое будущее как писательское и до 19-20 лет, до 2-го - 3-го курсов университета еще пытался разыграть карту прозаика, рассказчика. Но все яснее понимал, что моя «проза» — это, как война, лишь продолжение внутренней политики, а политика моя — не образотворческая и не повествовательная, а скорее, мыслетворческая и рассуждательная.

В университете я образовывался как филолог, но основные мои интересы были не к языку, а к литературе, причем именно к литературной теории, так что номинально по специальному образованию и по первым публикациям я литературовед. Но тогда же, в начале 1970-х, я начал писать нехудожественную, рассуждательную прозу, для которой в начале 1980-х нашел, связав ее с Монтенем, правильный термин «эссеистика» — и

даже «эссеизм» как особое направление в культуре, соединение образа, понятия и личного опыта.²³



Авторский вечер в ЦДРИ, 1980

В 1980-е эссеистика/эссеизм выходит на первый план, оттесняя даже литературоведение. Но одновременно зарождается еще один жанр или метод — проективного письма, создания идей, движений, понятий, условных фигур мыслителей, воображаемых энциклопедий и т. д. Среди моих проектов того времени были «Коллективная импровизация», «Лирический музей», «Метареализм и концептуализм», «Постатеизм и новые секты», «Книга книг (учения алфавистов)»...

²³ Впрочем, первые опыты – с 14 лет. Из дневника. 16. 12. 1964. «В конце ноября написал несколько философских этюдов или заметок, не знаю, как это называется».

Как назвать эту специальность, я не знаю: «прожектор» — ругательно, «проектант» — технично, может быть, «проективист»? Тогда же обозначился растущий интерес к лингвистике («Идеоязык» — исследование и словарь, 1982) и культурологии, опять-таки проективной (проект «Транскультура», 1984).

В 1990-е гг., когда я переехал в США и, освободившись от советской профессиональной номенклатуры, сам стал определять круг своих занятий и интересов, на первое место вышла философия, что обозначилось в книгах «Философия возможного», «Проективный философский словарь» и «Феникс философии. Направления советской мысли 1950-1991 гг.» (книга на англ., не опубликована). Тогда же возникла самоидентификация как культуролога: во-первых, потому что такая профессия в 1990-е обосновалась в России; во-вторых, поскольку в США философия понимается гораздо более узко, чем на континенте, то и мой профиль скорее попадал в область «культурных исследований» и «критической теории» (такова, собственно, первая половина моего официального звания: «профессор теории культуры и русской литературы»). Кроме того, в 1990-е гг. моей специальностью стал «постмодерн», не только как литература, но и как целая культурная формация, что опять-таки усилило культурологический момент в моей специализации. В 2000-е гг. начинает преобладать лингвистика, опять же проективная («Дар слова. Проективный словарь русского языка» и множество связанных с ним работ). Одновременно вырисовывается обширное поле, в объем которого попадают все вышеуказанные специализации, — «гуманитарные науки». В некотором смысле я, действительно, могу сказать о себе «гуманитарий», без дальнейших определений. Гуманитарий по охвату предметов, по совокупности интересов, а по методу и подходу — проективист, кредо которого — не описательно-исследовательская, но преобразовательно—конструктивная цель гуманитарных наук. Трансформативная лингвистика, поэтика, лингвистика, философия... — трансгуманистика, транслингвистика, транспоэтика и

т.д. И одновременно — создание ряда дисциплин и подходов, которые не вписываются в ранее очерченные дисциплинарные рамки (гуманология, культуроника, эротология, техносифия, тегименология, семиургия, микроника, тривиалогия, скрипторика и т.д.). Все это сошлось в книге «Знак пробела. О будущем гуманитарных наук» (2004). Таким образом, моя область устанавливается как «гуманитарные науки и технологии», или «гуманитарные науки и практики».

Но если возвращаться к традиционным обозначениям профессий, я с наибольшим правом и удовольствием вернулся бы на филфак и определил себя как филолога, т.е. литературоведа и языковеда по совместительству. И тогда, и впоследствии я жалел, что не прошел через философский факультет, но по тогдашним условиям это было невозможно — факультет был идеологический, туда принимали только по партийной или комсомольской разрядке (а евреям вообще был ход закрыт). Но и теперь, дай мне возможность пройти все сначала, я бы, наверно, пошел в филологию, а не философию. Мне представляется, что филология ближе стоит к тому широкому спектру гуманитарных наук, к гуманистике в целом, чем философия, особенно в ее преобладающем ныне аналитическом изводе. Даже если бы я закончил философский факультет МГУ или, допустим, Сорбонны, все равно в США я считался бы не философом, а специалистом по исследованиям культуры, сравнительной словесности и т.д., т.е. стоял бы ближе к филологии. И дело не только в неоправданном сужении призвания и назначения философии (в англо-американском университетском варианте), но и в том, что филология оказалась шире и щедрее в своих интересах к многообразной, исторически богатой и «неточной» жизни слова и мысли, чем систематическая философия, одержимая еще со времен Декарта, Спинозы и Гегеля методом и анализом логических установок. Филология по какой-то странной прихоти своих исторических судеб оказалась едва ли не более философичной, чем аналитическая философия, а аналитическая философия — более

филологичной, чем филология, более зацикленной на технической и логической стороне языка. Мне ближе филология В. Гумбольдта, Ф. Ницше, В. Иванова, М. Бахтина и С. Аверинцева, чем философия позднего Л. Витгенштейна и У. Куайна. Поэтому с радостью присоединяюсь к выпускникам филфака и повторяю за Ницше «мы, филологи». Может быть, из всех наследий моей юности это филфаковское — самое непреходящее.

Ю Пафосного самоназвания «писатель» я избегаю с юности. Когда в 20 лет, испытав сатори при созерцании костра на снегу, я начал книгу «Мгновенные микроисповеди», в голове у меня был образ белокочанной капусты, отслаивающей смыслы-листы. Но поскольку я не выдержал роль исповедального правдолюбца с пером, то предпочитаю назваться прозаиком — от латинского *prosus*, движение вперед. Вот моя основная профессия — гнать вперед прозаическую строку.

Между тем, по ходу экзистанса, отчасти вынужденно, отчасти по склонности души, освоены и другие, имеющие отношения к искусству слова: помимо прозаической активности, я еще и (дипломированный) машинист-стенографист (что имеет отношение к кинетике слова, не правда ли? Предусмотрительно освоил эту профессию в средней школе). А помимо этого переводчик художественной прозы. С английского, французского и — в очень ограниченном объеме — с испанского. Моими первыми переводами были рассказы Хемингуэя (еще в средней школе пытался превзойти его советских переводчиков) и Нормана Мейлера (рассказы и миниатюры из книги *The Cannibals and the Christians*). Вместе с А. мы перевели в Москве рассказы Сартра из сборника *Le Mur*, и один, самый, как мы считали, проходной, «Герострат», пытались напечатать в «Иностранной литературе», напугав всю тогдашнюю редакцию этого либерально—прогрессивного журнала. В Париже мы перевели программный рассказ франко-английской писательницы-феминистки Николь Вард Жув

«Выдвижной ящик» из сборника «Оттенки серого» (отклоненный эмигрантскими журналами, но впоследствии переданный мной по «Свободе»). Самыми первыми на русском языке были мои переводы «из» (как говорили в старину) Чарльза Буковски, а самым крупным достижением в этой области я считаю перевод дебютного романа Эманнюэля Бова «Мои друзья», начатый нами вместе с Ауророй и законченный мной в одиночестве после нашего развода в Праге. Журналист?



Нурекская ГЭС, Таджикистан. 1973

Эту побочную стезю я начал рецензиями в «Нашем современнике», затем триумфальной (отчасти даже и скандальной, вызвавшей нареkania со стороны парторганов) публикацией в «Дружбе народов» очерка «Главные люди» и рядом менее триумфальных литзаписей и корреспонденций «с мест». Все это представляло для меня интерес как материал для романа о Нуреке, который я не успел написать перед финальным убытием за пределы СССР, где мое журналистское перо прописалось в основных эмигрантских изданиях той эпохи штурма и натиска «третьей волны»: «Русская мысль», «Новое рус-

ское слово», «Континент», «Эхо», «Третья волна», «Посев», «Стрелец»... Радиожурналист. У меня был миниатюрный опыт в Белоруссии, когда на минском радио и телевидении я выступал с чтением своих стихов, но когда после моего интервью «Фигаро» меня в Париже пригласило Радио Свобода, от одного вида микрофона я лишился голоса. Услышит ведь вся страна? Но страх был преодолен, и я проработал на «Свободу» сначала в Париже внештатным обозревателем, затем пижистом, корреспондентом, затем, уже в Мюнхене, штатным аналитиком в области, которую я себе избрал «Политика сквозь литературу». Потом я был редактором отдела культуры, основателем программ «Поверх барьеров» и «Эклибрис», ответственным редактором, затем, в Праге, заместителем директора по той же «культуре». Издатель, наконец, — но это уже Америка, и не кажется ли тебе, что мы давно вышли за рамки «юности»?

ПРОФЕССОРА

Э Воспоминания о профессуре филфака смутные, впечатления неяркие, — сказались десятилетия отрицательного отбора, особенно взыскательного в идеологической преподавательской среде. Гениев, выдающихся лекторов, благодетелей человечества, кумиров, властителей дум — не было, а если из властителей и был один, то звали его Владимир Николаевич Турбин, и о нем — в статье «Учителя».

Все профессора филфака делились на приличных и неприличных, достойных и недостойных, исходя из их научной и политической репутации, причем первых было меньше. Из тех, кто заслуживал уважения, запомнились: Юрий Сергеевич Степанов (ныне академик), читавший нам общее языкознание — высокий, подтянутый, европейски образованный (говорили, что он работал референтом у Хрущева), похожий одновременно на Андрея Болконского и Пьера Безухова; А. В. Карель-

ский, красноречивый и порою пламенный, читавший немецкий романтизм, который впоследствии стал для меня одним из главных истоков интеллектуального вдохновения; А.А. Федоров, вдумчиво, рассудительно читавший зарубежную литературу 20 века — в центре курса стоял его (а впоследствии и мой) герой Томас Манн. Не помню, кто читал курсы по античной и классической европейской литературе (возможно, среди лекторов была и А. А.Тахо-Годи) — эти предметы были важны и увлекательны.

Среди неуважаемых были: В. И. Кулешов, завкафедрой русской литературы, недурной говорун, краснобай, но все больше по административным вопросам, без единой свежей мысли в голове; бесцветнейший П.Г. Пустовойт, читавший середину 19 в., Тургенева и Щедрина, и прозванный «пустоплясом»; декан А. Г. Соколов, ухитрившийся так прочесть нам историю русской литературы конца 19 - нач. 20 вв., что ровно ничего не запомнилось, кроме горделивого придыхания, с каким он, имитируя немецкое произношение, произносил имя «Гейне» («Хайне», очевидно, в связи с Блоком). Был профессор И. М. Нахов, читавший античность, что-то про циников, которых он хвалил за прогрессивность; после урока покручивал на пальце ключи от машины и предлагал проходящим мимо студенткам довести до дома. Вообще отношения такого рода не считались предосудительными, над Наховым посмеивались, но не осуждали и, кажется, не доносили (см. Корректность). Был еще П. Ф. Юшин, специалист по С. А. Есенину и секретарь факультетского парткома. Не помню, что он нам читал и читал ли вообще, но как-то студентом я пришел (чуть ли не по обязательному созыву) на защиту его докторской диссертации по С. Есенину — и помню, как сердито насканивали на него сестры Есенина, резвые старушки, утверждая, что своей диссертацией он выхолостил их брата, да, выхолостил, как здорового, цветущего жеребца (очень сочно и по-деревенски это у них прозвучало).

Я не буду упоминать других профессоров, проходивших перед нами словно в паноптикуме, среди них — смешных и трогательных преподавателей литератур народов СССР, каких-то почтенных азербайджанцев, армян, таджиков. А современную советскую литературу (Шукшина, Белова, Носова, Лихоносова) нам читал В. В. Петелин, который дальше каких-то предварительных подходов — историй, биографий и анекдотов — никак не мог сдвинуться с места. Зато был с нами трогательно откровенен: то на всю Большую Коммунистическую аудиторию объявлял нам, что помолвлен, и в доказательство показывал кольцо на безымянном пальце; то признавался, что сегодня он просто не в настроении читать лекцию, и тут же удалялся. Мне казалось, что он приходил к нам в подпитии, может быть, для храбрости, потому что язык у него ворочался вяло, а порой и вовсе заплетался, но это никого не возмущало.

Были и такие профессора, которые, вне деления на уважаемость/неуважаемость, казались нерелевантными, реликтовыми, хотя по-своему колоритными — воплощениями причудливой архаики. Геннадий Николаевич Поспелов (1899 — 1992) в возрасте 70 лет заведовал кафедрой теории литературы и, в смысле политического поведения, заслуживал уважения — единственный беспартийный завкафедрой на факультете, бывший меньшевик, недобиток «вульгарных социологов», сподвижник В. Ф. Переверзева, во многом оставшийся верным своим убеждениям 1920-х. Он был искренним, убежденным теоретиком, мыслил системно, педантично, «по-немецки», говорил то, что думал, — но что он думал? Он различал с тонкостью до волоса категории «идеологического мировоззрения» и «идеологического мирозерцания», он ссылался, как на высший авторитет, на умершего в 25 лет разночинца-демократа Н. А. Добролюбова, и все его бесконечно издававшиеся труды и учебные пособия были не просто скучны и сухи, они были антилитературны. Их не спасало даже то, что догматика, которую он преподавал, была не спущенной сверху, а его собственной, выношенной и даже выстрадавшей.

Вторым по старшинству на кафедре теории литературы был Петр Алексеевич Николаев, в семинаре которого я провел первый курс, написав работу об отношениях эстетики и литературоведения. Слышу его густой, артистичный, «левитановский» баритон, которым он изрекает, глядя мне в глаза: «Уровень вашего эстетического мышления внушает мне доверие». Таких любезных фраз я вообще-то немного слышал на своем веку, а уж 17-летнему она и вовсе была в новинку. Уровень самого П. А. Николаева, напротив, вызывал у меня недоверие, поскольку он занимался исключительно эстетикой Г. В. Плеханова, который по степени ортодоксальности и безнадежной скукоты уступал только Ленину. Но теперь, окидывая прошлое идеологически зорким взглядом, я думаю: уж не свили ли они там, у себя на кафедре, меньшевистское гнездышко? Не поспеловский ли был выкормыш этот обходительный Николаев, со своей подозрительной тягой к Плеханову, вождю меньшевизма и идейному источнику «вульгарного социализма», разгромленного в 1920-е годы? Значит, и там, и тогда была своя жизнь, свои высокие идейные страсти, ускользнувшие от меня по недомыслию. Может быть, кто-то там втайне, но с риском для карьеры, сражался против ортодоксального ленинизма одним только фактом своей научной преданности Г. В. Плеханову? И не кажутся ли наши нынешние научные страсти, все эти тонкие расхождения между оттенками постмодерна и постструктурализма, столь же нелепыми и тоскливыми первокурснику, который записывается ко мне в семинар?

Еще старше Пospelова, лет восьмидесяти, был Сергей Михайлович Бонди (1891–1983), известнейший пушкинист, знаток и лучший чтец пушкинских рукописей. Этот, в противоположность строгому и педантичному Пospelову, был «божий одуванчик»: на лекциях говорил неизвестно о чем, даже непонятно было, какой курс он читает, просто душевно общался со студентами, а на зачетах гладил их по головке и автоматом

выставлял зачет (кажется, проводить экзамены ему начальство не доверяло, а то бы у всех были пятерки).

О двух профессорах скажу отдельно. Николай Иванович Либан пользовался на факультете прекрасной репутацией, которую заслужил своими обширными познаниями и педагогической щедростью, хотя и был «непишущим» профессором, т.е. за всю свою жизнь не издал ни одной книги и, кажется, даже статьи (в американском университете такое трудно представить). Меня направил к нему В. Н. Турбин после того, как я нагрузил его своей объемистой курсовой — «Теорией новеллы», с которой он, видимо, не знал, что делать, — и решил доверить шлифовку моего незрелого «перла» терпеливейшему Либану. Либан, вместо того чтобы просто прочитать курсовую, предложил мне раз в неделю приходить к нему на кафедру и читать ему вслух страницу за страницей (возможно, он был к тому времени уже не только непишущим, но и нечитающим). Я удивился, но повиновался. Приходил и читал, без особых замечаний и комментариев с его стороны. Неделя, две, три... Наконец дошло до чеховского рассказа «Смерть чиновника». По моей теории, в жанре новеллы господствует случай, судьба, то, над чем человек не властен, — таков спусковой механизм новеллистического действия, в данном случае, чихания чиновника Червякова, невзначай обрызгавшего лысину вельможи. Вот на этом месте Либан меня наконец перебил и объяснил, что на самом деле чихание предотвратить можно, если знать секрет: нужно пальцами пощекотать переносицу — и тогда позыв пройдет. В этом он поручился мне своим медицинским образованием, которое получил еще до филологического. Получалось, что моим выводам по теории новеллы не хватает эмпирической опоры: предотвратить чихание, оказывается, было можно, так что «случай» и «невзначай» здесь не причем. Я так и не понял, было ли это насмешкой, — мне кажется, нет, он был искренно участлив ко мне, но больше я к нему не приходил, решив не тратить ни его, ни

свое время (впрочем, медицинский урок запомнил, и теперь при подступании чиха щекочу переносицу).

Перейти к Либану от Турбина, с которым у меня назревал нежный, вежливый разрыв, не получилось — тогда я попробовал пойти другим путем, не историко-литературным, а структурно-семиотическим. Проблемную группу по семиотике на филфаке возглавлял профессор Александр Григорьевич Волков, о котором был слух как о честном и знающем специалисте, хотя человеку несколько замкнутом и резковатом. (Какое привычное, почти генетически предсказуемое сочетание честности и резкости в людях советской эпохи! — в Штатах никогда такого не встречал). Поскольку лотмановское направление меня уже интересовало, хотя и вчуже, а ближайшей к нему на филфаке (и единственной по семиотике) была эта «проблемная» группа, весной 1970 г. (4 марта) я поехал к Волкову, в Переделкинский санаторий, где он, как ветеран войны, отдыхал или лечился. Он принял меня крайне сухо и недоверчиво, задал пару каких-то контрольных вопросов по истории моих семиотических интересов и исследований (которых я к тому времени, к 3-му курсу, еще не успел провести), — а потом чуть ли не выгнал меня, потряхивая своим инвалидным костылем и крича вслед, что со стукачами и гебней он водиться не намерен. Хорошо помню свое потрясение, когда я шел солнечной талой дорогой и весна мне казалась черной и когда стоял на платформе, ждал электричку и глотал слезы. Потом я слышал, что старик страдал манией преследования, что у него были какие-то нелады с органами.

Это была моя последняя попытка уйти от судьбы, от кафедры теории литературы, возглавляемой Пospelовым. Я попал в развилку между Либаном и Волковым, между бессмысленной доброжелательностью и еще более причудливой враждебностью. Хода назад, в турбинский семинар, мне не было: туда попадали многие, но оставались только «свои», которые определялись непонятно чем, — по запаху, вкусу, каким-то неуловимым, почти биологическим или мистическим приметам.

Например, своими оказались бородатый компанейский гитарист Володя Сидоров и его подруга, неприметно-опрятная, тихая Таня Дерюгина. И не то, чтобы Турбин меня изгонял, — ради моего же блага он предоставил мне свободу ухода, зная, что мое место — не с ним, не у него. И сам я понимал, что мне не место в семинаре, где все «по-бахтински» называют жанром и где в связи с Раскольниковым обсуждают «жанр топора» в русской литературе (теперь это столь же универсально назвали бы «концептом»). И тогда я вернулся на кафедру теории литературы, к доброму, открытому, внимательному, ответственному Валентину Евгеньевичу Хализеву, учителю по званию (см. УЧИТЕЛЯ). И хотя ему, вместе с Пospelовым, не удалось выиграть битву у парторга Юшина и оставить меня аспирантом при кафедре, я благодарен судьбе за этот выбор.

Ю Благодаря «пятерке», поставленной этим самым одиозным Юшиным (к которому, дабы поддержать «хорошего человека Юрьенена», добрались от Юрия Павловича Казакова) я и набрал свои 19 баллов на вступительных. Но более с ним не пересекался — как ни с кем из других профессоров. Могу вспомнить только «славяноведа» Никиту Ильича Толстого, правнука графа: единственный из профессоров, у которого я был дома в старой Москве, где-то в районе Софийской набережной, где такие улицы, как Балчуг, как Ордынка; правнуку было 50, по совету врача он как раз бросил курить (благодаря чему мы встретились и еще раз — через 25 лет в ФРГ, в Регенсбурге, на сессии МАПРЯЛ, которую я «освещал» для своей подрывной радиопрограммы). Я посещал семинар «толстоведа» М. Зозули, но он был замдекана по учебной работе. Говорили о его связях с площадью Дзержинского, но, кроме того, что он был комендантом немецкого города (согласно информации под портретом на Доске ветеранов), ничего не знаю. Он исключительно благоволил к Сереже Бобкову и вполне возможно, что был «наш человек в МГУ». Незлобивый при этом дядька. Меня слушал

сквозь сонливую пелену доброжелательного равнодушия, но неизменно хвалил за привлечение иностранных источников и ставил «отлы».

Вообще же с профессорского уровня, *ex cathedra*, на меня крайне редко слетали живые, я не скажу тут анти — просто внесоветские слова. Ну да, «античка» Тахо-Годи. Еще один профессор, забыл фамилию — Федоров? — специалист по зарубежной литературе, который по возвращению из ФРГ своей безбоязненной лекцией восстановил для нас реальный образ западногерманской литературы. И конечно, Бонди Сергей Михайлович, который перед тем, как поставить зачет, горько мне жаловался, даже местами плача, что его, 80-летнего, не выпускают к родным во Францию. (Скажи, садизм? А ведь был «обыкновенным», этот госсадизм. Как норма жизни...) Ты вспоминаешь кинизм латиниста Нахова, крутившего ключи на пальце, а я их видел «на моем конце», в общежитии, не Нахова — других ловеласов служебного положения, еще более пожилых и даже лысых профессоров общих наук вроде марксизма—ленинизма, прокладывающих путь в девичьи комнаты.

Нет сомнения, что были в МГУ фигуры, достойные всяческого уважения, но о них я знал лишь понаслышке. Не мой опыт. Не мое видение этой массы неважно выглядевших и одетых тетей и дядей, чьи подлинные интересы видимо расходились с наукой филологией; впрочем, мои тоже...

См. ВЛИЯНИЯ; УЧИТЕЛЯ

ПУБЛИКАЦИИ

Э Первое мое опубликованное сочинение — кроссворд, торжественно вышедший в журнале «Путь и путевое хозяйство» (1963, 4), когда автору только исполнилось 13 лет. Почему в столь ведомственном журнале? Мама моя работала в издательстве «Транспорт» и показала знакомому редактору. Я в то время увлекался кроссвордами, не столько разгадкой, сколько составлением, но после этой первой публикации увлечение прошло. Потому ли, что не люблю повторяться? А может быть, потому, что на мою авторскую совесть легла первая травма: в названии иракской (и райской) реки «Евфрат» я допустил ошибку, пропустив букву «в»: «Ефрат», что не преминул заметить мамин сослуживец, споткнувшись при разгадке о недостающую букву. Мне было очень стыдно, и царапинка эта саднит до сих пор (совесть и память — сестры). А может быть, это была ошибка по Фрейду, учитывая несносное буквосочетание «ев» с нарастающим вслед рвотным, душевыворачивающим «р» (см. ЕВРЕЙ) — и, пропустив «в», я сделал себе маленькую поблажку?

Моей второй публикацией, уже в 16 лет, была статья в газете «Московский комсомолец» под воинствующим названием «Карьерист в ажиотаже». В то время газета, помня о своем названии, иногда предоставляла слово старшеклассникам. Я только закончил 9-й класс и был в раздумьях о выборе профессии, грезил о романтике, о бригантинах с алыми парусами, готов был на худой конец даже сделаться шофером, чтобы прикатить из Анадыря в Ташкент в гости к девочке, которая мне тогда нравилась, и покорить ее своей сибирской, кочевой удалью. Страшнее всего мне представлялся оседлый образ жизни, который вело большинство нормальных людей, включая моих родителей. Вот об этом и статья, которую я посвятил критике мещанства, а чтобы заострить ее социально-критическое жало, редакторы переименовали «мещанина» в «карьериста».

С 1973 г. я стал публиковаться в «Вопросах литературы», в отделе теории, которым заведовал Серго Виссарионович Ломинадзе, — я многим обязан ему, как своему первому (да по сути и последнему) системному редактору. Сотрудничество с ВопЛЯми продолжалось до конца 1980-х гг., и как ни суди, в эти два десятилетия, 1970-е — 1980-е, он был лучшим советским гуманитарным журналом, более широким, толерантным, читаемым и почитаемым, чем «Вопросы философии». В нем печатались С. Аверинцева и П. Гайденко, которым в идеологически более оцетиненных философских изданиях места не было, — а по линии литературы/литературоведения это проходило. Моя первая крупноформатная статья «Критика в конфликте с творчеством» (1975), как и вторая «Сексуальная революция в литературе Запада» (1976), вызвали резонанс в профессиональной среде, и по тем геронтократическим временам 24-25 лет считалось очень ранним дебютом (чему сейчас трудно поверить).

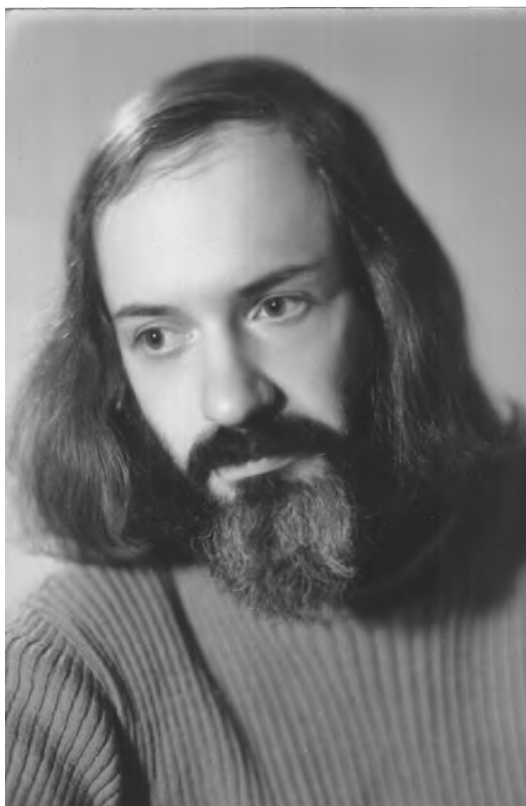
Одновременно с 1972 г., с последнего курса филфака, стали выходить мои статьи в Большой Советской и Краткой Литературной Энциклопедиях и других энциклопедических изданиях, где я сотрудничал с Николаем Пантелеймоновичем Розиным: «Конфликт», «Новелла», «Психоанализ в литературоведении» и т.д. Это было первым опытом «энциклопедизма», который впоследствии перерос в неортодоксальные труды в этом жанре: «Новое сектантство» (1984-88), «Книга книг. Словарь-антология альтернативных идей» (1984-88), «Философский проективный словарь» (2003), «Дар слова. Проективный лексикон русского языка» (2000-) — и, наконец, вот в эту «Энциклопедию юности» (2004, 2009). С 1975 г. началось сотрудничество с «Новым миром», где меня приветил ехидно-добрый и диссидентски мыслящий Виктор Исаакович Камянов (а завотделом критики В.М. Литвинов ему не препятствовал).



Начинающий литературовед. Период первых больших статей в «Вопросах литературы»

«Вопросы литературы», «Новый мир», «Советская энциклопедия»... Таких либеральных мест в журнально-издательской системе было немного, но они были хорошо очерчены, относительно устойчивы, и в них можно было, под несколькими защитными словами, проводить свою теоретическую линию. В первой половине 1970-х это удобнее всего было делать в форме изложения и критики западных идей — в этом формате тогда работали любимые мною Сергей Аверинцев и Пиама Гайденко, и я тоже в него вписался. В эти же годы я написал единственную в своей жизни рецензию — ее заказал параллельно мне и моей сокурснице Ольге Седаковой для «Детской литературы» Валентин Масловский (в библиографии О. Седаковой эта рецензия на книгу Г. Галаховой, видимо, тоже идет одной из первых). Рецензий я не пишу в принципе, как и вообще не люблю «критического дискурса», когда критик судит и оценивает продукт, выданный писателем.

По какому праву? — разве, он, критик, талантливее и мог бы написать роман или стихи получше?



*Фото автора из первой книги
«Парадоксы новизны» (1988)*

Мой жанр, сложившийся к середине 1970—х, — это проблемная статья, которая не судит и не оценивает, но пытается понять, а по возможности, и предложить или предсказать литературный прием или направление. Я не считаю себя ни критиком, ни историком литературы, но теоретиком, а еще — проектантом (может быть, и профессия мамы, работавшей в плановом отделе издательства «Транспорт», оказалась пророческой?). Если история — о прошлом, критика о настоящем,

теория о вечном, то какой же раздел литературоведения обращается к будущему литературы? Вот здесь и возникает перспектива четвертого раздела литературоведения, к которому я тоже себя отношу, — прогностика, креаторика, эвристика, конструктивная и проективная поэтика литературы.

Ю Первой публикацией стало стихотворение под названием «Сентябрь на станции Вязинка» — в «Немане» (8, 1966), единственном русскоязычном «толстом» журнале в республике моей эмиграции.



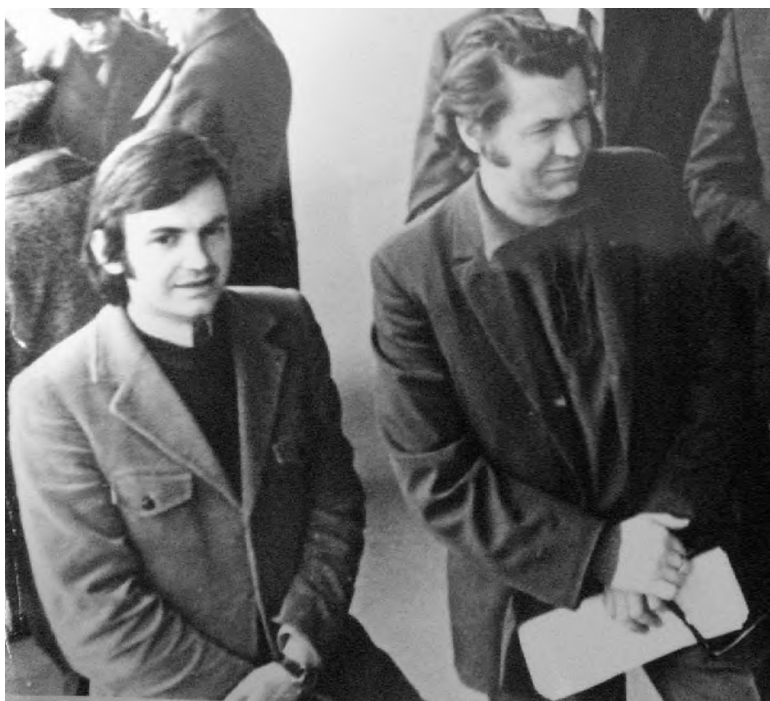
Этому дебюту предшествовали 6 лет одобрительных отказов из московских газет и журналов и тщетных попыток Юрия Казакова напечатать мои рассказы. Вдобавок я целый год ждал этого номера, «посвященного молодым». Публикация состоялась уже во «взрослой жизни», когда, «не добрав баллов» в МГУ, я с позором вернулся в Минск и стал заочником журфака БГУ. А ведь появился в редакции — таковы были со-

ветские сроки — еще школьником, с толстой папкой поэзии (все, написанное с 12 лет!), прочитанной предварительно отцом приятеля, белорусским писателем Рыгором Нехаем (это в его кабинете я узнал о существовании 90-томника Толстого, а главное входящего туда Дневника, в котором некоторые места — как слово *малафья* — подчеркивались карандашиком). Чужой отец читал при мне вслух мою поэзию, бил себя по колену: «Во дает!» — а после перенаправил к «сидевшим» в «Немане» поэту Брониславу Спринчану и критику Георгию Березкину, сидельцу-антисталинисту. Спринчан еще в 1965 году обратил внимание на мои стихи, с которыми я выступал по республиканскому радио и телевизору, о чем вспомнил, подойдя ко мне, десятикласснику, в фойе Дворца профсоюзов, где в мае 65 года проходил V-й съезд писателей Белоруссии (памятный выступлением Василя Быкова против цензуры, мной лихорадочно застенографированной и впоследствии распространяемой среди свобомыслящей минской молодежи). На съезд меня, школьного поэта, отправил директор нашей 2-й школы, официально удостоверенный поэт Уладзимир Ляпешкин, вручив свой пригласительный билет. Иными словами, школьник не школьник, но входил в редакцию «Немана» я не совсем новичком, а встречен был более чем радушно — с уважением — не только свежесваренным чаем, но и водкой. Я отказался, разумеется, и никто не настаивал, потому что я был — повод выпить. Выходил оттуда, тем не менее, весь взмокший под свитером — после коллективного чтения моей поэзии, головокружительных разговоров о том, что можно выпускать сборничек, и вызова редакционного фотографа, который снимал меня по-настоящему, на фоне белого экрана.

Переходя на прозу, я сжег все стихи, так что от всего периода в 6 пламенных лет осталась только пейзажная лирика, выбранная по причине «легкопроходимости» — начинающий русский отдавал дань Купале.

Это был, разумеется, фальстарт. Как и все последующие советские публикации. За настоящим дебютом — тут Аксенов В.П. был прав — автор вынужден был отправиться в Париж.

Но, так или иначе, даже следующей советской публикации пришлось ждать мне долго, до 1974 года, и была она, увы, в рецензионном жанре. Тут своя история. Осенью 1972 года, когда А. забеременела, я испытал большой креативный подъем, и в декабре того же года принес в журнал «Наш современник» (почитаемый мной тогда за «Люблю тебя светло», повесть, которую Виктор Лихоносов посвятил двум асоциальным Юриям — Казакову и Домбровскому) результат — рассказ «По пути к дому». В отделе прозы меня встретил не по-московски доброжелательный сотрудник Анатолий Курчаткин. Прочитав, обнадежил, причем, столь уверенно, что я тогда написал бабушке в Питер — через несколько месяцев, мол, твоего внука «узнает вся мыслящая Россия».

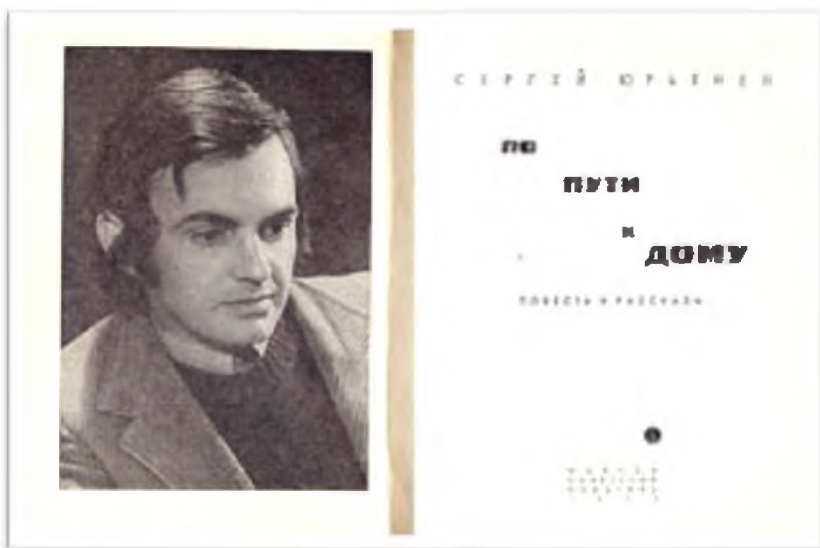


Сергей Юрьенен, Анатолий Курчаткин. V Всесоюзное совещание молодых писателей. Москва, гостиница «Юность», 1975

Но Россия мыслила по-разному, и после долгих проволочек начальник отдела прозы, смущаясь, заявил, что рассказ прочитан «в верхах» и отклонен по причине «стилистического несоответствия с направлением журнала». Зато обнадежил в смысле повести «Пятый угол», которую я успел принести вдобавок, и предложил написать рецензию на новинку издательства «Современник» — «Зерна», дебютную книгу прозы Владимира Крупина. Рецензию взяли, и другую тоже. А потом речь зашла о штатной работе. Я был приглашен на рандеву с главным редактором. Сергей Викулов, при котором от либерализма в журнале не осталось ни следа, слыл человеком, который «под наганом не дрогнет». Ему, видимо, нужно было визуально подтвердить свое мнение о «стилистическом» несоответствии молодого литератора с фамилией на — *нен*, которому, по его мнению, лучше попытаться счастья в «Дружбе народов». Возвращена была Екимовым и повесть: «Глумление над образом отца...» От ворот поворот. Впрочем, и Анатолия Курчаткина оттуда «ушли». Журнал решительно разворачивался навстречу боям за «русскую идею».

Мои первые публикации, действительно, состоялись в либеральной «Дружбе народов», хотя прозу отвергли и там: «Много пьют... солженицынские интонации...»

Прозу впервые опубликовал Анатолий Курчаткин, когда возглавил отдел прозы журнала «Студенческий меридиан» — и повесть «Пятый угол» (под псевдонимом «Память сердца»), и рассказ «Кормилец», за который я получил первую премию Всесоюзного конкурса на лучший рассказ о советском студенчестве. Все это (вместе с прочей литературно-общественной активностью или злонамеренной симуляцией оной) проложило путь к первой книге.



«Споровился издать», — выразился Аксенов, превознося до небес в эмиграции мой роман «Вольный стрелок». Но задевшее меня словечко где-то соответствовало истине, поскольку элемент авантюризма в рывке к свободе, конечно же, присутствовал. А как было иначе? В ситуации обложенности стукачами?

Редактором книги стал писатель Владимир Семенович Маканин, благодаря которому мой сборник «По пути к дому» вышел всего лишь с двумя-тремя поправками, сделанными мной по требованию Главлита, в издательстве «Советский писатель» в марте 1977-го — за полгода до убытия во Францию. Я вез авторские экземпляры на заднем сиденье такси, две тяжелые пачки, при этом со всей остротой испытывая взаимоисключающие чувства — удовлетворение от конкретного результата своей юности и сознание того, что юность мне погубили, непростительно задержав «дебют».

См. ПИСАТЕЛЬСТВО, ПРОФЕССИЯ, ФИЛФАК

ПУТЕШЕСТВИЯ

Э Поражает бедность моих путешествий. Мои дети успели к юности объездить полмира: почти всю Европу, пол-Азии, часть Латинской Америки, не говоря уж о Северной Америке и России. А я... Мое первое путешествие состоялось, навстречу Радищеву, из Москвы в Ленинград, только когда мне исполнилось 13 лет. Второе – из Москвы на Украину в 17 лет (подарок мамы к окончанию школы и поступлению в МГУ).



С Наташей и тетей Фирой, родственниками из Ташкента, в городе Глухове (Украина). 1967

Только в университете, благодаря фольклорным экспедициям, я открыл для себя российскую глухомань. Лето 1967 – север Карелии, около Полярного круга – селения Чупа, Лоухи; а также Петрозаводск, Кемь, Соловки. Летом 1968, когда я уже стал руководителем подотряда и разъезжал самостоятельно или в сопровождении двух девочек, – Архангельская область, деревни вокруг Вельска и Каргополя. Эти поездки, особенно первая, навсегда остались во мне смесью света, воды и земли, призрачную ясность и таинственность которых невозможно передать. А фольклорная моей специализацией, между прочим, были не какие-то там почтенные былины или сказки, а частушки, в основном матерные, которые хриплыми голосами напевали мне матерые бабы, с недоумением глядевшие на нетронутого еврейчика, аккуратно записывавшего их похабщину. Я выбрал этот жанр за возможность приобщения, хотя бы филологического, к настоящей, взрослой жизни.

Позже, с последнего университетского лета (1971), я стал осваивать курорты: Прибалтику (особенно Юрмалу), Крым, Кавказ, но нельзя сказать, что сблизился с их природой, которая осталась для меня декорацией. Скорее, это были вылазки в летнюю молодежную жизнь, с поиском приключений, редкими удачами, томлением, одиночеством, неуверенностью в себе. И только в 1976-79 гг. удалось проехать по всей российской шири, точно по Пушкину, «от Перми до Тавриды, От финских хладных скал до пламенной Колхиды». А именно: от Урала до Карпат; от Вологды и Феропонтова до Дагестана, Грузии и Армении; от Свердловска до Ужгорода; от Уфы до Одессы и Кишинева.



Кавказ. 1976

Тогда я освоил великое искусство автостопа и общения с незнакомыми людьми, которые приглашали на ночлег. И впервые понял, что народное радушие и гостеприимство, несмотря на жуткие уроки классовой борьбы и массовых репрессий, подозрительность, въевшуюся в плоть и кровь, - это все-таки не фантом романтического народолюбия. Впрочем, собственно России в этих путешествиях почти не оказалось, мы, словно Веничка Ерофеев, никак не попадавший в Кремль, в середину столицы, - никак не попадали в середину страны, а невольно, словно зачарованные, объезжали ее по краям. Север, Урал, Кавказ, Закарпатье... Ни разу не попали ни на рязанщину, ни на тульщину, ни на курщину, ни на орловщину, да и никто из знакомых там никогда не бывал, сторонясь заведо-

мой убитости и разоренности этих мест. Разве только проехали по Волге, которая своей тоскливой степью прояснила, отчего все народные мятежи и революционные вожди (разинщина, пугачевщина, саратовский Чернышевский, симбирский Ленин) накатывались оттуда, движимые духом пустоты.

Ю Маршрут самого первого моего путешествия повторил инерцию генетически заданного предками движения на Восток, только разница была в том, что я совершил его вынужденно, в форме полуторамесячного спеленутого свертка: Франкфурт-на-Одере—Москва—Ленинград. Вполне судьбоносное путешествие: родившемуся в Германии осознавать этот факт предстояло уже в России. Несколько последующих лет были ограничены Ленинградской областью (Бернгардовка, Репино, Лисий Нос, Гатчина, Никольское), но как только мне исполнилось 7 лет, грянуло очередное судьбоносное, превратившее меня в русского эмигранта внутри БССР: Ленинград - Гродно. Из Западной Белоруссии рокадной дорогой меня возили в Литву — впрочем, не далее Друскининкая (*Друскеник*, говорили тогда).



Русские и местные. Литва. 1955

В 1957 отчим перевез нас в Минск, и летом того года я увидел Черное море, Кавказ, Сочи, Пицунду — Абхазию, Аджарию, что повторилось и на следующее лето 1958-го, включившее также Украину — Киев, Харьков, Коростень и деревню Ключи. В 1959 году — Латвия, Рига и Рижское взморье, затем Литва и Вильнюс. Мое русское самосознание поддерживали постоянные, по два раза в год, поездки в Ленинград, куда я подумывал вернуться в качестве студента.



Рига — Минск. 1965

Зимой 1964 года, однако, я увидел и Подмоскovie, Солнечногорск, и Москву, а в ней МГУ на Ленинских горах — «Вернись в Россию именно сюда!» Затем, в 16 и 17 лет, два лета я провел в Новгородской области, в местах, откуда бабушкин род Грудинкиных, — Залесье, река Яймла, деревня Ручьи (где на погосте старинной, XVIII века, церкви Георгия Победонос-

ца могила Велемира Хлебникова), Крестцы, городок, который, по легенде, заколдовал от вражеских нашествий мой предок Сергей по бабушке, и где учительствовал Сологуб, Старая Русса, где писались «Братья Карамазовы»... В 1967 году я, наконец, осуществил свое возвращение «в Россию» — в Москву. Долгое время был вписан в треугольник Москва — Ленинград — Минск, который разрывал ради «Боруссии» (Калининград-Паланга) (1968), Таджикистана (1974-75), «витрины социализма» Венгрии (1975) и, наконец, «капстраны» Франции, где в первый раз я провел 60 суток жаркого лета 1976 года, а из второго раза не вернулся.

ПУШКИН

Э Незадолго до своего 30-летия, уже прощаясь с молодостью, я обратился к Пушкину как своему ровеснику и заново перечел «Маленькие трагедии», написанные тоже на рубеже тридцатилетия, болдинской осенью 1830 г. Вот это толкование, перекинутое аркой через полтора столетия (от 1980 к 1830):

«Четыре «Маленьких трагедии» Пушкина составляют, по сути, одну большую, где в сквозном конфликте сталкиваются огонь и холод жизни: страсть и рассудок, юность и старость, беспечность и скупость, гений и знание, — и где под разными масками действуют два героя, вечных противника. Один: Дон-Гуан — Моцарт — Альбер — Вальсингам — щедрый, вдохновенный, мятежный, пылающий; другой: Командор — Сальери — Барон — Священник — охлажденный, разумный, предусмотрительный, трудолюбивый, бережливый, карающий. Тут, на рубеже 1820-30-х годов, в болдинскую осень, на рубеже лета и зимы, столкнулись два Пушкина: один из юного, кипящего прошлого, другой из старческого, охладевающего будущего. Столкнулись в самых острых и животрепещущих темах: творчество или мастерство; любовь легкая, переменчивая или

законная, супружеская; расточительство — или сбережение; кощунство и богохульство перед лицом смерти — или благочестие и смирение. И хотя всем сердцем Пушкин за молодость и удальство — но разумом предвидит тяжкую расплату и признает справедливость и старческих доводов. Маленькие трагедии — это сердцевина всего творчества Пушкина, это художественное выражение величайшей трагедии его и всякой человеческой жизни: переход от юности к старости и столкновение двух норм поведения, двух идеалов: вольной жизни и стеснительного рассудка.

Пушкин поторопился умереть до старости, потому что испугался вдруг превратиться в Статую, грозного Командора, карающего легкомысленного Дантеса—Дон-Жуана, в котором Пушкин узнавал себя — молодого».

Ю А мы вот, похоже, не боимся. Во всяком случае, ведём с нашей юностью диалог не посредством пресловутых стволов Лепажа. В безумно горящие глаза ее вглядываемся с должным уважением.

Э Вот еще одна запись 15 февраля 1980 г. (незадолго до моего 30-летия).

Последнее стихотворение Пушкина тоже о прощании с юностью. *«От меня вечор Леила Равнодушно уходила. Я сказал: «Постой, куда?» А она мне возразила: «Голова твоя седа». Я насмешнице нескромной Отвечал: «Всему пора! То, что было мускус тёмный, Стало нынче камфора». Но Леила неудачным Посмеялася речам И сказала: «Знаешь сам: Сладок мускус новобрачным, Камфора годна гробам».*

Это стихотворение не пользуется особым вниманием и известностью. Помещайся оно в середине тома, так и мы бы прошли мимо него: мало ли у Пушкина всяких мелочей, набросков, переложений, антологических подражаний. Но тут пройти мимо никак нельзя, потому что идти некуда: дальше ничего нет - обрыв, белая страница, конец. И даже если это

пустяк, то здесь, на границе книги, на границе жизни, он вырастает в значении: тут можно прочитать последнюю волю Пушкина. Или даже предзнаменование его скорой гибели.

Согласно историко-литературному комментарию, это стихотворение было написано Пушкиным в подражание некоей арабской песне, найденной им в прозаическом французском переводе некоего Ж. Агуба. Эта множественность инстанций, которые пришлось миновать вдохновению поэта, дабы достичь своих целей («подражание переложению»), казалось бы, отрицательно свидетельствует о результате: вылилось-то стихотворение не из души, а из каких-то сомнительных по своей чистоте источников. Но, с другой стороны, если уж Пушкин извлёк тему стихотворения из столь инородных культурных пластов, значит, очень насущна была для него эта тема. Ведь какая нужна жажда, чтобы потянуться к столь дальнему источнику, пренебрегая близкими, многократно питавшими! То, что Пушкин вдохновился арабской песней во французском переложении, не снижает, а увеличивает для нас духовную значимость такого целенаправленного выбора — не про осень написал и не послание к Чаадаеву, а про что-то внешне очень неблизкое, и значит внутренне особенно притягательное.

И если с этой точки зрения взглянуть на «Леилу», то в ней мы найдём весь скорбный итог пушкинской жизни, формулу его трагедии. Писал бы Пушкин прямо о себе, о Гончаровой, о Дантесе — вышло бы подробнее, своеобычнее, но общий смысл трагедии мог бы затемниться обилием житейских мелочей, личных переживаний; а тут, через обращение к арабской песне, смысл очищается и обретает всечеловечную остроту. Сама отвлечённость этого стихотворения, столь напоминающая легкомысленную лицейскую лирику («Леила» — столь же условное имя, как юношеские «Хлоя», «Лиля», «Лилета» и пр.), на сей раз обусловлена не отсутствием личного переживания, но такой его остротой и ранимостью, которая, дабы проясниться и поэтически возвыситься, требует обобщённого своего выражения. Ведь речь идёт о самом главном

и больном для Пушкина в этот период: о любви и старости. Леила уходит «равнодушной» от своего возлюбленного, потому что «голова его седа». Он пытается удержать её, ссылаясь на вечные законы жизни, — но именно по этому-то закону превращения молодого в старое, мускуса в камфору, она и не хочет больше ему принадлежать. Тут сталкиваются как бы два момента в воззрениях Пушкина. Первый — что ход жизни необратим и благословен, что следует примиряться с неизбежностью постарения и гибели всего живого. В стих. «Брожу ли я вдоль улиц шумных» Пушкин смиренно принимает круговорот времён, как и в написанном незадолго до гибели «Вновь я возвратился...». «Здравствуй племя, младое, незнакомое, не я...» Таково отношение Пушкина к смерти: непротивление, приятие молодого, идущего на смену. Но силы собственной молодости, не остывшие в нём, бунтовали против этого кроткого воззрения на ход жизни. Как поэт-классик Пушкин смиряется с неизбежностью смерти, но как поэт-романтик он восстает против замкнутого, цикличного хода времён в надежде на вечную молодость. Отсюда и этот неожиданный срыв в «Евгении Онегине»: начав превозносить духовное соответствие человека своему возрасту: «Блажен, кто смолоду был молод, / Блажен, кто вовремя созрел», Пушкин заканчивает саркастическим выпадом против такого «блаженства», возрастного циклизма как удела пошлых натур, приспособленцев к ходу времени, не только историческому, но и биологическому. И дальше идёт элегия совсем уже в романтическом роде: «Но грустно думать, что напрасно / Была нам молодость дана, / Что изменяли ей всечасно, / Что обманула нас она». Умиротворённое приятие хода жизни — и вместе с тем восстание против него.

Вот это сочетание и сказалось в «Леиле». Влюблённый, пытающийся её удержать, говорит в своё оправдание примерно то же самое, что «Блажен, кто смолоду был молод»: «Все-му пора! То, что было мускус тёмный, стало нынче камфора». Но эта всевозрастная умиротворенная мудрость оказывается

глупой в глазах молодой и вечно наступающей жизни. Ведь если мускус превращается в камфору, то, значит, нужно и держать себя с достоинством возраста: не призывать обратно молодости, но готовиться к смерти. «Камфора годна гробам». Трагизм заключается именно в том, что единичный человек есть лишь чёрточка, отрезок в вечном круговороте жизни, и чем более он приемлет его в целом, тем более уничтожается, стирается им, как отдельность. И философски принимая неизбежность старости, Пушкин не может отказываться и от молодости, от любовной горячки; он хотел бы совместить добродетель умудрённой старости и прелесть влюбчивой юности, но это никому не дано. И отсюда разрыв между классически ясным и светло-мудрым миропониманием Пушкина — и болью отдельной личности, всегда правой и неправой в своей защите романтической юности.

Ю Мы с тобой, во всяком случае, не апологию нашей юности созидаем. Пытаемся представить *as was*. Отец мой, по имени Сергей, предполагал, и даже завещал на смертном одре назвать меня «Александр» — чтобы впоследствии, с патронимом, звучал я как Пушкин — в честь Пушкина (лучшего, талантливейшего поэта сталинизма — вместе с Маяковским, который был пожизненным любовником сразу двух прабабушек моей любимой американской жены).

Но в память отца меня называли его именем.

С моей юностью Пушкин никак не рифмовался. Это все было детство-отрочество. Просьбы к маме сделать карточку кубиками: «Как Пушкин любил!» Радость от ритмов и рифм: «Румяной зарею покрылся восток...» Я не вполне понимаю энтузиазма, с которым занимается пушкинианой наш общий знакомый, разменявши восьмой десяток. В этих музыкально-декламационных отпеваниях по мотивам черновикиков слышится что-то неправильное и даже зловещее: то ли плач, то ли заклинание безвозвратного огня, сожравшего жизнь.

Тем не менее одну пушкинскую фразу в юности повторял и я. Нет, не про «теплую шапку с ушами»²⁴ (несмотря на фрейдистскую точность пушкинского замечания). А о том, что «юность не нуждается в at home». Этим я как-то укреплялся в мире своей юности: ведь советская моя юность была именно, что бездомной. Постоянную московскую прописку и квартиру на Трифоновской мы с А. получили за полгода до безвозвратного отъезда из Союза. А до этого были только «койко-места», углы и съемные квартиры.

²⁴ Пушкин – Вяземскому. Из Михайловского в Москву. Вторая половина (не позднее 24) мая 1826 г. «...Правда ли, что Баратынский женится? боюсь за его ум. Законная - - - - — род теплой шапки с ушами. Голова вся в нее уходит. Ты, может быть, исключение. Но и тут я уверен, что ты гораздо был бы умнее, если лет еще 10 был холостой. Брак холостит душу. Прощай и пиши».



РАБОТА

Э По обязательному для тех времен распределению, закончив филфак МГУ, я должен был пойти в московский НИИ строительства и архитектуры, составлять Тезаурус строительных терминов (что меня тогда не прельщало, хотя — вот парадокс! — жанр тезауруса в конечном счете вытеснил в моем мышлении жанр новеллы). Помню, что на процедуре распределения я выразил робкое несогласие, указав, что рекомендован кафедрой в аспирантуру, — но такое своеволие был столь неслыханно, что укрепило «антиэпштейновские» позиции парторга П. Юшина. Пришлось согласиться с распределением, подписать.

Но когда я пришел в НИИ, меня туда не взяли, поскольку в выпускном 1972-м году национальный вопрос опять накалялся в связи с началом еврейской эмиграции. Делать мне было нечего. Мама устроила меня на жалчайшую должность помощника корректора в свое издательство «Транспорт», где работа моя состояла в том, чтобы выдергивать листы с фашистским флагом и свастикой из книги «Флаги государств мира». Включение этого флага в книгу было признано идеологической ошибкой, но уничтожить тираж всего дорогостоящего художественного издания было накладно, поэтому ограничилось выдергом одного листа и вклейкой другого (не помню какого, то ли Папуа, то ли Гренландии). Каждый день приходил в служебную каморку со стопками этих альбомов, пока за 3-4 месяца (с ноября 1972 по февраль 1973) не оприходовал весь тираж, все 20 тыс. экземпляров. После этого меня уволили, а

я без блата, но по большому везению устроился внештатным преподавателем на подготовительные курсы Московского энергетического института, где проработал с 1973 по 1976, в компании веселых и умных филологов, которые стали моей дружеской средой: Саша Бокучава, Саша Николаев, Аня Рудник, Нина Константинова, Лена Полтавец. Все эти годы я днями сидел в библиотеках (Ленинской и Иностранной), читал, писал, а вечером ездил на подготовительные курсы и читал лекции по русской литературе и языку старшеклассникам и будущим абитуриентам. Средством же проживания у меня, как и у большинства моих коллег, было репетиторство, которым я занимался по выходным дням вплоть до отъезда из СССР в 1990 г., поскольку другого заработка моя профессия не могла мне обеспечить (подготовительные курсы были только малым приработком и средством легализации против обвинений в тунеядстве).

Ю В 18 лет с меня и моей, прошу прощения, утренней эрекции сорвали одеяло и отправили в трудовую жизнь — «кто не работает, тот не ест», тем более что студент-заочник. В конторе новосозданного в Минске Института нефти я готовился к экспедиции, изучал дальномеры, что-то чертил, переводил американские нефтяные журналы, а заодно сочинял «Записки из полуподвала». Битову понравилось название, он написал, что у него есть текст «Записки из-за угла» (что было, конечно, поострей). Потом я был взят (ближе к дому) в Областной архив на должность архивариуса. Чтобы получить эту работу, пришлось по требованию директора и парторга сбрить первую бороду (выращенную в знак отождествления с поколением моих американских сверстников). В ответ на запросы трудящихся я должен был составлять справки о трудовом стаже. «Архивный юноша» получил доступ к сокрытой от глаз реальности — к эмигрантской доверенной прессе, к коллаборационистской, периода немецкой

оккупации, к книгам МТС послевоенного периода. Я исписывал записные книжки сюжетами, которые, возможно, вдохновили бы Василя Быкова; но материал, конечно, был «не мой».

В 1969-71 годах, студентом, когда я привез в Москву Лену, выкрав в целях спасения «из болота», мне снова пришлось зарабатывать. Я работал на отдел писем журнала «Крестьянка», который находился в «правдинском» комплексе у Савеловского вокзала; получая деньги, мы с Леной согревались кофе с молоком в кафетерии напротив. Ответ на письмо — рубль. Но скоро мне стало казаться, что я живу в стране, поголовно охваченной патологической графоманией, что только подтверждало антисоветское суждение: «Больное общество», услышанное накануне в ЦДЛ, на чествовании Трифонова по поводу публикации в «Новом мире» первой повести его московского цикла «Предварительные итоги».

В качестве ночного сторожа сначала я подменял знакомых студентов, подрабатывающих на стройках и в конторах, затем получил работу сам — и в месте невероятном, в «Комитете по делам религий при Совете министров СССР» на Зубовском бульваре. Воистину инфернальное место — и ключи от всего.

Первая литературная работа — корреспондентская, очерково-журналистская — нашла меня сама, когда в 1973 году из либерального журнала «Дружба народов» позвонил подрабатывающий там преподаватель нашей Литстудии Юрий Скоп: «Не хочешь ли слетать в Таджикистан, на Нурекскую ГЭС? Булат Окуджава должен был, но, оказалось, что Булат не летает. Да, вот так... Не летает Булат!» Я рискнул вместо Булата, не разбился, и летал еще несколько раз в «гнилое подбрюшье», ездил в Белоруссию, работая корреспондентом, редактором, затем заместителем начальника отдела очерка «ДН». Я ушел с этой замечательно-познавательной работы еще до того, как был принят в Союз писателей, — после первой поездки во Францию летом 1976 года. Я принял тогда решение, что если удастся выехать еще раз, я больше не вернусь, и не хотел «подставлять» редакционный коллектив. (Тщетно! Сра-

зу туда и явились по моим следам. Прошу прощения. Что мог я сделать еще для вас, мои коллеги...²⁵⁾

РЕЛИГИЯ

Э Мое невежество в области религии в те годы можно было сравнить только с неосведомленностью в вопросах пола (см. ПОЛ). Две самые заповедные области бытия, третье и четвертое измерения советской Флатландии.

Кажется, в первый раз я оказался в церкви, когда после окончания школы, летом 1967 г., ездил с мамой на ее родину, Украину, и в воскресный день оказался на центральной площади городка Глухова. Ворота церкви были распахнуты, народ толпился и шел к причастию, и я пошел со всеми, желая отведать вкус Неизвестного. Слава Богу, старушки, заметив незнакомого молодца, меня оттерли и не допустили совершить полусознательного кощунства. А между тем я считал себя верующим и еще года за два-три до того спорил на уроках с учителям, доказывая, что Бог — не часть природы, а потому и полеты в космос не могут опровергнуть его бытия (см. ИДЕОЛОГИЯ). Но вся эта отвлеченная теология и мысль о духовном верховном существе совершенно не соприкасались ни с каким конкретным религиозным опытом и вероисповеданием.

Священного Писания я не читал, достать его, и то лишь по благу и втайне, можно было только постоянным прихожанам церкви (прежде всего — баптистам). Мы с тобой охотились за Четвероевангелием в переводе Л. Толстого, в 24-м томе его полного 90-томного собрания, — это была единственная официально разрешенная публикация за все советские годы, но

²⁵ См. Бронислав Холопов, *Личная жизнь в тени ГБ*. Москва, «Дружба народов», № 10, 1994

этот дефицитнейший том (1957 г., 5 тыс. экз.) так и не разыскался.²⁶ Библия очутилась у меня в руках впервые только после фольклорной экспедиции на север Карелии (лето 1968) — я нашел ее на чердаке деревенского дома, среди старых рассыпанных книг, и выпросил у бабки. Она была растрепана и сохранила примерно треть страниц, но это уже было нечто. В следующей экспедиции, в Архангельскую область, я достал уже хорошо сохранившуюся Библию на русском и еще одну на старославянском. А ту, растрепанную, обменял у Юры Токарева на три тома Собрания сочинений Хемингуэя. Странные тогда были представления об эквивалентах.

Вообще вопросы религии обошли стороной мою юность, да и значительную часть молодости. Среди моих знакомых не было верующих по обряду, за исключением Геннадия Наумовича Виленского, моего двоюродного дяди (по отцу), который был главой московских евреев-хасидов, ХАБАДников, имевших свою малую синагогу при большой на ул. Архипова. Среди сверстников, кажется, единственной верующей была Оля Седакова, но и в ней я не угадывал (быть может, по своей нечуткости) личного обрядового православия — скорее оно выражалось эстетически, в образах, лейтмотивах. Сам я был «бедным верующим», т.е. имел веру без вероисповедания, без конкретной истории и догматики. Я полагал, что эта «сверхвера» восходит к корню всех авраамовых вер — монотеизму, который я в эсхатологической перспективе определял и как теомонизм, божоединство. Если есть единый Бог, в которого верят иудеи, христиане и мусульмане, то чем ближе они к Богу, тем более сближаются между собой. История монотеизма завершится теомонизмом — единством всех вер в едином Боге, которого все они исповедуют. Такова была моя «сверхвера», которая вышла из ситуации советского атеизма, одинаково отрицавшего все религии, а тем самым подготовившего по-

²⁶ Тебя со мной не было, когда я нашел этот том. Там же — в букинистическом Театрального проезда. Уценённый до тех же 20 коп. Стоит теперь у мамы в Минске.

статеизм, «бедную веру», как всеобщность их равного приятия.

Ю Господу — или *Кому?* — стало неудобно то, что я написал о своей связи (*religare*) с вечностью, которая привела меня к той же форме открытости к единобожию. Вырубил начисто и без возврата из компьютерной памяти вдохновенно написанные мной страницы, которые все же рискну изложить снова, но в конспективном виде и надежде, что сохранит...

Я был крещен по родовой воле, в беспамятном младенчестве и полулегально — во Владимирском соборе, Л-д, 1948.

Первые религиозные впечатления имели место внутри стен Больше-Охтинского кладбища в храме Николы Чудотворца, поскольку там начинался ритуал посещения родных могил. Это обстоятельство вполне органично связало в моем опыте религию со смертью, с размышления о которой начинается все великое. Но об этом я тогда не знал, и к смерти относился с отвращением, часть которого переносилась и на «религию» — за то, что принуждала к фальши и лицедейству не только меня, но и «больших». Я никак не мог поверить, что они искренне любят смерть и все, к ней имеющее отношение. Особенно сомнительным казался мне обряд причащения. Внутри очереди взрослых я, маленький и бесконечно одинокий в тот принудительный момент, двигался в нарастающей панике, не желая становиться людоедом — тем более что предстояло съесть плоть и выпить кровь самого Иисуса Христа, под взглядом которого я, можно сказать, себя и осознал в квартире у Пяти Углов.



***У могилы отца.
Больше-Охтинское кладбище, Ленинград.***

К завершению юности так или иначе я прошел через бабушкино-дедушкино смиренное православие и свое детское богоборчество; через католицизм, который произвел на меня сильное впечатление иезуитским Фарным в Гродно и другими костелами, а главное своей протестностью в 1955-57 годах, когда в 7-летнем возрасте я попал в Западную Белоруссию и Литву; через толстовство; через религиозные формы экзистенциализма а ля Шестов и Габриэль Марсель; через индуизм и дзен-буддизм, Вильгельма Райха, голубой оргон и сакрализацию секса... Список, который прерву на интересном месте, подразумевает лейтмотивную неудовлетворенность индивида, склонного прозревать Вселенную в прогалинах низкого родного неба.

См. СТОРОЖ (Ночной)

РОД И РОДИТЕЛИ

Э Я единственный и поздний ребенок: маме было 36, папе 43, когда я родился, и вся их любовь и смысл жизни были обращены на меня. Жили очень скудно: помню, что зарплата их до реформы 1961 г. составляла примерно 800 рублей у каждого. Все-таки нанимали мне нянь (возможно, только за питание и проживание), из которых последней, самой долгой и любимой, с 2 до 8 лет, была няня Шура, простая девушка из деревни, с веселым братом Васей, из моряков (его приезд бывал праздником для меня). Собственно, Шура меня и воспитывала, поскольку родители целые дни были заняты на работе.



С няней Шурой и тетей Соней

Мама, Мария Самуиловна Лифшиц (8. 9. 1914 – 6. 5. 1987), работала инженером-плановиком в издательстве «Транспорт». Отец, Эпштейн Наум Моисеевич (31. 5. 1907 – 26. 10. 1969), — бухгалтером в Октябрьском райисполкоме г. Москвы. «Отчет», «баланс», «план» были самые ходовые слова в семье, а счета с деревянными кругляшками на блестящих стальных прутьях — самым ходовым прибором. Ребенком я любил в них кататься, разгоняясь костяшками по полу.

Никакой наследственной «культуры» и тем более религии в семье не было. Двое моих прадедушек, по маминной (бабушкиной) и по папиной (дедушкиной) линии, были раввины и даже писали труды-комментарии к Торе, но это все ушло в следующем поколении.

Никакие высокие, интеллектуальные вопросы, насколько я помню, в семье не обсуждались, а когда я, уже взрослея, пытался их задавать, особенно о религии, то встречал опасливое молчание и уклончивость. Родители между собой иногда говорили на идише; эта смутная память непонятных по смыслу, но интонационно привычных слов — азохун вей, мишугине — единственное, что досталось мне от еврейства (да еще несколько ветхих книг на иврите). Отец был родом из Почепа и Погара, маленьких городков на юге Брянской области, мать — из Новгорода-Северского на Украине (откуда и князь Игорь из «Слова о полку...»). В Москве они оказались с переселением евреев из черты оседлости: папина семья в середине, а мамина в конце 1920-х гг.

Мой прадедушка по отцовской линии Самуил Эпштейн был раввином в городке Погаре на юге Брянской губернии. Позднее семья переехала в чуть больший соседний городок Почеп, где жила на улице Никольской. Родители папы — Моисей Самойлович Эпштейн (1881 – 11.11.1945) и Евгения Наумовна Якубсон (1881–1951). Дедушка был мелкий служащий, тоже вроде бухгалтера, а бабушка, кажется, домашняя хозяйка. Они умерли рано, я дедушку не застал, а бабушку не помню. (Эти сведения у меня от тети, папиной сестры Софьи Михай-

ловны Эпштейн, скончавшейся в возрасте 91 года: 19.3. 1912 – 4. 9. 2004).



Прадедушка по материнской линии, раввин Израиль Лифшиц

Мой прадедушка по материнской линии, Израиль Лифшиц, был раввином в маленьком белорусском городе Игумене (Червене) Минской обл. Писал на иврите научно-философские труды, от которых ничего не осталось.

У него было 11 детей, в том числе моя бабушка Евгения Израилевна (1888 – 20.6.1960).



Евгения Израилевна Лифшиц (1888 - 20.6.1960)

Она обладала блестящими способностями. До 14 лет вообще не знала русского языка, но за короткий срок экстерном подготовилась, поступила в гимназию в Новомосковске и через два года закончила ее с золотой медалью. Впоследствии работала учительницей в школах рабочей молодежи, была универсалом, преподавала многие предметы, от математики до литературы.



*Родители дедушки –
Арон (Арий) Лифшиц с супругой*

Дедушка, Самуил Аронович (Арьеви́ч) Лифшиц (1884 — 13.3. 1961) был из небедной семьи. У его родителей в Новгород-Северском был дом с садом и продуктовая лавочка, а дядя дедушки владел мельницей («крупорушкой»). Дедушка закончил в Полтаве музыкальное училище, играл на скрипке. В его жизни случилась большая трагедия. В первый раз женился рано, в 21 год, на 19-летней Марии, дочери адвокатов. Сохранились ее фото — очень изысканная, аристократическая красота. Да дедушка и сам по внешности и манерам был аристо-

кратом — они вместе смотрятся как прекрасная, благородная чета.



*Дедушка Самуил с первой женой Марией,
погибшей в результате погрома. Орел, 1906*

Через год после женитьбы родилась девочка. В ночь или через ночь после родов, когда дедушка был в отъезде, на дом напали погромщики – у Марии от испуга началась родильная горячка, и она умерла, а через три недели умерла и девочка. Это была веселое время, кровью умытое, - революция 1905-1907 гг. В маленьких провинциальных городках свирепствовали банды. Неподалеку в гор. Прилуки была убита двоюродная сестра мамы Фаня; падая, она прикрыла своим трупом детей, Лизу и Борю, и они случайно остались живы.²⁷



Мой любимый дедушка Самуил Аронович Лифшиц

²⁷ Все эти сведения – из рукописных воспоминаний моей мамы, которые она успела написать в последние годы жизни.

Дедушка вступил во второй брак только несколько лет спустя, в 1910 г.; примечательно, что девичья фамилия бабушки тоже была Лифшиц, хотя они не были ни в каком родстве. При советской власти дедушка работал в кооперативах, занимался мелкой торговлей, а на старости лет клеивал лекарственные коробочки по договору с аптекой, в чем я ему охотно помогал. Интересы у дедушки и бабушки были разные: у него более практические, у нее — интеллектуальные, помню, что он ее звал «химик». Веселый, простой, общительный, он был мною любим больше всей родни. И до старости лет он играл на скрипке душераздирающую мелодию, которая называлась «Плач Израиля». Скрипка хранилась у нас в «стеклянном столике», который и в самом деле был стеклянным, только ножки из красного дерева. Еще один предмет «роскоши», доставшийся мне в наследство, — картина неизвестного русского художника второй половины 19 в., на которой женщина и гондольер плывут в ночи, освещаемой вспышками молний. Скрипка разохлась в 1980-е гг., ее разобранные части долго лежали в стеклянном столике, пока и сам столик не распался и не затерялся при отъезде, а картина все еще висит у московских друзей.

До 8 лет я жил с родителями в коммунальной квартире на Дубровке, в соседней комнате жила тетя Соня с дядей Мишей и Эдиком. Это дом на 1-ой Дубровской ул., рядом с тем местом, где впоследствии случился «Норд-Ост»; а тогда это был шарикоподшипниковый завод, в округе которого я подбирал блестящие колесики и любил их вращать. Со второго до седьмого класса, до 14 лет мы жили в Измайлове, в части деревянного дома со своим двориком, где дедушка посадил в год моего рождения семь вишен в рядок, быстро меня переросших.



С дедушкой Самуилом

После смерти дедушки и бабушки, в 1964 г., мы переехали в Донской проезд, поближе к месту папиной работы, и впервые поселились в отдельной, двухкомнатной квартире (23 кв. м.) у входа в Донской монастырь.



С папой и мамой. 1963

Ю Ну видишь, какой хрустальный свод. Судьба тебе обеспечила целостность семейного кокона. Мой же был разнесен меткими советскими пулями, выпущенными по советскому же офицеру, моему отцу, на КПП у выезда из Франкфурта-на-Одере. В январскую ночь он, избранный делегатом на партконференцию Группы Советских войск в Германии, отправился на служебной машине в Берлин, но оказался в госпитале, где через три дня умер от ранений. Я должен был уже родиться, так что в принципе мог бы еще встретиться с отцом в завершение его 29-летней жизни на этом свете. Но мы разминулись. Пренатальная травма была такова, что сумел родиться я только с недельным запозданием. Король умер, да здравствует король (как любил я это место из «Принца и нищего»!).

Во второй раз овдовевшей королеве было 27, и за хрупкой ее спиной было нагромождение драм и трагедий. Мама родилась в Таганроге, но до сих пор не уверена, в каком именно году — то ли в 1921-м, как официально считается, то ли в 1919-м.



Мой дед по маме Петер-Теодор. Австро-Венгрия, первая мировая

Биологическим отцом мамы был австро-венгерский военнопленный по имени Петер-Теодор, но удочерил ее официальный муж матери — вернувшийся с гражданской войны большевик Москвичев, вскоре умерший. Мама говорит, что ощущение сиротства — главный мотив тех ее ранних лет. Петер Теодор преуспевал в немецких колониях Приазовья как овчарных дел мастер и обещал забрать маму с собой в Вену, но вышел «аншлюсс», и в этой коллизии двух тоталитаризмов его принудили взять советский паспорт, после чего арестовали. Мой дед-австриец канул в Гулаге без следа и отзвука. Последнее известное местопребывание — тюрьма в Ростове-на-Дону.

Мама хотела быть актрисой, но вынуждена была с 14 лет работать — воспитательницей в детдомах, чертежницей, счетоводом, медсестрой — вплоть до войны, оккупации и угона на работы в Германию. В качестве «остовки», работала на заводах Вестфалии. Там же укрепился ее советский патриотизм. Освобожденная американцами, она решила вернуться, к тому же в Таганроге пережила оккупацию Земфира, дочь от первого брака, но в советской зоне встретила техника-лейтенанта по имени *Сергей Александрович Юрьенен*.



После гибели отца мама с полуторамесячным мной вернулась в СССР. В Москве ее встретил мой дед по отцу, и вместе с ним они приехали в Ленинград, на Пять Углов. Адрес — ул. Рубинштейна, дом 29, кв. 69.



Современный вид дома. Справа (со стороны улицы Ломоносова) на карниз пятого этажа выходят окна «родовой» квартиры

Квартира была куплена отцом бабушки в 1913 году, а в августе 1917-го подарена молодоженам. Советы их, разумеется, «уплотнили», оставив две комнаты, Большую и Маленькую. В Большой был перманентный ремонт. Крыша протекала. Потолок подпирали балки. Долгое время на высокой самшитовой этажерке там стояла в ожидании захоронения урна с прахом моего отца. В Маленькой, где треть комнаты занимала круглая печь до потолка, поселили маму, мою «единоутроб-

ную» сестру Земфиру и меня. Сюда же в 1950 году вселился третий муж моей мамы, гвардии майор и слушатель военной академии Алексей Павлович Арефьев. Он был сибиряк из Красноярска. Пятым жильцом Маленькой комнаты стал в 1951 году мой единоутробный брат Павел.

Эта коммуналка являла собой микрокосм сталинизма. В «Захваченной» комнате жила Матюшина с дочерью Милой — проводница ОкЖД и сексотка органов. В Маленькой — мой отчим и мама, он (по самоопределению) «твердолобый марксист» и пылкий сталинист, мама — «колеблющаяся» представительница нового мира, «академиев не кончавшая». В Большой — выжившие к концу сталинизма жертвы.



*Александр Васильевич Юрьенен, мой дед,
в канун большевистского переворота.*

«Прежние люди», испытавшие тюрьмы (дед узник «Крестов» в период 1918-21 по «делу Таганцева»), аресты и казни родственников, ссылки и лесоповалы.



Дед в строю перевоспитуемых. «НЕ СЕДУЙ... НЕ ГРУСТИ» - можно разобрать на транспаранте

Они же, жертвы, были и самыми образованными и гуманными, были верующими, православными христианами, и несли с собой и память о «прежнем мире». А еще культ книги, чтения. Дед собирал для меня библиотеку. К 4-м годам я научился читать, а затем и писать («Все вы звери, фашисты»).



*С бабушкой и сибирским котом Кузьмой II (Кузьму I в блокаду похитила и съела соседка по лестничной площадке).
Пять Углов, первая половина 1950-х*

Прощаясь со мной на Витебском вокзале, дед подарил мне в путь-дорогу «Приключения Геккельбери Финна» — с этой книги, из которой, по Папе, вышла вся американская литература, и начались мои книжные предпочтения. Несмотря на то, что против воли деда и бабушки меня увезли в Белорусский военный округ, куда получил распределение отчим, мое гуманитарное воспитание продолжало идти из питерского источника.

РОДИНА

Э Что такое родина? Родина — это **ВООБЩЕ**. Это род всех вещей. Все остальное относится к нему как мельчающие виды и разновидности.

Москва — вообще город. Русский — вообще язык. 1-я Дубровская — вообще улица. Измайловский — вообще парк. МГУ — вообще университет. Филфак — вообще филология...

А все остальное состоит уже из частных. Лондон или Нью-Йорк или Кельн; Бродвей или Пиккадилли или Елисейские поля; французский, итальянский или датский языки... Там можно бывать или не бывать, их можно учить или не учить, любить или не любить. Это все множимые подробности, разновидности по отношению к роду.



Архангельская область. 1969

Ю Слово не из лексикона моей юности. Может быть, впервые я задумался об этом, отвечая на твои вопросы в нашей Анкете 1972 года, и ты тогда сказал вполне пророчески: «Родина – это то, что впереди». Вот тебе свидетельство бурного романтизма: мне было тогда отвратительно все, что имело корень «род». Я просто взвивался, когда слышал, а слышал я это нередко от домашних: «где родился, там и сгодился». В этом была какая-то обреченность, поддержанная не только фольклором, но и сонмом теней предков, забытых, может быть, именно в силу того, что им не достало дерзости оторваться от того, что полагали они родиной. «Возможно, — отвечал я иногда, когда «доставали», — но я — я! — родился в Германии! Что же, мне там нужно годиться? И вообще — в том смысле, что тесно не только внутри «священных» якобы границ «Одной шестой»: — Остановите землю — я сойду!..

Или цитировал Будду: «Путь человека из родины — в безродинность».

Так и получилось. Однако на основании реализованного отдельно взятым «гражданином мира» космополитизма не надо представлять его русофобом. Оглядываясь из Америки назад, в гирлянде своих «родин» я с нежностью — отнюдь не старческой — различаю не только Европу, Францию, Германию и проч., но и покинутую вместе с юностью атлантиду «Одной шестой».

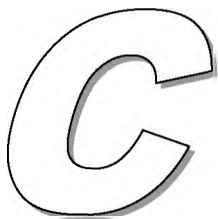
Э Мои юношеские дневники переполнены записями про Россию, ее судьбу, ее предназначение — и пересечение с судьбами еврейства и Израиля. Однажды мне пришла мысль столь волнующая, что я даже придал ей пророческое значение, — мысль о том, что бескрайняя, суровая Россия и есть земное воплощение Ие-вы. Честно говоря, это одна из самых странных и несообразных мыслей, когда-либо мне встречавшихся, и теперь я могу только удивляться, что именно мне она пришла в голову и несколько месяцев духовно питала меня.



*Среди отдыхающего народа, мне 10 лет (1960),
только что отпели «Подмосковные вечера».*

Из дневника. 21.10.1974 г. «Я пытаюсь понять: почему я, еврей, люблю Россию больше, чем крошечную землю на южном берегу Средиземного моря, откуда вышли мои предки. Ответ приходит ко мне из религиозного озарения, на которое я не считал себя способным: но это религия, имеющая силу большой политики. Россия есть Ие-ова. Тот всеединый, грозный, карающий Бог, которому молятся все евреи, имеет земное воплощение – в России. Единый Бог – единая земля, необъятная, наибольшая в мире. Высшая религиозная добродетель для еврея состоит в том, чтобы принести жертву самим собой, своей кровью и плотью (как Христос, Авраам, Иов), а не чужой (как язычники, греки). Разве есть еще на свете столь жестокая земля, причем наиболее жестокая к тем, кто ее любит и готов принести себя в жертву ради нее? Израиль есть покинутая родина евреев, а Россия – обретенная родина, ибо здесь мы ближе всего к своему Богу, возвращаемся в его лоно. Россия есть наш страшный суд, обещанный перед пришествием небесного царства. В этом смысл русского коммунизма. Евреи избрали Россию, потому что Бог избрал евреев. Бог карает свой народ и требует от него неслыханных жертв, но лишь для того, чтобы, отняв у него все, наградить его всем. Поэтому я говорю евреям: оставайтесь в России. Съезжайтесь в Россию. Объединяйтесь вокруг России. Она есть ваш карающий, но милосердный Бог Ие-ова. Она уготована вам – вы уготованы ей. Вместе с нею вы войдете в царство Божье».

Чего в этой нелепой мысли больше – еврейского мессианизма или российского патриотизма? О русском национализме речь не идет, потому что в этом видении евреи сливаются с Россией, вливаются в лоно России, и непонятно, что при этом остается делать русским? Любоваться на то, как их родина становится ипостасью всеединого Бога Авраама, Исаака и Иакова? Привожу эту запись как образчик той интеллектуальной кунсткамеры, в которой подчас заспиртовывалась моя курьезная, а то и монструозная мысль.



СОБЕСЕДНИКИ

Ю Битов был интересен, однако же монологичен. Рожденный в 1937-м, он был старше на целое поколение — разумеется, антисталинское и антисоветское. Но с самого начала наших вербальных отношений меня шокировали нотки пренебрежения, так сказать, к «холмам, яснеющим в Тоскане».

Главными собеседниками моей московской юности были ровесники: Аурора и ты. А. обращалась ко мне от имени многих культур, французской, испанской, польской — за этим был реальный опыт космополитизма. Воплощение, возможность и обещание другой жизни. Общение не только мироотношенческое, но и перевоссоздающее тебя, меняющее не только твою структуру, но сам состав советских молекул. За Ауророй был экзотизм, распахнутость мира. А ты превращал в нечто экзотическое мир замкнутый и скучный, что было своего рода чародейством «из себя».

Э Невозможно заранее предсказать, с кем завяжется общение, разговорная связь. Вязь взаимно переплетающихся слов-отношений. Бывает, что людям близким по жизни или по мировоззрению трудно друг с другом разговаривать, как-то не цепляются слова. С самым умным, уважаемым, ценным... И наоборот, с чужим и чуждым вдруг бывает мгновенная склейка. Ни общая профессия и интересы, ни продолжительность знакомства не определяют этой соре-

ности, как самостоятельной данности: или она есть, или ее нет. Я так это для себя и определяю: соречие — связчивость двух речевых манер, насколько они заводят и подталкивают друг друга.

Мне всегда было раскованно, душевно и слегка таинственно говорить с тобой. У нас в студенческие годы даже выработался какой-то свой язык, с особым нажимом смыслов и выбором слов, отчасти настоенный на прозе Битова. А вот с Авророй у меня почему-то не сложилось соречия, мы больше общались через тебя.

Среди самых великолепных беседников своей жизни назову Андрея Битова и Илью Кабакова. Нарочно отнимаю частицу со-, потому что в значительной части это были монологи, поддерживаемые моими вопросами и репликами. Моя голосовая активность повышается перед аудиторией, падает в компаниях, а в частных разговорах очень зависит от характера (со)беседника.

В университете, кроме тебя, у меня было не так много *взаимного* общения. Всегда интересны, но несколько напряжены и односторонни были разговоры с Ольгой Седаковой: она выражала себя в них гораздо лучше, чем я (кроме тех случаев, когда мы говорили по телефону, который как-то перераспределяет соотношение голосов). Очень хорошее, насыщенное общение сложилось с Валентином Евгеньевичем Хализевым, моим научным руководителем на филфаке, вдумчивым и вслушчивым собеседником. Блестяще-вдохновенными и глубоко экзистенциальными бывали беседы с Александром Бокучавой, аспирантом, а впоследствии преподавателем филфака; но это случилось позже, в 1973-75 гг., когда мы оба преподавали на подготовительных курсах МЭИ (куда я его и звал). Ровные и равные разговорные отношения сложились у меня с однокурсницами Тamarой Приходько и Таней Горбачевой и с Валентином Масловским и Валерием Тюпой, тогда аспирантами филфака. И в университете, и после доводилось общаться с Ниной Брагинской, античницей, но в складе наших

умов была какая-то несовместимость, мои теоретические парения изрядно раздражали ее, строгого филолога. Недолго, но вполне достаточно, чтобы оценить ее острый и саркастичский ум, продолжалось общение с Татьяной Савицкой. В течение двух семестров совместного обучения у Турбина (1969-70) мы много общались с Ольгой Терновской, будущей слависткой. Было бурное, но краткое, примерно одномесячное общение с Денисом Драгунским.

Ты мне подарил дружбу со Славой Хлесткиным, начинающим прозаиком, который почему-то ее оборвал в 1975 г.; и, не столь тесную, с поэтом Вадимом Ковдой. Вне университета я дружил с Валею Викторовым, сыном сослуживицы моей мамы; он начинал как одаренный писатель-историк, но в начале 1980-х мы раздружились, и я не знаю, где он и что с ним стало. Вокруг него тоже были начинающие писатели, в том числе очень небесталанный Миша Дорошенко, работавший во ВГИКе. В 1975-76 гг. было частое, хотя и недолгое общение с Александром Осповатом и с Лерой Нарбиковой, которую я встретил на Совещании молодых писателей в Софрино (ей тогда было 17). Через Валю Масловского я познакомился с писателем Эдуардом Шульманом, с которым мы много говорили о литературе, мастерстве и превратностях творческих судеб; какое-то время я ходил в образованный вокруг него домашний кружок, с литературными чтениями и обсуждениями, но это уже история второй половины 1970-х гг. Интересная черта тех лет – возрастной демократизм общения, взаимооткрытость разных поколений. На какое-то время, в 1974-75 гг., одним из моих задушевнейших собеседников стала старшекласница Оля Левинская, которая брала у меня уроки как у репетитора перед поступлением в вуз; впоследствии она стала профессором античности в РГГУ.

В 1973-74 гг. прекрасный разговорный кружок образовался у нас среди преподавателей вечерних подготовительных курсов МЭИ: Саша Бокучава, Саша Николаев, его жена Аня Рудник (ныне директор Литературного музея), Нина Константинова,

Лена Полтавец. Мы заговаривались до поздней ночи, неторопливо возвращаясь с курсов домой. Саша Николаев, тогда начинающий тютчевед, был одним из самых остроумных собеседников, мне встречавшихся: смешил до колик. Через него я познакомился со Светой Долгополовой и воспринимал место их обитания, тютчевскую музей-усадьбу Мураново, как родное себе место. Через Свету, которая открыла мне прелесть задушевной христианской беседы, я, в свою очередь, познакомился и даже сдружился с Натальей Леонидовной Трауберг и однажды посетил, в исканиях духовного пути, о. Александра Меня, но около него не задержался. Впоследствии, уже в конце 1980-х, я через Н.Л. Трауберг познакомился с Владимиром Никифоровым, католическим священником, который сыграл большую роль в моей духовной жизни. Интересно взглянуть на эту цепочку общений, которая привела меня от Саши Николаева к Володе Никифорову, между которыми вряд ли могло быть что-то общее.

Ю А помнишь ли Далина? Странный персонаж 1970-х. Заговорил со мной на 9-м этаже Гуманитарного здания. Стоял там на площадке-курилке, оживленно оглядываясь. Хорошо за тридцать, крупный, темный костюм с перхотью, белая рубашка с галстуком. В руках раздутый портфель. Разве мог я предположить, что там? Я думал, по научным делам человек, а он на нашем факе высматривал девушек. Я привел его к себе в общежитие, познакомил с тобой. Между вами был и отдельный контакт. Он стремился к нам, юным. Автор рукописи «Мир как система».

Э Прекрасно помню. Валерий Далин - наверно, по модели Ленина-Сталина, вычурный псевдоним какого-нибудь Нечипоренко. Учитель жизни — в прямом смысле. Биолог, критик академика Опарина, чья теория происхождения жизни (из океана и коацерватов) считалась по советски классической, как павловские собаки. Создатель

своей собственной теории, определявшей жизнь как «целенаправленную самостоятельность». Ходил по институтским семинарам, утверждаясь в науке и вокруг. Меня в нем поражала смесь романтизма и цинизма, идеалистического отношения к науке и гедонистического к женщине. Доказывал свою теорию на практике всем приятным дамам, которые, находя ее убедительной, тут же отправлялись с ним в постель. Раз или два пользовался моей квартирой для конспиративных явок. От любощедрости своей меня тоже пытался приобщить, но это всегда был не мой тип, или я не их тип. Он меня вчуже восхищал смелым, неукротимым круговоротом теории жизни и ее же практики. Жизневед, жизнелюб, жизневод, все в одном лице.

Ю Вот именно — разъездной московский философ и донжуан, специалист по лимитчицам. В портфеле — помнишь, демонстрировал? — спринцовка, марганцовка. Омниа меа мекум порто. В Солнцево ко мне на вечеринку приехал с женой, которую называл «моя Мартышка» на основании губ, вывернутых не менее, чем — сказал бы я сегодня — Э. Подарил мне самодельный порноальбомчик, сделанный из записной книжки, куда была вклеена разная муть, переснятая из западных журналов.

Э Что наша жизнь? — игра. А в советские годы, когда игралось плохо, чем была наша жизнь? Беседа. Не было более достойных занятий. Любовь и беседа. Особые, подчас очень глубокие соречия складывались с девушками. Вообще собеседники и друзья — разные категории. Не всякий хороший собеседник бывает другом и, что удивительнее, не всякий друг бывает хорошим собеседником. Но мне трудно представить себе, чтобы возлюбленная не была еще и собеседницей. Без речевой взаимности чувства быстро испаряются. Поэтому мне всегда было трудно постижим любовный союз с иностранкой, хотя, конечно, твой опыт это оп-

ровергает. Вы с Ауророй настолько лингвистически одарены, что общались без помех на двух языках, и русском, и французском.

Ю Свою одаренность в этом смысле я энергично отрицаю, но общались – да, на обоих. К сожалению, я не настолько, или вообще не знал тогда других языков, которыми уже тогда владела моя непостижимая жена.

СОПИСАНИЕ

Ю Мы в гостях у Валентины В***. Нам с ней вполне интересно, но обоих вдруг начинает одновременно терзать-изводить мочевого пузыря, с которым мы, потребления пива не прекращая, начинаем бороться. Но становится так невыносимо, что мы вскакиваем и прощаемся с непонятной резкостью, оставляя девушку в недоумении. Предусмотрительно не застегивая пальто, мы с грохотом сбегает по лестнице и вниз, в свете дома, блаженно мочеиспускаем в сугроб палисадника. Две струи буравят освещенный снег. Какое чувство облегчения! При этом ты задаешь вопрос: «Как бы ты описал весь этот акт?» И предлагаешь свой вариант с «заострением». Мгновенно и точно даешь анализ этой до неспособности отложенной потребности, которая из тупого давления вдруг заостряется перед стыдноватым (поскольку «низ материально-телесный») блаженством истаивания.

А ведь действительно! думаю я, уже переживая свое предельно заострившееся как энергичное истаивание.

Это один из моментов нашей дружбы, когда ты вызываешь у меня чистое восхищение. Внезапной точностью слова. Все предыдущее было малоинтересно – и сокровенный быт ЦК ВЛКСМ, где получила работу Валентина, и ее туманности, недоговоренности и умолчания. Интересен ты. Ты выводил меня за пределы суеты, обернувшейся разочарованием [ехать

в такую даль за обещанным блоком западногерманских Ernte 23 из комсомольского буфета и получить только пачку-две (внутри еще большего тоскливого разочарования в эмгэушной подруге и героине своей трагедии, вдруг ставшей идеологической чиновницей и уходящей из моей жизни навсегда)], ты возвращаешь мне радостную конкретность экзистанса, переадресовывая внимание на то единственное, что представляет ценность в этой унылой жизни — точность слова. Более того. Давно, лет в 18, прочитавши где-то у Симоны де Бовуар, каким восторженным вернулся Сартр из Германии от Гуссерля («Представляешь? теперь можно говорить об этом коктейле так, что это будет философия!»), я вижу в роли Гуссерля тебя. Ты мой феноменолог! Возможно, не в ортодоксальном смысле гуссерлианства, но, как иногда замечал Толстой по-французски по поводу собственных записей в дневник, *je m'entend*: я себя понимаю. Понимаю себя и я. Понимаю, за какие скобки ты вывел меня своим вопросом. И это непонятное понимание обнимает момент беспримесно-чистой радости бытия.

А казалось бы просто поссали «на брудершафт» — за что в стране нашей зрелости арестовали бы и привлекли к суду. В общежитии МГУ тогда популярной была «отмазка»: «Мы что, с тобой из одного *** ссым?»

А именно так и показалось, что из одного.

Э Помню, вне всякой связи с девушками, и двор, и снег, в который мы с задержанным наслаждением вонзаемся, чертим.

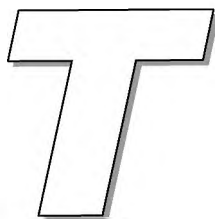
Общая вязь, «я на твоём пишу черновике» — слегка жутковатая близость, как кровосмешение, хотя субстанция иная. Для мужской дружбы, да еще замешанной на слове, это священный момент — соПисАние (ударение — вольное). Мужское мочесмешение. Соударение струй.

См. ДРУЖБА; ТЫ, МИША, ТЫ, СЕРЕЖА

СТОРОЖ (Ночной)

Ю В перистальтику нашего тоталитаризма мы проникли с черного хода — благодаря работе ночными сторожами, которая была доступна пенсионерам и студентам. Государство оказалось слишком доверчивым, впуская, например, меня в здание Комитета по делам религий — главная в стране инстанция по борьбе с Богом. Я пошел на эту работу, чтобы заставить себя больше писать по ночам, но было страшно сосредоточиться за машинкой, которую я приносил с собой. Я представлял себя записчиком у престола Сатаны, и меня охватывал графоспазм. Вооружась ключами, я ходил ночью по кабинетам, выдвигал ящики, пытался представить всю эту сатанинскую машинерию. В черную «готическую» библиотеку нужен был специальный допуск — на уровне кандидата наук, если не доктора. Там был и «Молот ведьм», и всевозможный оккультизм. Томов Британской энциклопедии было столько, что никто не замечал пропажу отдельных томов, которые предыдущие ночные сторожа продавали из-под полы на черном рынке. Оттуда же на рынке появлялись и конфискованные на таможне библии printed in U.S. Чердак Комитета был забит этими библиями так, что темно-зеленые томики вываливались через дверь на ступеньки лестницы — тем самым ставя предел моим ночным познаниям.

Э Таких экзотических или, наоборот, демократических профессий, как сторож, дворник, лифтер, истопник и пр., в моей жизни никогда не было. Единственное, что к ним приближалось, — это помощник корректора на выдерже страниц с нацистским флагом, по ошибке вклеенным в книгу издательства «Транспорт» (1972, см. КОРНИ). И у тебя, и у меня, как ни побочны были эти занятия, а все-таки, никуда не денешься, — книги!



ТВОРЧЕСТВО

Э *Из дневника.* 15.3.74. «Что лучше, достойнее человека: творить или любить? Запереться в келье и творить или валяться на траве и любить? Бог есть любовь. Но Он сотворил мир!»

17.4. 74. «Только в творчестве одному лучше, чем двоим. Только в любви двоим лучше, чем одному. Только в Деле многим лучше, чем одному или двоим. Что же делать?»

Ю Но мы и любили, и творили, пытаюсь совместить одно с другим самым оптимальным способом из возможных. Вот до Дела, сотворчества многих, в пределах Союза у меня не дошло — в отличие от тебя, оказавшегося куда менее асоциальным.

Э Для меня вопросом вопросов было не только «творчество и любовь», но и «творчество и структура». Творчество волновало меня не только экзистенциально, как путь жизни, но и как интеллектуальная проблема, особенно после знакомства с «перепавшей» меня книгой Н. Бердяева «Смысл творчества» (1916). Мне хотелось соединить философию творчества, фантастического и даже утопического преобразования мира с господствовавшим тогда в гуманитарных науках строгим структурализмом.

Вот как это схематически рисовалось:

Из дневника. 30. 3. 1974. «Моя позиция: не структурализм и не утопизм, а *утопический структурализм*. Переключка с Тейяром де Шарденом. Творчество как обретение (а не разрушение) структуры. Если структура есть космос, гармония, то почему мы должны противопоставлять ее творчеству? Напротив, структура есть результат творчества как внесения различности и соразмерности в хаос. Миру еще только предстоит воплотиться в структуру совокупными творческими усилиями всех людей. Нет никакой необходимости противопоставлять Бергсона и Соссюра, или Бердяева и Лотмана: их общая перспектива и есть *утопический структурализм*».

ТЫ, МИША

Ю Думая о впечатлении, которое ты на меня производил, не могу не отметить пренебрежение эстетикой, всем, что «красиво»: даже пишущую машинку, в которой была красота, ты обнажил ее механическим нутром. Даже фотографию Набокова — с почтовую марку — небрежно вырезал (откуда?) и неровно приклеил. С одной стороны, твой поразительный отлет от реальности, с другой — вполне прагматическая укорененность в эмгэушном быту.

Э Да, с вещами у меня отношения не близкие. Но зато нет и насилия ни с одной из сторон. Я живу своей жизнью, они своей. Делают, что хотят, лежат где попало, особенно книги. Когда нужно найти, я как-то мистически угадываю их местонахождение, по зову сердца.

Ю Но главное, что впечатляло, твоя способность сгущать реальность. Сезанновская просто. Твоего присутствия было достаточно. Крепчал даже чай, который был всегда спитой (как в кружке на сделанном тобой фото). Вокруг тебя была другая гравитация, ты ее и задавал, и

все становилось не только осмысленным, но и рельефно-тяжелым, смысл обретал скульптуру. От тебя я выходил в Москву, как в разреженный воздух.

Прикрытое посылочной фанеркой помойное ведро на общей площадке, куда выходили другие, совершенно бессмысленные двери, еще имело некий смысл, будучи, возможно, на самой границе смысла, который я оставлял за собой. Или пятнистые стены над маршами бедных ступенек, внизу которых, у батареи, обжимались парочки. Кубы тui за дверью подъезда. Жерло входа в некрополь Донского монастыря. Но чем дальше от твоей башни «стражи», тем все легчало и легчало до полной невесомости.

Ни с кем, кроме тебя, не было экстремальных опытов мысли. С тобой немедленно начиналось приключение, в котором я испытывал потребность притормозить, схватить тебя за локоть, парадоксов друг... В школьные годы я любил Толстого больше всего за то, что с тобой оказалось образом дружбы: остранение. Ты вносил это в контакт автоматически. Как ты писал недавно — Эрос остранения. Мысль становилась более подвижной, кровенаполнялась, эротизировалась. Поэтому наши тет-а-тетy для меня были вполне конкурентноспособны randevу с девушками, а возможно, и превосходили.

См. ДРУЖБА, СОИСПУСКАНИЕ, ТЫ, СЕРЕЖА

ТЫ, СЕРЕЖА

Э Ты был не то чтобы «учитель жизни», но ее прямой участник и жизневод, который время от времени брал меня за руку, чтобы и я, квадратно-головной, в этот круг вписался. Но в кружении этого хоровода я постепенно терялся и отодвигался — или меня относило — на край, где такие же, как я, подхлопывали и созерцали.

При этом твоя «живая жизнь» была чревата словесностью, и даже твои самые ра(и)скованные чувственные опыты носили оттиск какого-то стиля, как тема или аллюзия будущего рассказа. Можно представить себе Пишущее Тело, все члены которого — резцы или перья. Плоть-самописка. В твоей прозе тревожила эта близость дымящейся плоти, с которой еще не сошла любовная испарина. Как будто именно она служила тебе невидимыми чернилами. Как будто той же рукой, которая только что гладила, ласкала, мучила, увлажняла и увлажнялась, ты брался за перо и прикасался к бумаге.

Но чувственность этой словесности — еще не вся правда. В тебе было и молчание. Для жизневода и чувствоиспытателя, участника шумных застолий и, что ж скрывать, застелий, ты был странно молчалив. Ты звучал редко, и я думаю, это завораживало не только тех, кого ты хотел приворожить. Я чувствовал, как напрягало женщин твое молчание. Знакомые однокурсницы, филологини, интеллектуалки — вдруг они становились женщинами. В их присутствии я разговаривал, а ты молчал, вставляя слова изредка, но точно, как бы выказывая глазомер, искусство метания и привычку попадания в цель. Эта была деятельность молчаливого прицела. Ты говорил на *Silentese*. В тебе чувствовалось бессловесное бытие, на которое можно было ответить только телом. Прижатием, ощупью, как впотьмах. Полузвук, полутьма, уже почти все позволено... — это ты.

С другой стороны, и это молчание было литературным — искуснейшим, искусительнейшим родом литературы. То, что не говорилось, как бы откладывалось на потом, на бумагу. Этот медленный опыт неговорения был отстойник письма, дифференс до Деррида, искусство (само)томления и отсрочки, грамматология комнаты, стола, дивана, окна, всего того, что молчало, наливаясь будущим словом. В твоих редких вставках, почти обмолвках, был привкус будущей письменной речи, которая пропитывалась телесным опытом молчания, пространственной близостью, возможностью прикосновений,

молчеписью взглядов и неизменно точных жестов, какими ты придвигал к собеседникам бокал или пепельницу, подавал огонек или сигарету... Ты был мастером полутонов, что в деружной, размашистой, черно-красной советчине воспринималось как обряд посвящения в другую жизнь. Неизвестную или забытую. Все, что ты делал, было как бы «вполу-», чуть-чуть, украдкой или вполголоса, с намеком на происходящее таинство. Суггестивно, внушительно. Подсказать забытое слово или строку или слегка поправить собеседника — так, что досказанное тобой казалось его собственным изречением. Ты был председателем странных радений. Медлительное опьянение едва «цедящимся» словом («как сад — янтарь и цедру»), трубка с языкомаком, словесным опиумом, переходящая по кругу.

Когда я писал «Философию возможного», не этот ли опыт пребывания в Ю-пространстве я бессознательно прорабатывал в понятиях? Главный термин там — овозмоЖение, и это то, что из тебя исходило, происходило вокруг тебя. Ты пишешь, что вокруг меня сгущалась реальность. Вокруг тебя сгущалась аура возможного. Ореол, где каждый лучик — «бы». ОвозмоЖение — это не когда нечто возможное становится действительным, наоборот, это когда нечто реальное вдруг сдвигается в область возможного, начинает плыть и мерцать, как облако иных возможностей. «Есть» расплывается в волну вероятностей — «может быть». Эта сослагательность, это «бы» было у тебя на лице, в глазах, в походке, в голосе, в интонации. Ощущалось, что при встрече с тобой может что-то почему-то случиться. Можно было ожидать чего угодно, и даже когда ничего не случалось, это не приносило разочарования. Понятно ведь — что уж такого может случиться на этом свете! Само по себе ожидание, возможность чуть-чуть затаиться, прищуриться, многозначительно помолчать и отодвинуть рассеянно и небрежно все достословные очевидности бытия — уже вызывало благодарность. Если Битов весь был в словечке «вот ведь», удивленном опознании неожидан-

ных вещей или мыслей, ты был в словечке «как бы», которое придавало любой вещи признак допустимости, но необязательности. «Как бы пришел, как бы прочитал, как бы подумал...» Все было не вполне таким, каким оно было, все расцвечивалось воздухом возможностей. Вокруг тебя водились призраки — нет, не полтергейсты, не метатели горшков, а Смывы, Расплывы, Промельки. Все действия становились условными, как слова. Письмовод бытия. Часто это бывал пустой, незаписанный лист, но ты подносил его ближе к глазам, и в свете лица в нем проступали водяные знаки.

В постсоветское время словечко «как бы» заразило вирусом сослагательности всю страну — вещи вдруг утратили свой бытийный статус, общество сменило не столько политический режим, сколько модальность. Даже провинциальная публика, даже деревня — все заговорили вдруг сослагательно, перемежая чуть не каждое слово новооблюбленной частицей «как бы» со смачной частотой многовекового мата. «Да фуй ли ты как бы мне не веришь?» И это была твоя меметическая победа, поскольку «как бы» было фирменным знаком твоих полутонов, твоих речевых университетов еще в 1960-е.

Теперь я не могу не удивляться, как пристали нашей речи, вообще персонам заглавные буквы наших фамилий. Э — открытый звук, что-то провозглашающий, зовущий, призывный. Эй, Эх!.. Ю — звук влажный, упругий, уклончивый, скрытый за полугласной «й», но уходящий, ухающий в глубину «у». Я был Энциклопедией с ее готовыми ответами, пусть часто и невпопад, ты — Юностью с ее загадками, томлением и вопросами. Вот теперь мы, Э-н и Ю-н, и пишем вдвоем Энциклопедию Юности, как нам на роду уже написано.

См. ДРУЖБА, СОИСПУСКАНИЕ, ТЫ, МИША

У

УНИВЕРСИТЕТ

Ю Роман про университет. Гигантизм Главного здания отразился и в моем персональном ГЗ — Главном Замысле.



Это должен был быть роман об университете, столь же сложный и самодовлеющий — исчерпывающий мир в себе. Корпус его грезился мне и мерещился. Но как осуществить? Досспассовский путь казался архаичным. Джойсовский? Раз-

дуть до вселенских размеров несколько ничтожных дней двух-трех обычных людей на фоне нижнеюрских окаменелостей эмгэушного мрамора Клубной части? Но обычные люди казались слишком уж неинтересными. Потом какой же роман без любви? Но любви не было, и приходилось, отрываясь от литературы, ее искать, как будущий материал. («Я хотел бы стать функцией своей пишущей машинки», — писал я в те годы какой-то своей пассивности — слово, где страсть сливается с преходящестью, не так ли?). Находя же любовь, проходя этот процесс, я дивился его странности и совершенной непохожести на любовь, о которой печатали книги. «— Лиля, — говорит она глубоким, грудным голосом и подает мне горячую маленькую руку». («Голубое и зеленое»). Я же пишу о том, как пытаюсь сохранить исчезающий запах на своей руке, побывавшей в трусах у Тани***. Когда от любовей, начинавшихся по внутреннему заданию, но каждый раз лишавших меня Центра, я возвращался к себе, я приходил к выводу, что «адекватный» роман невозможен. Написать личный, экзистенциальный? (В конце концов, так и вышло, уже в Париже, но Николь Занд еще долго пеняла мне, что ей не хватает в том романе собственно ГЗ — *Главного Здания Сталинизма* с его тоталитарной мистикой. ГЗ продолжало отражаться в других книгах — непобедимый многоглавый Дракон).

Э Я догадываюсь, чем был для тебя Университет. Логополисом. Мое самое большое удовольствие — открывать для себя гигантский город, обживать его культурное, знаковое пространство, проникать в его поры и норы, распространяться в нем, подобно газу. Большой город равновелик мозгу как сложная семиотическая машина. Метрополь — ментополь. Мозг похож на город, город на мозг. Энергия и архитектура мегаполиса под стать мозгу, производящему миллиарды операций в секунду. Оттого с развитием человеческого мозга происходит урбанизация земли, она превращается в планетарный город, в который вкраплены сады и леса. Урба-

низация — ментализация физических пространств, пронизание их нейро-коммуникативными сетями. Российское бездорожье и безмозглость властей — увы, явления одного порядка. Москва — единственный российский мегаполис. МГУ — это как бы Логополис внутри Мегаполиса, дальнейшее уплотнение всех его мыслящих ячеек.

Я люблю логополисы — очаги мозгового возбуждения нашей «глобастой» планеты. Я сильно чувствую это поле в американских университетах. Но в студенческие годы наш, Московский университет меня не привлекал, вызывал какой-то холод в кишках, легкое подташнивание страха, одиночества, неловкости, отчуждения. Особенно новое (с 1969 г.) здание филфака на Ленгорах, с длиннющими сквозными коридорами, словно предназначенными для просмотра и надзора. Старое здание, у Манежа, еще помнившее Лермонтова, Белинского и Грановского (первые два учились как раз по словесному отделению, т.е. нашему филфаку), было уютнее, скрипучее, темнее. Там можно было вывалиться в кишки совсем темной, задымленной лестницы и оказаться среди своих, курящих и болтающих. А в новом, стеклянном филфаке даже лестницы вызывали чувство сквозняка. (Такое же чувство холодения и сжимания вызывал во мне впоследствии Центральный дом литераторов, хотя архитектурно он совсем другой, дореволюционный, усадебный, по преданию даже дом толстовского семейства Ростовых).

Только оказавшись в американском университете, понял, чего мне в Московском больше всего не хватало: преподавательских кабинетов, т.е. частных владений, — там были только факультетские и кафедральные. Это как город, состоящий сплошь из официальных учреждений и ведомств, город без жителей, с одними служащими, — без вечерних прогулок, без семейного уюта, но с красными коврами и зелеными сукнами. Это Логополис без души, мозг с одним только левым, рациональным полушарием.

УЧИТЕЛЯ

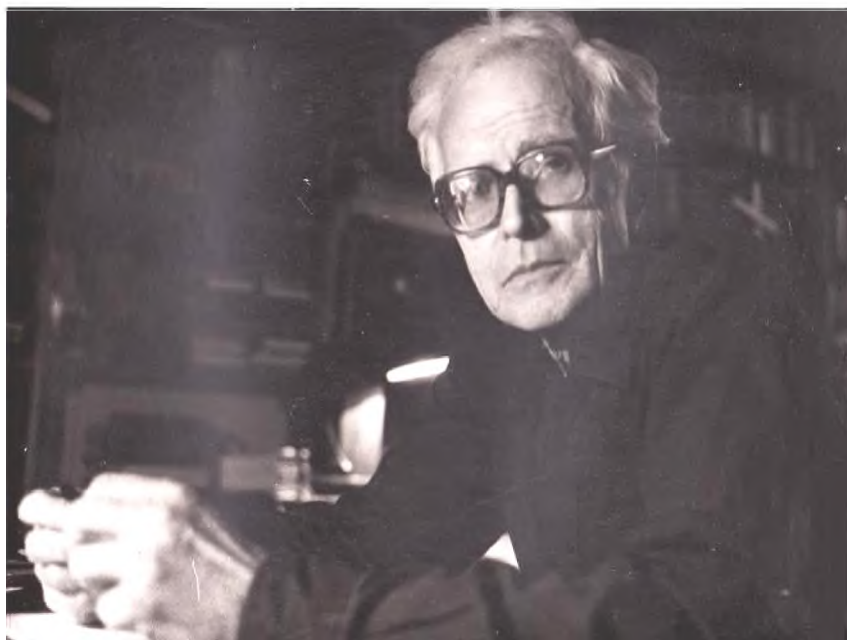
Э Сразу стоит разделить учителей на формальных и неформальных, облеченных педагогической властью и необлеченных, хотя в некоторых личностях для меня это учительство совпадало. Среди школьных учителей никто не затронул моего ума и воображения (если не считать двух-трех интересных учительниц, но это по другой части). Единственное исключение — учитель литературы в старших классах 5-й школы (Ленинский пр., 13) Марк Соломонович Либерман, очень полный, пожилой, шумный, бесцеремонный со школьниками. «Что ты тут мне натошнил?» — спрашивал он, щурясь в очередную ученическую тетрадь. И вместе с тем великолепный оратор и энтузиаст, неизменно воспламененный своим предметом. Он читал нам лекции на уровне популярного лектория для взрослых, и коронной его темой был не вставленный ни в одну программу «шекспировский вопрос». Он доказывал нам, что почти неизвестный нам Шекспир был всего лишь загадочной маской кого-то еще более неизвестного, и радовал тем, что можно быть большим ученым — и при этом ничего не знать. Более того, самые большие ученые как раз и не знают, кто такой Шекспир, а маленьким кажется, что они знают. Думаю, это был главный его урок, лично мне преподанный и, возможно, отозвавшийся во всей моей позднейшей теории и практике гиперавторства, т.е. создания множества подставных авторов.

В 15 лет, проводя первое свое лето в пионерском лагере «Республика Юность Замоскворечья», я приобрел там замечательного педагога. Так называлась должность при пионерском отряде: вожатый был как командир (красивый Золкин, впоследствии судимый за мужеложество), а педагог как комиссар. Агнесса Владиславовна Эггед, дочь австрийского еврея, приехавшего в 1930-е годы в СССР строить социализм, работала школьным учителем истории и на многое открыла

мне глаза, в частности, обрисовала учение страшного Льва Троцкого. (Не было более страшного имени в советском лексиконе: «Гитлер» звучало как имя давно разоблаченного и поверженного врага, а Троцкий — как имя предательства, всегда готового вспыхнуть изнутри, поэтому гитлеристов среди нас быть не могло, а троцкисты быть могли). Хотя по своим тогдашним воззрениям Агнесса Владиславовна была скорее всего «социалистом с человеческим лицом», это ее лицо было, действительно, столь человечно, что я с ней подружился на долгие годы, и даже мама немножко ревновала меня к ее авторитету взрослой наставницы. У Агнессы Владиславовны не было своей семьи, но было много друзей, в том числе таких же мальчишек, как я, нуждающихся в умной взрослой дружбе, и хотя я и не входил в ее ближайший круг и лишь раза два-три бывал у нее в гостях, но я чувствовал в ней и за ней таинственную для меня атмосферу взрослых разговоров, откровенных мнений и споров, какую не находил нигде, в том числе у себя дома. С ней можно было говорить обо всем, это был редчайший случай учителя по призванию.

В университете было много профессоров (см.), но учителями, если говорить о профессиональном становлении, я могу считать только двоих: Владимира Николаевича Турбина (28.07.1927, Харьков — 1993, Москва) и Валентина Евгеньевича Хализева (род. 17. 05. 1930).

Турбину я обязан своим поступлением на филфак — на вступительных экзаменах он поставил мне две пятерки (за сочинение и за устный русский), чего золотому медалисту было достаточно для поступления.



В. Н. Турбин

В семинар Турбина, который назывался «Экспериментальная поэтика русской литературы», я пришел на 3-ем курсе и был поначалу очарован свежей атмосферой живого и даже праздничного мышления. Это было неортодоксально, не по-марксистски, вообще не по-каковски, — по-всякому, в диапазоне от умной гипотезы до дичайшего бреда. Сам Турбин любил беседовать с учениками, расхаживая по балюстраде второго этажа возле Большой Коммунистической аудитории, и называл себя «перипатетиком», т.е. прохаживающимся, или «философом на балюстраде». В этом, конечно, было немало позы и импозантности, в том числе очень мужской, с загорелым лицом, синими глазами и ранней серебристой сединой. Он настойчиво отговаривал меня от семиотики и структурализма, подчеркивая, что у Ю. М. Лотмана и его учеников нет чувствительных пальцев, чтобы вживую ощупать литературную вещь, поэтому они изобретают машину. Он был органици-

стом, но без малейшего националистического оттенка, в отличие от другого бахтинского ученика В. В. Кожина. Вообще Турбин, несмотря на некоторое самолюбование (но и было чем любоваться), был добрый, хороший, заботливый человек. Об этом я впоследствии узнал и со стороны, от дальних родственников из Кисловодска, которым довелось вместе с незнакомым им Турбиным ехать в поезде в Москву: случайный попутчик, он помогал им и в поездке (когда один из них заболел), и в последующем устройстве в Москве. Но обстановка семинара все больше напоминала мне нечто вроде лирического междусобойчика, Клуба самодеятельной песни, где главное было быть своим, в доску и до гроба, а качество мысли и ее научная весомость отступали перед блеском веселого, нетребовательного журнализма.

Моим главным учителем на всю оставшуюся студенческую жизнь и старшим другом на всю послестуденческую остался Валентин Евгеньевич Хализев. В его семинаре все было просто, душевно и вместе с тем деловито, а главное — добротное, доброжелательно и добросовестно. Хализев не ставил своей задачей нас куда-то вести, а скорее мягко подталкивал — каждого в своем направлении. Он снабжал нас нужными сведениями, отсылками, первоисточниками, задавал много вопросов и помогал каждому становиться самим собой. Если Турбин был Светилом (или блестящим спутником Светила — Бахтина), то Хализев — Просветителем. Это была «школа» не в смысле единого идейного направления, а в смысле тщательного обучения процессу работы, исследования и письма. Валентин Евгеньевич не летал, не парил мыслью — он шел рядом и ставил нам «ногу». Он подробно разбирал с каждым его работу, писал на полях, отмечал неувязки, выражал сомнение. Мне он сказал в одну из первых встреч: «Мыслей и воображения у вас хватает, а я буду вашим сдерживающим, самокритическим началом». Это мне и было нужнее всего. В год нашего знакомства ему было всего 38 лет. И впоследствии, за годы нашего дружеского общения, постепенно дора-

стая и перерастая его прежний возраст, я все больше ценил в нем то, чем обычно пренебрегает юность: неторопливость и взвешенность суждений, добрую отзывчивость, ненавязывание себя и своего, вникание в каждую мысль как некое волеизъявление личности, которую нужно уважать, хотя и не обязательно соглашаться (даже это последнее предложение я невольно написал в хализевском стиле). Если человек есть мера всех вещей, то Валентин Евгеньевич всегда был для меня — и остается — мерой самой человечности. Какой прекрасной была бы Россия, если бы в ней распространился, ее населил старинный, провинциальный, учительски-священнический род Хализевых!



*С Валентином Евгеньевичем Хализевым
у него в Матвеевском. 2003*

Кроме учителей явных, были еще неявные, заочные, не ведавшие о своем учительстве. Главными среди них были: в прозе Андрей Битов (см.), в науке М. М. Бахтин (см.) и С. С.

Аверинцев (с которым я лично познакомился много позже, а по-настоящему разговаривал только раз, когда был у него в гостях в Вене).

Ю Чтобы не записывать себе в учителя половину мировой литературы, ограничусь конкретными фигурами.

Когда отчима перевели с западной границы в Минск, меня принял в школу № 4 завуч, на которого я смотрел снизу вверх: высокий моложавый мужчина с военной выправкой, копной русых волос и значком парашютиста на лацкане, 25 (то есть, прыжков, но медная подвеска с этой цифрой отпадала, держась на одном колечке и намекая на риск). Фамилия заставляла улыбнуться по-доброму: Владимир Лепёшкин, или Уладзимир Ляпешкин, он был тогда начинающий белорусский поэт, еще без книжки.²⁸ Свою дебютную книжку «Ранішія росы» он подарил мне в 1963 году, когда взял меня, закончившего восьмилетку в окраинном Заводском районе, небезопасном для жизни чего-то взыскующего подростка, в свою школу, еще более центральную, № 2, где теперь был директором. Формально не должен был брать, но это был первый мой опыт литераторской солидарности: удостоверенный поэт, член СП, он пришел на помощь пишущему юноше, чем, по сути, спас. Он назначил меня главным редактором машинописного школьного литературного журнала «Знамя Юно-

²⁸ ЛЯПЕШКІН Уладзімір (Ігнат'евіч. – С.Ю.), нарадзіўся 08.02.1928 г. у вёсцы Церабель Пухавіцкага раёна Менскай вобласці ў сям'і настаўніка. Сярэдняю школу канчаў у Рудзенску, у 1951 г. скончыў літаратурны факультэт Менскага педагагічнага інстытута. Працаваў у школах Менска выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры, завучам, дырэктарам. У 1970-1979 гг. — дырэктар выдавецтва «Народная асвета». У 1979-1987 гг. — дырэктар СШ № 23 г. Менска. Сябра СП СССР з 1962 г. Узнагароджаны медалямі. Заслужаны настаўнік Беларускай ССР (1976). Друкавацца пачаў у 1949 г. Аўтар зборнікаў вершаў «Ранішнія росы» (1961), «Рупнасць» (1966), «Роднае» (1970), «Вусце» (1973), «Перадлеце» (1978). Для дзяцей выдаў кніжку паэзіі «Званкі-званочкі» (1972). – Биографии белорусских писателей. См.: <http://www.slovo.ws/bio/bel/11/0034.html>

сти». Пишущих в школе было раз-два обчелся, и я просто был вынужден «писать в номер», заполняя журнал своими стихотворениями — «Старый город дымный/Надоедает...» и пр. — и эссе, из которых, можно сказать, нашумело одно под сартровским названием «Экзистенциализм — это гуманизм». Будь школа более бдительной в идеологическом смысле, мне бы не поздоровилось, но директор смотрел сквозь пальцы. Он был со мной на равных, у меня было впечатление, что он вовлек меня в своего рода литературский заговор, мы — писатели, а они, все, — «сынки», как он говорил, имея в виду влияние родителей. Владимиру Игнатьевичу Лепешкину я обязан и первой своей известностью «в узких кругах», он устраивал мне «промоушн», посылал выступать с докладом о школьном журнале на республиканские педконференции, на слет стран Балтии и Белоруссии в Ригу, на радио, на ТВ, на съезд писателей. При этом он никак не пытался оказывать влияние на то, что выходило из-под моего пера, а затем из-под свинцовых литер машинки «Ideal». Все вызвало одобрение и энтузиазм, разделенный, кстати, и нашей «литераторшей» Инессой Александровной, экзальтированной дамой с яркой внешностью Jewish princess.

С 12 лет, вдохновляясь постоянно перечитываемым «Мартином Иденом», я упорно отправлял свои стихотворные, а затем прозаические тексты в Москву — в «Известия», в «Юность», в «Молодую гвардию». В Ленинграде у сестры я обнаружил серый сборник «Голубое и зеленое» Юрия Казакова. Писатель мне очень понравился. Но я не мог даже нафантазировать себе такое, что именно Казаков ответит на мое письмо с очередными рукописями, посланными «на деревню дедушке» — на журнал. Когда впоследствии я слышал, что нет шансов возникнуть из самотека, я знал, что со мной произошло именно это — невозможное. Чудо. Вот Юрий Павлович и стал моим московским учителем.

Мне было 17, когда в библиотеке Заводского района я наткнулся на растрепанную книжку «Большой шар» и буквально влюбился в эти интонации и многоточия, обращенные

прямо ко мне. Вскоре на призывном пункте, ожидая очередь на медосмотр, листал подшивку многотиражки «Трактор» и вдруг наткнулся на интервью с автором, распространяемое АПН. Я немедленно ему написал, на адрес, кажется, издательства. И о чудо! Битов мне ответил. Так оно и продолжалось до знакомства в 1967 году в Ленинграде, когда он дал мне прочитать первый вариант «Пушкинского дома». Он проявил ревность, когда я рассказал ему о Казакове: «Зачем вам эти московские дяди?» Я понял, что попал в переплет между двух столиц, двух писательских школ. Не могу сказать, что он «принял во мне участие», он вполне однозначно заявил, что «в смысле помощи я ноль». Да и надеяться на публикацию - «с вашим трагическим опытом» - по его мнению, не имело смысла. О себе он считал, что ему просто повезло. К тому же он не стал артачиться там, где полез в бутылку Рид Грачев, в результате чего его книжка вышла, а книжка Рида нет. Говорил он не только о себе, от него впервые я услышал о Юзе Алешковском, о прозе Добычина и Мандельштама. Битов был словоохотлив, интеллектуально щедр, не жалел для меня времени, но в его отношениях с женой была напряженность, и мне там было не по себе. Встречались мы не часто, но переписка длилась лет пять, пока Битов сам не решил обосноваться в Москве.

Тоже, можно сказать, учитель, однако чему же он меня научил? Глазами его мне открылось истинное положение вещей в подцензурной литературе, и это был бесценный, пусть и вторичный опыт. Меня тяготило, что отношения были «улицей с односторонним движением», и я в ответ делал, что мог, пытаюсь расширить и его горизонт, доставлял труднодоступные книжки, вносил вклад в его личную набоковиану. Он одобрял меня за вкус, но сходились мы далеко не во всем, скажем, на Селине и Набокове — да, но не на Хемингуэе (которого Битов отвергал набоковскими словами «Майн-Рид для взрослых»), не на Нормане Мейлере («им там просто — ва-режку открывать!» в ответ на мои восторги по поводу «Майами и осады Чикаго»), а о Джойсе вопрос, по-моему, даже не

заходил вставал. Особого энтузиазма по отношению к западной литературе он не проявлял, и я был вынужден напоминать себе, что имею дело не с гуманитарием, а с выпускником Горного института, инженером, чьи литературные вкусы утончал куда более просвещенный профессорский сын Сергей Вольф, открывший ему и Пруста и Добычина. Попав под влияние набоковского снобизма, Битов стал отрицать и учение Фрейда. Меня вообще задевало его отношение к «священным камням Европы» – к цивилизации, культуре, свободе.

Последним из учителей, уже во Франции, стал Жорж Бельмон (George Belmont). Сам романист в своем праве, мемуарист, журналист, один из лучших в стране переводчиков с английского, друг Джойса, Генри Миллера, Тенниси Уильямса, Мерлин Монро, Грэма Грина и Энтони Берджесса, Жорж был редактором и энтузиастом двух моих романов, вышедших по-французски.

В мое парижское семилетие он был для меня не только гидом по новейшей истории Франции, по живой французской и англо-американской литературе, не только советчиком по конкретным литературным делам («Избегай курсивов, Серж!»), но и настоящим другом — насколько можно дружить 30-летнему с человеком за 70; впрочем, несмотря на возраст, всегда готовым сдвинуть в сторону свои работы и распить бутылку ирландского виски перед походом в ресторан 7-го округа (где Эйфелева башня).



*Жорж Бельмон и Сергей Юрьенен. За месяц до выхода в Париже
первого романа. Шато Ле Куран, Анжу. 1980*



ФАМИЛИЯ

Э Эпштейн. Фамилия, идущая от городка Eppstein под Франкфуртом-на-Майне. Эту фамилию, как сообщает многотомная Еврейская Энциклопедия, носят потомки колена Леви. Из левитов набирались служители Иерусалимского Храма. Левиты охраняли порядок при богослужении, руководили народом при жертвоприношениях, были музыкантами и пели псалмы, составляли почетную храмовую стражу.

В 2000 г. я побывал в образцовом средневековом городке Eppstein с крепостью и замком. Меня довез от Франкфуртского вокзала живущий в Германии композитор А. Л. Сойников, мы гуляли и щелкали друг друга и тени забытых предков. После этого я путешествовал еще месяц, от Кельна до Ливерпуля, и всюду снимал. По возвращении в Штаты оказалось, что ровно половина моих пленок засветилась, причем именно начиная с фамильного городка. Все, что было до того, сохранилось, а с Eppstein'a на пленку напало затмение. Короткое замыкание Эпштейна с Eppstein'ом, вспышка — и черный провал.

Обычно и любимое лицо бывает труднее всего запомнить — засвечивает пленку памяти. А тут уж любовь так любовь — десятки поколений, вьевшиеся в кровь, так что и натуральную фотопленку заволокло. Ни единого снимка не осталось. А проклятый Нюрнберг, где побывал за день до того, вышел весь целехонек.

Моя фамилия мне никогда не досаждала, хотя и отправляла в конец всяких алфавитных списков, что меня в общем

устраивало, по крайней мере в советское время. Все-таки к концу алфавита уставала любая бюрократическая процедура вызова по именам, выявления опоздавших, проставления галочек и т.д. — легче было проскочить незамеченным. Не исключаю, что название буквы Э — «Е оборотное» — в какой-то мере повлияло на мою склонность переворачивать всякие порядки и иерархии и вообще мыслить альтернативно.

Конечно, вхождению в «русскую советскую литературу» эта фамилия не благоприятствовала. Сочувствующий рецензент «Нового мира» (Лев Антопольский), куда я отправил свой рассказ «Мертвая Наташа», с комплиментами отклоняя рукопись, предложил автору подумать над псевдонимом, который облегчил бы ему дебют в советской литературе 1970-х. Скромный вариант рецензента, помнится, был Наумов.

Ю Одна такая. Уникальная. Однофамильцев нет. Хотя в тщетных их поисках попал на сайт Рунета, который среди прочих загадочных предлагает расшифровать такую: *Топорец-Юрьенен*.

Послал запрос.

Ответа не дождался. Его и быть не может. Поскольку единственный в мире, прошу прощения, ономаст, способный в данном случае пролить хотя бы неяркий свет, — автор сего. Юрьенен изначальный.

Так вот, двойная эта фамилия, еще более абсурдно-уникальная, нежели моя, возникла в Ленинграде в результате бракосочетания здоровенного скобаря с Марией, родной сестрой моего деда. Скуластый детина по фамилии Топорец работал бухгалтером Парка культуры и отдыха имени С.М. Кирова (ЦПКиО), где и был разоблачен. Но фамилия погибла не с этим «врагом народа», а совсем недавно, когда в Питере умерла последняя ее носительница, его дочь — моя крестная мать. Лет за пятнадцать до финала крестная (химик, «Техноложка», дитя хрущевской оттепели) потеряла рассудок. Причина — трагическая гибель сына. Совсем еще юный инженер.

«Записок», подобно наложившему на себя руки ленинградцу Генриху Шефу, оставить не успел, поскольку той зимой по пути с дачи на проклятом 45-м километре был схвачен и повешен. Руки скрутили сзади проволокой, под ним валялась его пыжиковая шапка. Денег не взяли тоже. Надо думать, акт был принципиальным. В начале перестройки город моих предков формировал штурм-группы, сплачивая их, видимо, по давнему рецепту экстремистов: дело свято, когда под ним струится кровь. Впрочем, это только домыслы эмигранта. Никто не знает, кем убит сын моей крестной. Известно мне одно — убит в России. Белое безмолвие. Картину заметает снег.

В наследственной моей квартире у Пяти Углов, куда в августе 1917 въехали новобрачные Юргенены, остался муж моей крестной. Ему за 80. Никакого родства со мной, эмигрантом, на всякий случай не признает, что справедливо: распалась цепь не только времен, но и пространств. Речь, впрочем, не о жилвопросе, а о невероятных синтезах, произведенных еще той Империей, а уж советской — усугубленных донельзя.

Финн, говорите? Коли бы так, то было б слишком просто. Финская только приставка - нен. «Сын», то есть. Юргену. Отцу. Среди финских имен есть Юрьё (Юрий). Юргена нет. Потому Jürgen — имя нижне-немецкое. Нас призывают смотреть Георгий. Отлистаем... Из греческого. Георгос. «Земледелец». Добавочное имя Зевса, который, помимо прочего, покровительствовал земледелию — в особенности, разведению маслин. Люблю. Предпочитая, впрочем, испанские. То есть, тут мы в родстве со всеми Жорами: Егорий, Егор, Юрий.... Гора, Юра, Гера, Геша, Гоша... Иржи, Джордж, Георг, Жорж, Джорджи, Хорхе, Дьёрдь, Йёрген (кстати, в Дании и осенило, где почему-то на вывесках то и дело попадались «Йёргенены»), Йерген, Йёрг, Юрген, Йёрн... Вышли мы все из народа.



*Моя пра-прабабушка Е. Юргенс, супруга Густава.
СПб, вторая половина XIX-го века*

Останавливаясь на нижнегерманском варианте, я представляю себе эпоху Крестьянских войн... как? По пути в библиотеку в Заводском районе Минска (где тоже выпало пожить) я видел, как рубились топорами первопролетарии, вчера оторвавшиеся от сохи... сквозь пелену, окрашенную артериальной кровью, вижу германского хлебопашца-первобеглеца: исход на север, через Нордзее, чисто экономическую эмиграцию в сытую Скандинавию. Потомки Юргена-праотца пересекли полуостров с запада на восток, разжившись чисто финской приставкой. Хладнокровные пассажира-

рии, варяжские монголы. Кровь потомственных мигрантов, видимо, и толкнула предков, осевших в Финляндии, на финальное приключение — в роскошный Санкт-Петербург. Что есть, очевидно, век XIX-й.



*Прадед Василий (Базиль) Густавович и его сын Александр
— мой дед. СПб. 1896*

Что ж, в эпоху «Преступления и наказания» мои «чухонские» растиньяки взяли столицу Империи. Как смогли. До меня дошло имя прапрадеда — Густав. Прадеда — Василий Густавович. В Праге, где пишущий эти строки отбывал по-

следную перед Америкой страну своей пожизненной, а выходит так, что и наследственной эмиграции, уборщицы украли мой, от бабушки доставшийся, золотой православный крест, где была гравировка «Спаси и сохрани», а с задней стороны отчеканена 32-я буква русского алфавита «Ю». Крест был изготовлен мастером Юргененом, который трудился на родственника — хозяина ювелирного магазина «Юргенсон и сыновья». Адрес что ни на есть центральный — Невский, 110. Именно там я, 18-летний, познакомился очно с 29-летним Андреем Битовым, но тема дурной наследственности возникла раньше, когда мама произносила: «Частнособственнический инстинкт!» и «Пережитки капитализма!» — порицая мое отроческое увлечение нумизматикой.

Не без помощи Юргенсона, полковника Генштаба, Шура Юргенен, мой дед, из гимназии был принят во Владимирское юнкерское училище, а свадебное фото, на котором он, прапорщик и командир военной разведки, стоит за сидящей бабушкой, гордой купеческой дочкой, опираясь на шашку с темляком Св. Анны за Брусиловский прорыв, — есть кульминация того, что было достигнуто. Дальнейшее — обвал и катастрофа. Венчание произошло за два месяца до 25 октября 1917. Чем занимались в ту «первую ночь социализма» молодожены? Тактично не задавая бабушке вопрос, я все же выяснял: как так? Почему предусмотрительные Юргенсоны, переводя все авуары, вновь оказались в Северной Европе, тогда как «мы»... Неужели вы с дедушкой не знали, что произошло на Дворцовой площади? «Мы думали: очередная заварушка».

Во всяком случае, официальный советско-российский праздник, День рождения ВЧК я отмечаю, как личную дату: только народившись, ВЧК и вломилось, несмотря на пятый этаж, в приобретенную молодоженам квартиру у Пяти Углов.



*Александр Грудинкин,
мой прадед по бабушке.
СПб*

Я ничего не сказал про бабушку: Екатерина Александровна Грудинкина, родившаяся уже в СПб в 1895, — новгородско-ярославских корней. В роду бабушки колдун Сергей, наложивший магию защиты на город Крестцы, который с тех пор не был взят ни одним противником (исключая большевиков). Ее двоюродный брат — звезда сталинского балета Константин Сергеев, партнер Улановой, супруг Дудинской. Отец бабушки Александр Грудинкин, бабушкин отец, был в СПб купцом вто-

рой гильдии, имевший свой извоз. *Колеса*. Таксопарк, переводя на современность. Выпускница реального училища в Питере – по этому случаю ей было презентовано оранжевое Евангелие, первое, которое я раскрыл. Жена офицера, сидящего в ЧК на Гороховой, 2, затем в «Крестах». Незадачливая нэпманша, пекущая пирожки, которые дед внизу пытался продавать с лотка. Гнущая спину за швейной машиной «Зингер». Блокадница, варившая португю деда (нарезали на манер ориентальной кухни). Мать (и одновременно бабушка), получившая из побежденной Германии урну с прахом сына (плюс полуторамесячного меня)... Тридцать лет жизни с родными могилами на Больше-Охтенском. «Неужели это все?» — последние слова, когда ей было 84, а беглый внук в статусе особо опасного государственного преступника публиковал роман в Париже.



Моя бабушка Екатерина Александровна Грудинкина (в группе дочерей вторая справа). СПб, 1911

Деду же крупно повезло. Перед смертью он успел рассказать своему внуку (11 лет, первая записная книжка, карандашик наострен), что был арестован по доносу Славки Мареничева — своего же ординарца. На Гороховой их было, «как сельдей в бочке» — офицеров. Обматывая колючей проволокой, их топили в Финском заливе с барж. С Финляндского увозили на расстрелы в дачные места с финскими названиями, знакомыми нам по Серебряному веку. Но дед был непричастен к «заговору Таганцева»²⁹. Прапорщик — мелкая сошка. Поэтому в том же 1921, когда расстреляли Гумилева, деда выпустили из «Крестов» живым. Правда, с туберкулезом. Академиев не кончавший следователь, собственноручно написавший справку (как мы с дедом над ней, протершейся на сгибах, хохотали!.. *прочно стоит на платформе Советской власти!..*), нечаянно русифицировал фамилию, тем самым спасши инородца в перспективе дальнейших сталинских отстрелов. Вместо «г» проставил мягкий знак. Так дед стал Юрьенен.

Освобождаясь от всего этого во Франции, я имел шанс восстановиться. Была минута на раздумье, когда в парижской префектуре выдавали вид на жительство.

Но предпочел и дальше пребывать, кем сделала История — все та же самая, рассказанная дебилом... ***full of sound and fury, Signifying nothing.***

²⁹ 24 июля 1921 ВЧК сообщила в печати о ликвидации крупного заговора во главе с В.Н.Таганцевым, имевшего целью вооруженное восстание в Петрограде, Северо-Западной и Северной областях. Чекисты подавали «Дело Таганцева» как «второй Кронштадт» (в марте 1921 г.). Было привлечено к уголовной ответственности 833 чел., из них расстреляно по приговору и убито при задержании 96, отправлено в концлагерь 83, выслано из губернии 11, заключено в детскую колонию 1, освобождено с зачетом и без зачета заключения 448 (судьба прочих неизвестна). — См.; В.Ю.Черняев. Дело «Петроградской боевой организации В.Н.Таганцева» // Репрессированные геологи. М.-СПб. 1999, с.391-395.



*Екатерина Александровна Юргенен (Грудинкина) и ее молодой супруге
Александр Васильевич Юргенен. СПб, август 1917*

ФЕМИНИЗМ

Ю Помню ваши с Ауророй разговоры на темы феминизма: «Какой у тебя, Миша, идеал женщины?» — «Наташа Ростова...» Будто ток к Ауроре подключали. Спор разгорался такой, что мне неловко было за вас обоих.

Э А между вами в практической жизни таких вопросов не возникало? Как ты в семье справлялся с феминистской проблематикой повседневности?



*Феминист Ю. на прогулке с дочерью
читает самого себя в «Вечерней Москве».
Новопесчаная (тогда Вальтера Ульбрихта). 1974*

Ю Я довольно рано приобрел опыт самостоятельной жизни, разве что готовить не умел. Потом научился. А в Париже — и вообще всему. Более того, почитав классику феминизма, стал и сам отчасти феминистом —

но только с магическим уклоном. Этой теме посвящен малоизвестный мой роман «На крыльях Мулен Руж».

Э Я уже тогда интуитивно различал м-феминизм, идейный, мускулиновый, мужеподобный, поборник политических прав, и ф-феминизм, собственно фемининный, преклоняющийся перед «чудом женских рук, спины, и плеч, и шеи», как это неуклюже-перечислительно сказалось у Пастернака, а более красноречиво — у Вл. Соловьева, А. Блока, Д. Андреева в трактатах и стихах о вечной женственности. Мне казалось, что м-феминизм, уравнивая женщину с мужчиной, не возвышает, а принижает ее, выдвигая вперед такие способности, как голосовать, объединяться в партии и программы, выдвигать политические лозунги, писать критические статьи. Способность любить, рожать, создавать новую жизнь, да и просто говорить нежным голосом казалась мне более важной.

ФИЛОЛОГИЯ — см. ПРОФЕССИЯ

ФИЛФАК

Ю Июль 1967. Филфак. Насупленный и как бы сизонebritый мальчик в тени у вывески со списком принятых. Живая «вещь-в-себе» — таким увидел я тебя впервые.

Два мальчика на группу девочек.

Э Родители хотели видеть меня в солидной и понятной им профессии, экономистом, сам же я склонялся к романтическому бродяжничеству, к журналистике (одно время даже хотел стать шофером, чтобы объездить страну). В результате сошлись на середине: пусть будет гуманитарная профессия, но более ученая, оседлая, чем журна-

листика: филология. Я поступил на филфак МГУ в 1967 г., сдав, как золотой медалист, на пятерку два экзамена: русский письменный и устный. Благодарен Владимиру Николаевичу Турбину, который мне эти пятерки поставил (он же, кстати, принимал лет за десять до этого и экзамены у С.С. Аверинцева, который, если не ошибаюсь, поступил на филфак только со второй попытки и тоже благодаря Турбину). Случись одна четверка — и мне бы пришлось сдавать английский и историю, а если учесть, что история — идеологический предмет и что экзамены пришлось на июль 1967 г., через месяц после первой израильско-арабской войны и на первом высочайшем пике послесталинского госантисемитизма, их результат был непредсказуем (точнее, вполне предсказуем).

В группе («пятой английской» русского отделения) нас было два мальчика, но впоследствии присоединился Сергей Бобков, сын Филиппа Бобкова, первого заместителя Андропова по КГБ. Был уже женат, увлекался В. Хлебниковым и даже ездил по его следам в Персию (для нас такие «исследовательские» маршруты были немыслимы). На занятия он приходил редко, еще реже тебя. Вот список девочек, очень неполный: Рая Бородько (комсорг), Ира Будажан (милейшая монголка, флиртвала со всеми, даже со мной), Инна Тен (корейка, уже замужняя), Люба Рыбакова (на вид очень интеллигентная, застенчивая, «мой тип», но ко мне безотзывная), Люба Бабенко, Галя Поворознюк (которая подарила мне черный том Ф. Кафки и играла «К Элизе» Бетховена), Таня Ширма. С девочками внутри группы у меня никаких романтических отношений не завязалось, а единственные человеческие возникли с Таней Горбачевой, которая, как старшая на 3-4 года, меня опекала и учила хорошим, обаятельным манерам в обращении с девочками. В параллельных группах нашего курса учились: поэт Ольга Седакова («четвертая английская»); античиница Нина Брагинская; вечный студент, исключаемый и восстанавливаемый, Борис Сорокин, друг Вени Ерофеева; Юрий Прохоров, сын известного текстолога, ныне директор Государственного

института русского языка им. А.С. Пушкина; Александр Гура, сын шолоховеда, славист-фольклорист; Михаил Андреев, итальянист, сын декана филфака Л. Г. Андреева; Ольга Терновская, славистка... Вообще на филфаке много было детей по-разному известных родителей: Денис Драгунский, Лена Гулыга, Саша Осповат, Ирина Андропова, Сергей Бобков...

У моей истории с филфаком было мажорное вступление и минорное окончание. Я закончил с красным дипломом (*summa cum laude*) — все отл., кроме двух хор. (по логике и фольклору), полученных за первый семестр, когда я бурно увлекся политикой. Но с аспирантурой и распределением случилась катастрофа. Вот что мне об этом рассказал мой дипломный руководитель Валентин Евгеньевич Хализев при нашей встрече 13 авг. 2006 г. Удивительно, что 34 года он держал это под спудом, под сердцем, так это больно в нем и на нем отозвалось.

После защиты диплома Хализев рекомендовал меня в аспирантуру, что ввиду моего пятого пункта было уже некоторым поступком. Г.Н. Поспелов, заведующий кафедрой теории литературы (единственный беспартийный среди всех завов, бывший меньшевик), принял рекомендацию и объявил об этом на собрании кафедры. Ответом была гробовая тишина, в которой Хализеву уже почудилось нечто зловещее — никто не возражал, но и не поддержал. Потом на Ученом совете факультета проходило распределение студентов. По тогдашней практике, рекомендация в аспирантуру освобождала от распределения. Соответственно и я отказался от распределения, объяснив, что у меня есть рекомендация в аспирантуру. Позвонил с этой новостью Хализеву. Он посоветовал мне принять распределение, что я и сделал день или два спустя. Почему мне не разъяснили этого раньше, я так и не понял, возможно, нарочно подставили. Далее на заседании кафедры теории литературы выступил парторг факультета Петр Юшин, который заявил, что в свете моего отказа от распределения кафедра, естественно, должна отозвать свою рекомендацию.

Никто не посмел возразить, даже Пospelов. А Хализеву было вынесено официальное порицание за плохую воспитательную работу со студентом М. Эпштейном, и его назначение в доценты (из старших преподавателей) было отложено на два года.

В НИИ информации в области строительства и архитектуры, куда я пришел по распределению, меня не приняли, сообщив, что нужды в таких специалистах больше нет. В общем, раскрутили лоха по полному кругу: рекомендовали в аспирантуру, чтобы освободить от распределения; за отказ от распределения не приняли в аспирантуру; при согласии на распределение не приняли по месту распределения.

См. ПРОФЕССИЯ, ПРОФЕССОРА, УНИВЕРСИТЕТ, УЧИТЕЛЯ

ФРАНКО

Ю В сентябре в Испании еще казнили, но 25 ноября 1975, после долгой агонии, Франсиско Франко Багамонде приказал долго жить. Возможно, 26-27 я позвонил тебе с Новопесчаной, чтобы выразить ликование. Не принимая мой контекст, ответил ты с небес. Твои слова были строги и безапелляционны: «Не думаю, что смерть человека, кем бы он ни был, есть повод для радости».

Э Возможно, я его пожалел, потому что он, в сравнении с нашими, был умеренным и мб. даже мудрым тираном. Вот, между прочим, ясное воспоминание. Первый мой разговор с Ауророй, я у вас в Солнцево. Речь, конечно, об Испании. То ли я не разобрался, что Аурора — коммунистка (хотя и евро—), то ли... Но было естественно для всех приличных людей в нашей стране уважать антикоммунистов, хотя бы и вчуже. А Франко им был, и к тому же заслуженным,

одной из главных мишеней сов. пропаганды. Поэтому я счел приличным сразу установить с Ауророй некий общий образ мыслей на примере «великого испанца». Кажется, так и поставил вопрос, насколько Франко, по ее мнению, крупная личность (т. е. речь шла только о масштабе, положительная оценка подразумевалась). Был поражен резкой отповедью, которая звучала в унисон с советской оценкой (фашист, диктатор, людоед, мучитель и т.д.). Это меня смутило и заставило призадуматься: оказывается, есть вполне осведомленные люди, которые искренно думают то, что пишут в наших газетах. Это побудило меня расширить цвета своей политической палитры, ввести туда нечто вроде розового, о котором я раньше не имел представления. Я также понял, что у европейцев перевернутая по отношению к нашей шкала оценок, и в разговоре с ними нужно все время производить мысленную перестановку правого и левого, как перед зеркалом. Наши правые — ихние левые. Ауроре я остался навсегда благодарен за урок. Но боюсь, она мне такого возмутительного начала не простила.

Ю Этот ваш микроконфликт — зародыш позднейших и многолетних баталий «третьей волны» эмиграций, конфликт, отражающий максимум, отчужденную еще в предреволюционной России — о принципиальном отсутствии врагов *справа*. Владимир Емельянович Максимов, главный редактор «Континента», терял самоконтроль, когда *слева* — из того же «Синтаксиса» — ему напоминали об эксцессах антикоммунизма в Латинской Америке, чилийских стадионах или аргентинских «эскадронах смерти»...

Немудрено было тебе не разобраться в политических ориентациях моей французско-испанской жены — именно отчасти в этих видах впоследствии я написал целый роман, в журнальном варианте (который выдвигался на Букера) названный «Желание быть испанцем», а затем переименованный мной в «Дочь генерального секретаря». Суммирую: радикальное правдоискательство, присущее Ауроре, на третьем

году нашей совместной жизни вывело ее далеко за рамки стандартных еврокоммунистических реакций. А в 1977 году в Париже мы на пару стали политическими беженцами, только она, *refugiee politique*, - вдобавок еще и беженкой от «международного коммунистического движения».

Что же касается вашего разговора в Солнцево при первой встрече в 1972 году, то — множественность истины! — вы оба, конечно, были правы, и ты, умозрительный, и она, инсайдер, «владеющая информацией» дочь человека, который не на словах, а всерьез - как в фильме «La guerre est finie» с Ив Монтаном - боролся с франкизмом, победил и стал одним из подписантов новой конституции демократической Испании.

Я, ставший тоже инсайдером, знал, конечно, много больше, чем те два-три «бита», которые использовал в прилагаемом рассказе «Телефон», который в контексте конфликта КПСС с еврокоммунизмом был признан политической ошибкой редакции газеты «Ленинское знамя» и разбирался на специальном заседании обкома КПСС Архангельской области, имея результатом увольнение сотрудника Андрея Сальникова, бывшего однокашника по МГУ, — благодаря которому состоялась эта моя северорусская публикация.

См. ПРИЛОЖЕНИЯ, рассказ «ТЕЛЕФОН»



ЦВЕТ

Э Мне очень нравится серый. Тебя так в детстве не звали, как всех Сереж? Гете и его многочисленные цитатчики, включая Маркса, оболгали серый цвет. «Сера теория, мой друг, но вечно зеленеет древо жизни». Как будто само дерево не серого цвета! У серого даже больше оттенков, чем у зеленого: от жемчужного до дымчатого, от перламутрового до пепельного, от свинцового до суконного, от облачного до мышинного... Жизнь — это многоцветье, в котором преобладают оттенки серого. Из других цветов люблю сиреневый, лиловый и вишневый.

Ю Серым меня звала крестная, и не могу сказать, что мне это нравилось: тем самым она меня стусевывала, тогда как мне хотелось быть «радужным», что соответствовало самоощущению.

Когда мне подарили набор карандашей не только всех цветов, но и оттенков, было чувство, что я властелин мира, все многоцветье которого принадлежит мне. Помню борьбу с цветом в «изокружке» — за то, чтобы удержать его «правильную» акварельность. На переходе к юности я отказался от цвета вообще ради графики, но, кажется, не случайно рука моя потянулась к книжке «Голубое и зеленое». Мои хроматические предпочтения определяются периодами жизни. После советского цветного голода я пережил бурный взрыв в Париже (ко-

торый и есть тобой описанные «оттенки серого»). Наконец была доступна вся палитра. Но вот что я предпочитал: сиреневый, фиолетовый, бордовый, черный. Жемчужно-серый. Милитарный (но по-французски смягченный) хаки. С годами реабилитирован и красный, к которому постепенно, но утратилась политическая идиосинкразия (но я его люблю теперь слегка малиновым). Вернулись из 50-60-х пастельные тона, вернулись и оттенки оранжевого. Здесь, в Америке, вышла на первый план никогда не покидавшая меня сине-зеленая тема — все ее оттенки. *Bleu de roi*. Вся маринистская палитра. Очень люблю «лермонтовскую» лазурь (за обещание, возможно, бури?).

Э У меня был период помешательства на цветах и красках, кажется, летом 1977. Я ездил тогда в гости к Алеше Парщикovu в Киев и непрерывно писал акварелью на плотной бумаге, на картоне. Ни малейшего дара и даже склонности к живописи во мне не проявлялось ни раньше, ни потом, но в течение месяца-двух я был обуреваем изобразительными сюжетами. Они примерно так же относились к настоящим картинам, как мои конспекты, «идеи» рассказов к настоящим рассказам: это были аляповато раскрашенные «эйдосы». Но в ту краткую пору мир не просто мне предстоял, он набрасывался на меня сочностью красок, я изнемогал, как в любви. Второй раз это полнокрасие случилось по приезду в Америку и продолжалось уже два года, правда, без всякой живописи, просто утоление глазами многолетнего цветового голода (само слово ЭСЕЕСЕР было наполнено для меня тусклейшими оттенками серости).

Ч

ЧТЕНИЕ

Э Бесконечные общие тетради с конспектами и комментариями. Кого я больше всех читал в те годы, помимо общехудожественного? Лао-Цзы, Платон, Гегель, С. Киркегор, Ф. Ницше, В. Дильтей, З. Фрейд, Ч. Пирс, А. Бергсон, Б. Кроче, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, Э. Кассирер, Ж.-П. Сартр, Г. Маркузе, М. МакЛюэн, Н. Фрай, К. Леви-Стросс, Р. Барт, Н. Браун, Р. Гароди, С. Зонтаг... Из отечественных — А. Потебня, В. Соловьев, В. Розанов, Л. Шестов, Н. Бердяев, Д. Мережковский, М. Бахтин, Ю. Лотман, С. Аверинцев, П. Гайденко, Г. Гачев... Ленинка, Иностранка, Библиотека МГУ. Самиздат. Тамиздат. По какому-то удостоверению, может быть, от ИМЛИ, проник в Спецхран Ленинки. Помню это особое, торопливо-вороватое чувство поднадзорной территории, с которой надо как можно больше всего забрать, перенести в тетрадь, пока тебя не засекли и не прогнали.

Читал я всегда жадно и много, но медленно. 20 стр. за час — для меня это уже неплохой результат. Листогоном никогда не был, кроме, кажется, одного взрыва в отрочестве, когда за день проглотил «Всадника без головы». Медленно потому, что бездвижно и беззвучно шевелю губами, т.е. мысленно произношу текст, а к тому же еще отвлекаюсь всякими попутными соображениями и ассоциациями. Читать и мечтать — эти занятия для меня сближаются. В университете я предпринял единственную попытку обучиться скорочтению. Дело нехитрое: нужно всего-навсего читать глазами, не произнося текста

про себя, не задерживаясь на имитации устного слова. Таким способом я читал к зачетам литературу народов СССР, например, «Раны Армении» Хачатура Абовяна. Прочитал быстро, но никакого удовольствия этот метод мне не доставил. Все равно как секс с презервативом: вроде то же самое, но нет ощущения, что это происходит на самом деле. И в дальнейшем я уже никогда не возвращался к скорочтению.

Я читаю медленно еще и потому, что чувствую, как писатели меня пишут, сочиняют, пока я их читаю. Понятие «литературного произведения» намного шире, чем обычно трактуется. Читатель — тоже литературное произведение. В общении с человеком всегда чувствуешь степень и источник его «сочиненности». Вот этого сочинил М. Булгаков. А того — А. Камю. А от этого, увы, раздается только шелест газет. Мы все слегка сочиненные — теми, кого мы читаем. Если литературные персонажи сочинены целиком, то читатели сочиняют себя в сотрудничестве с писателями. Чичикову или мадам Бовари уже никуда не деться от своих создателей. А у нас, не написанных, но читающих, есть широкий выбор соавторов. Мы свободны сотрудничать с Гомером и Шекспиром, с Байроном и Бальзаком в искусстве самосотворения. По собственной воле мы можем смешивать разные стили, добавлять чуть-чуть чеховского или бунинского, оттенять Руссо Вольтером, углублять Камю Кафкой, а к густому мазку Л. Толстого добавлять прустовской прозрачности. Мы, читатели, — вольные персонажи, сами выбирающие себе авторов и привлекающие целый их сонм для создания всего лишь одного персонажа — самого себя. Только в создании этого единственного персонажа возможно сотрудничество таких непохожих, несовместимых авторов, как Данте и Рабле или Платон и Ницше. Мы пишем себя всем прочитанным.

Но и непрочитанным тоже, оставляя на своем я-полотне куски грубого, непрописанного холста. Может быть, для этих белых страниц еще нет на свете автора? или я его еще не нашел? — и именно поэтому рыщу по магазинам и библиоте-

кам, роюсь во множестве книг, перелистываю, ставлю назад... И наконец, в поисках так и не найденного автора, покупаю чистую тетрадь. Мне самому придется им стать. Да, порой писателями становятся лишь для того, чтобы прочитать наконец ту книгу, которую еще никому не довелось написать. Жажда чтения несуществующих текстов создает новых авторов. Как война есть продолжение политики иными средствами, так писание есть расширение читательского опыта иными средствами. Писатель — это неутоленный или разочарованный читатель: он пишет то, чего ему не удалось прочитать у других. Так что писательство для меня — тоже форма чтения. Прежде чем стать автором, я был произведением целого авторского коллектива, куда входили философы и писатели. Надо мной работали Платон, Л. Толстой, Т. Манн и все вышеупомянутые.

Ю До тех пор пока я не достал американскую библию карманного издания, время от времени я извлекал Евангелие в твердом переплете, преподнесенном в 1915 году выпускникам петербургских реальных училищ (бабушке).

Если говорить о любознательности, то это было в основном в модусе интереса к восточной мысли (древнеиндийской, древнекитайской), экзистенциальной и психоаналитической. «Дхаммапада» и Лао-Цзы. Платон. Стоики. Марк Аврелий. Монтень. Серён, конечно, как конкретная предтеча. Дневники и религиозно-философские работы ЛНТ из 90-томника. Шопенгауэр. Хайдеггер (насколько мог вникнуть, «Бытие и Время» у меня было в английском переводе). Ясперс (по-французски). Сартр (тут, кроме французских изданий, было кое-что и по-русски). Конечно, Фрейд.

Самиздат и Тамиздат — позволь мне выразить несогласие — суть необщехудожественное в те времена. За наш с тобой московский период в этом «формате» я сумел прочесть «только» Бердяева, Мандельштама, Бродского, Пастернака,

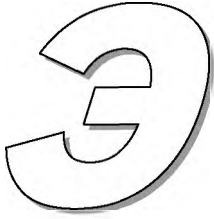
Набокова и Солженицына. Ни один яркий антисоветский нонфикш, как видишь, ко мне не добрался, хотя я был ищущий и непугливый читатель. А кроме того — стремящийся читать в оригинале, чему способствовала моя жена—полиглот, которая — что было делать еще в Москве? — перевела мне за несколько лет нашей совместной тамошней жизни все, о чем мечталось, включая главные романы Селина и никому тогда не доступный роман Кортасара *Rajuela* — «Игра в классики».

Вот авторы, которых я частично раздарил (отчасти и тебе), частично оставил, убывая в свободный мир, в своей библиотеке в «Белом доме» на Трифоновской улице:

James Joyce, D.H.Lawrence, Graham Green, E. Hemingway, V. Nabokov, James Jones, Norman Mailer, John Updike, Anré Jide, L.-F. Céline, J.-P. Sartre, S. de Beauvoire, B. Vian, J. Cortazar, Arabal, S. Mrožek...

За каждой книгой была своя история «доставания», своя цена самоотказа (недоедания-недопивания), и мне было безумно жалко оставлять этот круг чтения, который поддерживал нас в столице мирового тоталитаризма.

См. ВЛИЯНИЯ, КНИГИ



ЭТИКЕТ

Э Мы пришли к вам в гости, Аните было года 3-4. Нас поразило, какое ей давалось западное воспитание в смысле хороших манер. Передник, салфеточки, манера брать ложку, (не) раскладывать руки на столе. Аурора тщательно отслеживала каждый ее жест и терпеливо, мягко, но настойчиво внушала, как это делается в приличном обществе. «Вот он, Запад» — вздохнулось нам.

На самом Западе ничего подобного не обнаружилось. Или Америка не Запад? Недавно я был на обеде в честь исландского президента, сидел за одним столом с его женой. Подали кофе с пирожным. Я стал ковырять пирожное вилкой. Посмотрел на соседней слева (профессоров, в основном женщин), они ели пирожное чайной ложечкой. Я смутился и тихо заменил себе вилку на ложку. Потом посмотрел на соседней справа (профессоров, в основном мужчин). Они ели пирожное вилкой. Я почувствовал некоторое облегчение совести от релятивности светского этикета, но тут меня уже стал заедать познавательный интерес: а как же правильно? Посмотрел на первую леди Исландии, древнейшей демократии мира. Она ела пирожное И ВИЛКОЙ, И ЛОЖКОЙ. Отламывала вилкой кусочки от пирожного и перекладывала в ложечку, которую и подносила ко рту. «Аристократизм — это компромисс и гармония», — решил я. Впрочем, трудно судить, насколько первая леди была аристократкой. Вообще-то она еврейка из Тель-Авива, где ее семья до сих пор занимается ювелирным бизнесом.

Так что правила этикета в нынешнем мире все более относительны, и единственный раз, когда они предстали мне во всей своей абсолютности, — у тебя в гостях, в Москве эпохи позднего коммунизма.

Ю Непринужденная чистота движений, искусство неизменно быть «в своей тарелке», а не за ее пределами — это то, что завещал нам просвещенный французский абсолютизм и чего в его органическом виде не существует, по-моему, за пределами «Гексагона» - ну разве что в изученном виде на дипломатическом уровне или в «высших кругах» других стран. Конечно, без этого можно обойтись: едят же в Америке без ножа, а в пользу одноразовых пластиковых приборов можно привести гигиенические аргументы. Но глядя на это из Франции, или даже офранцузенными глазами, нельзя уже воспринимать прочий мир без усмешки, насмешки или сожаления.



ЮВЕНИЛЬНОСТЬ: ЮНОСТЬ НАВСЕГДА

Что у нас осталось от юности, какие переживания, открытия, устремления мы перенесли в последующий возраст? Сохранились ли черты, которые можно назвать «ювенильными» (не «инфантильными»). Хотели бы мы сохранить их до конца или от чего-то избавиться?

Э От юности у меня сохранилось желание большого, великого, какая-то гигантомания, которая вообще-то мешает специализации и успехам в области конкретных дисциплин. Я в глубине души не чувствую себя ни филологом, ни философом, ни культурологом (хотя и эти специализации слишком широки) и вообще не знаю, кто я такой, хотя понемножку вмешиваюсь во все, включая лингвистику и даже психологию. Я определил это для себя как поле «гуманитарных наук», но и его постоянно пытаюсь раздвинуть все новыми дисциплинами, которые сам же и произвожу по мере необходимости. Это можно рассматривать как влияние утопической русской, мессианской еврейской или совокупно советской утопически-мессианской ментальности, которая стремилась решать все вопросы в «мировом масштабе». Но это можно и не скидывать на время и происхождение, а приписать только себе и считать ювенильностью. Я по-прежнему так же разбрасываюсь, работая параллельно над десятком проектов и чередуя их иногда в течение одного дня. И в каждой области меня волнуют только мировое, глобальное, поворотное и перепоротное. Взрослые люди обычно так себя не ведут, они за-

канчивают одно и только тогда начинают другое, и они сосредотачиваются на деталях, глубже входят в частные вопросы. Если юность моя была инфантильна, то зрелость, переходящая в старость, ювенильна, — такое вот отставание по фазе. Наверно, я хотел бы приобрести больше взрослости, эмпиричности, специализации, но не за счет юношеского «все-все» — да теперь уже и поздно.

ЮНОСТЬ: МЕТАФОРЫ

Чему бы ты уподобил юность? Есть ли какой-нибудь образ, символ, эмблема, метафора, которыми ты мог бы передать особенность этого возраста?

Э В юности так все звонко, голосисто, а вместе с тем и так смутно, неопределенно, разбросанно, что напрашивается гоголевский образ: «струна звенит в тумане». Это из «Записок сумасшедшего». Но юность и есть своего рода сумасшествие, узаконенное биологическим естеством и социальным обычаем. Тот, кто в юности не сходит с ума, не ведет себя эксцентрически, экстремально, не отдается страстям, не бежит из дому, не устраивает скандалов, не доводит близких до обморока, — тот считается и впрямь не совсем нормальным, и все это выражается глаголами с приставкой «пере-»: *перебесится* — успокоится; *перемелется* — мучка будет...

На собственном опыте я бы заменил туман на чад. Туман прохладен и возникает из скопления в воздухе кристалликов льда и капелек воды, тогда как чад — это следствие огня, неполного или неправильного сгорания: едкий, удушливый дым от сырых дров, недогоревшего угля. Юность, конечно, не холодна, а пламенна, и именно поэтому ее смутность — это не туман, а угар. Ум пылает, сердце пылает, но пламя это трудно соединяется с веществом существования, еще сырым, зеле-

ным, и поэтому производит угар, кромсает по живому и терзает легкие удушьем. За что бы я второпях ни брался: за написание рассказа, за выступление в семинаре, за личные отношения, за политические разговоры, за общественные и научные проекты, — все отдавало каким-то чадом и приносило удушье, и я не мог понять, откуда этот привкус угара. Ведь я горю, почему же вместе со мной, тем же чистым пламенем не горит весь мир? А он не хотел, сопротивлялся моему огню. Вот когда несколько лет погоришь, тогда вокруг тебя высушится то вещество, которому ты постепенно передашь температуру своего тела; и дальше оно может сгорать вместе с тобой легко и чисто, утепляя вселенную и не оставляя смрадных, черных частиц, раскромсанных трупов пламенного насилия. Такая у меня метафора — поправка к гоголевской.

Ю Точная, полнообъемная метафора, которая отменяет все другие, приблизительные... Повторить ли за Казаковым — «голубое и зеленое»? Чего-то воспаленно-пламенного в этом спектре мне не достает. Перефразировать ли Стейнбека (то есть, Шекспира, «Ричард III», *now is the winter of our discontent...*): «Весна тревоги нашей»?

Тревога — более сильное слово, чем *discontent* — здесь вполне уместно, потому что тревожность свойство именно юности, что было замечено и в советский оттепельный период чутким тандемом Пахмутова/Ошанин — я имею в виду «Песню о тревожной молодости» (1958), которая меня волновала на подступах к юности: «И снег, и ветер, и звезд ночной полет... меня мое сердце в тревожную даль зовет...» Нет спору, даль юности оказалась весьма тревожной, но куда сильнее алармировала самая что ни на есть экзистенциальная близь, душа.

ЮНОСТЬ И МОЛОДОСТЬ

Как мы определяем юность в границах своей жизни, какими годами? Чем она отделяется от предыдущих и последующих возрастов? Отличается ли она от молодости?

Э В схемах научно-психологической периодизации юношеский возраст обычно определяется как 17 - 21 год для юношей и 16 - 20 лет для девушек. Для себя я определенно добавил бы еще один год до окончания университета: 17 - 22. Но и 2-3 послеуниверситетских года для меня были еще переходными от юности к молодости. Собственно же молодость начинается для меня в 25 лет, с создания семьи, и продолжается примерно до 30 лет, до рождения первых детей, когда, тоже постепенно, устанавливается состояние зрелости. Так что моя юность — с 17 до 25, молодость — с 22 до 30, каждый период по восемь лет, из которых тремя годами они накладываются друг на друга, создавая шлюз, систему переходов. Все эти границы условны и имеют смысл только в психодинамике индивидуального возрастного развития. Юность — это сила, которая еще не знает, что с собой делать, тычется во все углы и закоулки, набивает шишки, тратит столько же, если не больше, чем приобретает. Молодость — это сила, которая уже знает, что ей нужно с собой делать, или по крайней мере знает, чего ей делать не нужно, и мой промежуток в три года как раз состоял в переходе от отрицательного знания к положительному. Молодость так же шумна, бурлива и широкозахватна в своих переменах, как и юность, но у нее появляется вектор. Центробежное движение юности сменяется центростремительным, а разбрасывание камней, оставленных предыдущим поколением, сменяется собиранием собственных и строительством своего дома. Когда дом более или менее завершен и в нем есть, кому обитать, начинается зрелость.



*Миша, 1979, Марьевка, Украина.
Конец молодости. Свободен, наконец, свободен!
Фото А. Монастыренко.*

Ю Законы гравитации, которые формируют схему, предложенную тобой, в моем случае не имеют столь же притягательной власти. Я – человек Воздуха, строю не из камней. Мой образ дома – воздушный замок (по-французски – шато д'Испань, опять-таки замок, но – испанский). И опять-таки не случайно за порогом юности меня подстерегал эфир – подрывной, имею я в виду. В этих воздушных я преуспел настолько, что только чудом спас свою литературу и жизнь от полного в них благорастворения.



Serge Lourinen, 1983. Париж, рю Сен-Дени

ЮНОСТЬ: ЕЕ НАСЛЕДИЕ

Кто у нас остался от юности, какие спутники жизни, мысли, воображения? Кто нас не оставил и кого мы сами не хотели бы оставить? А кого и почему мы больше всего уценили, отлепились душой?

Э С юности у меня осталось совсем немного близких людей, с которыми все еще сохранилось внешнее и внутреннее общение. Иных уж нет, а те далече. Остался ты. Осталась Ира Панкратова/Муравьева (хотя в университете мы общались мало и сблизились только в Америке).



*С писательницей и сокурсницей Ириной Муравьевой у нее дома.
Бостон. 2009*

Валентин Евгеньевич Хализев, мой научный руководитель, — общаюсь с ним редко, но образ его крепко держу перед собой. Оля Седакова — регулярного общения нет, но когда

встречаемся, я слышу в ней кровь, «хроносомы» своего поколения, нам легко понимать друг друга, и чем дальше, тем больше.



*С поэтессой Ольгой Седаковой. Университет Эмори,
Атланта, 2007*

Андрей Битов — я по-прежнему ценю общение с ним и люблю написанное им тогда, хотя меньше восприимчив к последующему. Все другие близкие люди приобретены либо родственно, раньше, либо дружески уже позже, в молодости и зрелости.

Что касается спутников мысли и воображения, то навсегда остались Платон, Монтень, Гете, Достоевский, Ницше, Бахтин, сохранилось восхищение А.Солженицыным, а вот увлечение «левыми» и «новыми левыми» мыслителями, такими, как Сартр и Маркузе, сошло на нет, и блестящий Набоков тоже

меньше стал меня занимать, как и литературный и художественный авангард.

Ю Такое ощущение, что, благодаря моему третьему браку, я выпрыгнул из своего поколения — назад лет на двадцать. Кроме того, межличностные отношения к данному моменту почти окончательно виртуализовались. Не могу сказать, что охладел, тем более, что впал в мизантропию и перестал быть «жаден до людей». Но в этом смысле якобы «живой» журнал, ЖЖ, потребности в общении вполне удовлетворяет. С другими, небезразличными и дорогими мне людьми — а они все «далече» — как писатель Анатолий Курчаткин, мой первопубликатор — общение опять-таки компьютерное. Даже с младшим братом — выпускником мехмата МГУ и очевидцем московской юности своего старшего брата. Даже с мамой — в свои 88 мама вполне еще очевиден.

Говоря же о неблизких, но с теми, с кем приятельствовал, знакомствовал и просто соседствовал в Главном Здании юности, — одни преждевременно сошли с трассы (в Ивделе, исходном пункте своего трансатлантического «путешествия» — работал он и в Перу, и на Кубе — умер Юра Токарев; без отзвука растворился Андрюша Ваненков, ментально сломленный Братиславой; оба замечательные полиглоты-самородки); другие, надеюсь, здравствуют, но вполне безмолвно. Моя репутация писателя-невозвращенца, вещавшего на коротких волнах от имени самой Свободы, предохраняла меня от излишнего общения при советской власти; видимо, эта репутация продолжает оказывать свое влияние в новых условиях электронной поднадзорности, и это понятно — поколение наше в среднестатистической массе своей и в юности было весьма оглядчивым и осмотрительным, о чем же говорить теперь, когда оно вступает в отмеченный консервативностью «третий возраст»... Но иногда оттуда раздаются анонимные звуки, по которым я и констатирую: «молчаливое большинст-

во» поколения здравствует. С другими, возникающими в том же ЖЖ, я сам предпочитаю не вступать в отношения, поскольку помню их извилисто-рептильную комсомольско-карьерную юность — «мальчиков-чего-изволите».

Непосредственные встречи стали вообще редки — а здесь, в Америке, из современников моей юности встречаюсь я live, пожалуй, только с тобой.

И ты же — один из сохраненных мной «спутников мысли и воображения»: тебя я продолжаю читать.

Как и Нормана Мейлера, кстати — он умер, когда я уже был в Америке и как раз открыл для себя место, где он родился; мы с Мариной часто там бываем, в обдуваемом и омываемом Атлантикой городке, делаем «милю Мосса» по дощатой набережной, загораем, купаемся, плаваем; при этом с нами всегда его книги.

Мне, однако, легче перечислить тех, кого я перестал читать. При том, что я слежу за текущей мировой литературой, особенно русской, американской, в меньшей степени французской, я — в какой-то степени удерживая Джойса, Гертруду Стайн и Хемингуэя — утратил интерес к целому ряду магнетических имен юности: Фолкнер, Жид, Кортасар, Камю, Сартр, Селин, Набоков... сохраняя, разумеется, благодарную память «о том, как это было в первый раз».

Федор Михайлович, Лев Николаевич? Они настолько онутрились, настолько вошли в мой состав, что, кажется, *tecum porto*, даже годами не снимаемые с полки.

Что касается чистого любомудрствования, то в этом плане философия решительно уступила место эзотерике.

ЮНОСТЬ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Э «Юность — это возмездие», Генрик Ибсен.

Я тогда не знал, в каком контексте это у Ибсена, но, как эпитафия к блоковскому «Возмездию», это изречение меня преследовало смутной своей правотой. Было у меня две догадки.

1. Юность — это возмездие за безмятежность детства, золотые сны единства «я» и мира и его всеблагой опеки. Юность обнаруживает раскол в основании «я», его внезапное отщепенство, не укорененность ни в роде, ни в семье, ни в доме, одиночество странствия в никуда.

2. Юность — это возмездие старым и зрелым, тем, кто установился в своих домах, спальнях, заботах и службах, — и юность приходит, чтобы все это осмеять, презреть, поставить под вопрос, отнять экзистенциальный уют у этих заживо себя схоронивших.

Получалось, что юность — возмездие за детский возраст или возмездие старшему поколению. Из пьесы «Строитель Сольнес» видно, что верно второе, простейшее толкование. «Сольнес. Юность — это возмездие. Она идет во главе переворота. Как бы под новым знаменем».

Но еще тогда, в юности, я пришел к третьему смыслу: что юность — это возмездие *самой себе*. Она мучит и мучится, она мнит себя расцветом жизни, лучшим возрастом, острейшей радостью, а между тем оказывается временем самых жестоких терзаний. Захлебывается, припадая к чаше жизни, и вместе с тем ее рвет и тошнит от перепития. Не умеет пить. От голода все время сосет под ложечкой, но желудок еще не стал луженым. Юность — это запой длиною в 5-7-10 лет, который у иных растягивается на всю жизнь. И одновременно это приступ рвоты, выворачивающей наизнанку до опустошения, до экзистенциальной язвы, изжоги и готовности к самоубийству. Чад, угар, сон разума и зубная боль в сердце.

Ю Но это и был перманентный экстремизм во всем. Хотя я себе и напоминал (во всёрасширительном смысле): «Достоевский — но в меру», однако полумер не удавалось соблюсти ни в чем. Если чтение (или игра в карты), то до зари, когда уже пора вставать и ехать на фак. Если алкоголь, то до полного изумления. Если секс, то трое суток нонстоп до полного зануления. Но если дисциплина, то до полного анахоретства, пережитого мной после завершения отношений с Леной на улице Северной в Солнцево.

Юность не столько возмездие. Прежде всего юность — это опасность. Смертельная и тотальная угроза. Со всех сторон. Изнутри. Вот именно что желудки еще не луженые: сколько раз меня самого чудом спасали в больницах. Инфекционное отравление в студенческой столовой на Мичуринском, месяц на Соколиной Горе (соляночки поел). Через 2 курса заварил кофе в оловянном чайнике образца 1953 года — желудочное кровотечение, 2 литра крови потерял. Лишенный осознанных суицидальных комплексов, не могу не помянуть здесь всех ровесников, не переживших свою юность, самоубийц, всех соравившихся, утонувших, разбившихся, как говорят, «по глупости», всех, неудачно штурмовавших свои собственные пределы. Но и снаружи тоже. Сколько раз меня пытались убить! Взрослые — за то, что молодой; ровесники — за непохожесть, за инакость, а иногда и беспричинно, просто, чтобы догнать и испытать тоже очень юную радость убийства, всаживая длинный немецкий штык или групповым футболом превращая твою голову, столь бесценную, но только для тебя, в размозженную массу, не совместимую с дальнейшей жизнью.

Находясь внутри юности, я не исключал, что не переживу ее физически. Слишком уж неожиданно и часто прорывалась тонкая пленка, за которой нас, совсем к тому не готовых, ждали вполне серьезные, окончательно капитальные вещи — смерть, *non-being*, ничто. С тех пор мне ни разу не приходило в голову поблагодарить свою судьбу, своего демония, своего ангела-хранителя за то, что не без потерь, но все же вынесло меня за пределы того радостного и свирепого периода, где в

наши мирные времена осталось не так уж и мало сверстников; так вот: *спасибо, Ангел.*

ЮНОСТЬ: ПОТЕРИ

Какие самые большие наши потери со времен юности? Можно ли и нужно ли их возвращать?

Э Пожалуй, все самое хорошее, что было в юности, впоследствии оставалось со мной или возвращалось ко мне: открытия любви, дружбы, вер, книг, художественных и мыслительных миров, радость познания, скитаний, встреч. Конечно, я бы не отказался возродить то чувство «первопутка», с каким входил в твой, гораздо более взрослый мир; того узнавания и сопереживания, с каким читал А. Битова, Ю. Казакова, В. Аксенова; того восхищения, с каким открывал для себя В. Набокова и А. Солженицына; тех жизнеоткрывающих разговоров, которые вел с Сашей Бокучавой, и смешных и веселых — с Сашей Николаевым. Тех тайн, которые вдруг светились в женских лицах. Тех вольных странствий по людям, той непредсказуемости во встречах, которые могли обернуться новой любовью или дружбой, может быть, на всю жизнь. Но я помню и то, что со временем вся эта открытость стала оборачиваться пустотой, тяжестью и даже отчаянием. А потому моя благодарность юности не вызывает во мне желания ее повторить, оказаться на месте того юнца, который жадно впитывал окружающий мир и жадностью своей часто губил то, что должен был хранить в чистоте от себя.

Ю Мне — нам с Ауророй — не удалось сохранить наш юношеский брак. Несмотря на то, что мы продлили его через четыре страны и на 27 лет, мы растались. Это было в Праге. Никогда не верил в самую возмож-

ность подобного финала наших отношений. Но стал жить дальше.

ЮНОСТЬ: РАЗНЫЕ ПОКОЛЕНИЯ

Что отличает нынешнее поколение юных от нашего? Чему мы в них завидуем, о чем жалеем, чего ждем?

Э Я могу наблюдать юное поколение среди своих студентов-американцев, а значит, оно отличается от нашего не только историей, но и географией, и почва для сравнения ускользает. Мне кажется, метафора струны, звенящей то ли в тумане, то ли в угаре, к ним вообще неприменима. Юные американцы начинают встраиваться в профессиональные и социальные структуры гораздо раньше, чем мы, и у них нет такого разброда, размыва, как в нашей юности, тем более как было у нашего вольного племени филологов (да и совмещенной филологии здесь нет как дисциплины, есть отдельно лингвистика и литературные исследования). Они выделяют себе — иногда между школой и университетом, но чаще между университетом и аспирантурой или дальнейшей карьерой — год или два, когда «живут, чтобы жить», приобретают опыт «real life». Но это именно сознательная, планомерная «канализация» юности в щели между ступенями карьеры. Их нельзя за это винить, потому плотность социальной жизни и теснота профессионального ряда здесь несравненно выше, чем в СССР, где социализация была навязанной извне, поверхностной, — и именно поэтому изнутри продлевала юность, оправдывала ее безделье, шатанье, межеумочность, бесцельный разброс. Здешней юности можно почти во всем позавидовать, а пожелать только большей широты мышления в обход профессиональных ячеек. Но если это благое пожелание может исполниться только ценою сползания в бесфор-

менный, угарный, богемный дух, то лучше ему не исполняться.

Ю Такие же безумцы-идиоты. Компьютер с Интернетом умерил их, конечно. Но, к счастью, не умертвил.

ЮНОСТЬ: УРОКИ И ВЗГЛЯД ОТСЮДА

Любим ли мы свою юность, и что в ней, а чего не любим и не приемлем?

Э Нельзя сказать, что я люблю свою юность. Точнее, я не люблю себя в ней — но люблю многое из того, что она мне послала и с чем свела. Из всех возрастов я меньше всего приемлю себя таким, каким был в юности, для меня это был духовно самый тяжелый возраст. Жестокость в попытке быть сильным; бесчувственность в попытке внушать и вызывать чувства; гордыня в попытке познать и воплотить свое «я»; обжорство в попытке утолить голод по впечатлениям и ощущениям. Возможно, мое детство слишком затянулось, я вошел в юность с опозданием на несколько лет, и она осложнилась для меня не пережитым вполне отрочеством с его переломным, кризисным мирочувствием. К страданиям юного Вертера прибавились еще страдания и искушения подростков Достоевского.

Ко многому в своей юности я отношусь двойственно. Я жалею, что бесился, — и что недостаточно перебесился: тот образ жизни, который ты вел в общежитии, остался мне недоступен в моей домашней скорлупке, и поэтому рецидивы юности, как болезни, наступали на меня и позднее (хотя более вероятно, что человеку, увязшему в таком образе жизни, потом труднее выбраться из него). А больше всего я ценю в своей

юности три вещи: таинство любви и дружбы и то, что любимые и друзья относились ко мне щедрее и терпимее, чем я заслуживал; радость труда, умственного сосредоточения, свободного выбора тем и направлений мысли; то, что через фольклорные экспедиции и летние поездки я открыл для себя деревню, народ, песни, обширный мир непохожих на себя людей.

Ю Упорствуя в избранном направлении, чисто тактически моя юность не очень ведала, что творит. Есть французская поговорка «Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait», — и, кстати, Толстой упоминает ее в своей «Юности». Вторая половина поговорки для нас пока не вполне актуальна, на некоторые деяния мы еще способны, тогда как первая — «Если бы юность знала»...

Если бы моя юность знала то, что знаю я сейчас... Есть искушение сказать: наверное, — и не наверное, а разумеется! вне всякого сомнения! — многие мои «выборы», по-сартровски выражаясь, были бы другими. Другим было бы само качество отношений с теми, кого я любил: ведь я бы — «знал», подстрахованный опытом ошибок. Вот эти «правильные», верней, *исправленные* выборы, согласно «эффекту бабочки», имели бы последствием совершенно иную историю Юрьенева, чем та, которая осталась в его непоправимо-бурной юности на фоне застойной эпохи. Рискнул бы я прожить альтернативную историю, «другую жизнь»? При всей своей поверхбурьерной настроенности — разве что в воображении. Но сожаление, сложившее эту поговорку, тем не менее при мне. И хотя бы уже это доказывает несостоятельность полуосознанного убеждения, которое владело мной в юности, — что уж я-то, вопреки всему человечеству, имея в виду и исторически мертвых, живу свою единственно-неповторимую жизнь правильно.

Я

Я, МИША



Э «Я» настолько выпирает из юноши, что впору переименовать «юность» в «яность» (я-ность), а юношу в яношу. Я-ноша — это, действительно, тяжкая ноша и для себя самого, и для окружающих. В отрочестве «я» уже пробуждается от снов детства, уже находит себя в горькой распре с миром, но оно еще такое пугливое, стыдливое, одинокое, зажатое или загнанное в себя, что хочется ему сочувствовать, опекать, гладить по бедной стриженной головке. А яношу уже не погладишь — он с револьвером. Разница — как между Илюшей Снегиревым в «Братьях Карамазовых» и Ипполитом Терентьевым в «Идиоте». И неважно, стреляет ли этот револьвер пулями, мыслями, словами, в себя или в других, он — оружие. Яность — это самый криминальный, террористический возраст, когда силами яноша уже почти равняется со взрослым человеком, а опытом еще почти с подростком. В этом расхождении силы и опыта, способности переделать мир без понимания и уважения к миру, к вещам-в-себе и людям-для-себя, — исток ювенильной преступности, агрессии против миропорядка.

Я был по воспитанию и характеру довольно смиренным яношей, но «я» из меня так и перло, особенно на 1-ом курсе, когда я вдруг увидел, насколько в отношении мужского развития отстал от сверстников, — и решил немедленно их догнать и перегнать. Едва ли не самое отвратительное воспоминание моей жизни — когда нашу группу или курс послали на строящийся тогда Новый Арбат (1967) что-то убирать, подметать на верхних этажах высоток. Там среди сухих листьев шуршали мыши, и поскольку в руках у меня была лопата, я с внезапной радостью ожесточения стал бить ею по зверькам и окровавил, а может быть, и убил несколько. Почему-то мне вдруг вздумалось, что на этих мелких вредителей нужно идти с мышеловкой, котом или, на худой конец, лопатой. Конечно, это мышелоборство творилось на глазах девочек и почему-то должно было изобразить, какой я крутой и мужественный. Возможно, в 11-12 лет такую мерзкую «крутизну» еще можно было бы по-

нять, но ведь мне было 17! Уже на следующий день я вспоминал об этом со стыдом. А недавно на автобусной остановке в Москве один малыш лет 5-6 стал топтать муравьев, проложивших по асфальту свои пути, и очень старательно их придавливает своей резвой ножкой. Я сделал ему замечание, раз, два, три, все настойчивей, а потом его мать испугалась, решив, что я безумный и опасный, и увела его от меня подальше. Эта злость, как я теперь понимаю, относилась не столько к малышу, сколько к себе самому, когда-то крошившему лопатой мышей. И дело, конечно, не только в мышах — это были годы какого-то надрывного, компенсаторного «сверхчеловечества», от которого страдал я сам, как от спертости, духоты, замкнутости своего «я». Когда я читаю экзальтации Ницше: «почему я так умен», «почему я так силен» и т.д., — то порой узнаю это опь-Я-нение задержанной «яности», перехлестнувшей и за 30, и за 40 лет и в конце концов сломавшей его рас-судок.

Тогда же, в юности, я усомнился в заповеди «возлюби ближнего как самого себя». Не потому что «возлюби» — это было несомненно. А потому, что мое отношение к себе вряд ли можно было назвать любовью, и я не понимал, как можно из него извлечь урок и образец любви к другим. Я себя понимал и не понимал, боялся, любил, да, любил, но и презирал, и ненавидел, и удивлялся себе, и тосковал с собой. Да такого, как я, и мама бы не любила, если б знала меня изнутри! А впрочем, любила бы. Ведь и я, когда родилась у меня дочь, переиначил эту заповедь: «возлюби ближнего как свое дитя». И тогда уже, и в самом деле, мог руководиться ею и некоторых ранее не любимых людей возлюбить, представляя их детьми.

Я, СЕРЕЖА



Ю Начать с того, что сам я никогда не обращался к себе по имени. Конечно, свyksя, но мне оно не очень нравится. Что с того, что римское родовое? И то, что это патроним Пушкина, его не оправдывает. Тем более что скомпрометировано Есениным: не то, что я противник его поэзии, но мне не хотелось вызывать ассоциаций, связанных с его образом жизни и смерти. Когда я выбрал свободу во Франции, там еще не знали о политкорректности, и в префектуре меня переименовали в *Serge*. Это было удобней для французов, но и для меня тоже: никаких коннотаций, исключая не сказать что бы обидное *Un beau Serge*, «Красавчик

Серж»³⁰ — как почти автоматически реагировало старшее поколение французов обоих полов.

Однако во времена юности Сержем меня называла разве что только Аурора — автор прилагаемого снимка. Для прочих же я был или Сергей [обидно, так как туго и резко, как спусковой крючок, (поскольку *gay* еще массово не знали)], или так, как названа эта моя подглавка, но оно имело лишь условное отношение к тому трепету воли, страха и надежды, к тому азарту бытия/небытия, которое наполняло того юношу *былых времен* — как мы с тобой уже смело можем сказать. Все, чего ему хотелось — это писать. Все, чего ждалось от жизни, — это любовь. Все, на что боялся даже надеяться, — это свобода. Ну и благосклонность фортуны — все, на что уповал. Иногда, на поднебесных этажах МГУ я смотрел в окно на дождь, и мое отражение в стеклах раздваивалось, являя мне двойника с тем же именем, и, выходя из мира грёз, я вспоминал, что так оно и есть, что на самом деле — я и есть Сергей Сергеевич.

Тогда я еще не знал про мистически-окультурную веру в то, что если при рождении человека умирает кто-то из его близких, энергия умершего умножает витальность новорожденного.

³⁰ Повесть Ги де Моппасана.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Михаил ЭПШТЕЙН

ЮНОСТЬ И МЕТАФИЗИКА

Наше историческое безвременье (насилие) совпадает с метафизическим безвременьем (смертью). Наша историческая ситуация приближена к метафизической ситуации: человек – раб насилия и смерти. Между тем вся западная история строится на человеческой предприимчивости и преодолении смерти (Фауст). Русский человек – не Фауст, а одновременно Евгений и Петр («Медный всадник»). Могила и монумент.

Из дневника. 3 января 1975 г.

Есть такая дисциплина — возрастная психология, которая изучает психо-социо-физические особенности каждого возраста. То, что присуще одному возрасту, выглядит аномалией для другого. Нелепо ребенку выглядеть старичком, а старику — ребенком. Обычно юношеское творчество характеризуется как «незрелое» с точки зрения профессиональных образцов. Но ведь каждый возраст можно рассматривать как особую культурную формацию, живущую по собственным стилевым законам. Юношеские стихи почти всех поэтов уступают их взрослым творениям, но если рассматривать их не с профессионально-литературоведческой точки зрения, а как образцы юношеской культуры, они заслуживают отдельного внимания. В этой книге мы пытаемся понять юность как особую культурно-психологическую формацию — не путем исследований и обобщений, а изнутри, на опыте нашей собственной юности,

одновременно созерцая ее из нашего иновозрастного далека, с расстояния сорока лет.

Вопреки устоявшемуся мнению о «прекрасной и счастливой» юности, это тяжелая и мучительная пора, когда личность открывает свою чуждость миру, трудную совместимость с ним, проходит через сомнение в собственной ценности, через болезненный опыт нелюбви к себе, который порой компенсируется бредом непризнанного или будущего величия. Юность — это мечта и сила, которая не знает, что делать с собой и как приложить к действительности, а потому томится без цели и постоянно оглядывается на себя. Это эксцентризм пополам с эгоцентризмом, попытка вырваться из круга заведенного и общепринятого с неизбежным упиранием в — и отталкиванием от — самого себя. Вот точный портрет юности, данный Львом Толстым в первой же главе одноименной повести: «Вне учения занятия мои состояли: в уединенных бессвязных мечтах и размышлениях, в деланиях гимнастики, с тем, чтобы сделаться первым силачом в мире, в шлянии без всякой определенной цели и мысли по всем комнатам и особенно коридору девичьей и в разглядывании себя в зеркало, от которого, впрочем, я всегда отходил с тяжелым чувством уныния и даже отвращения». Бессвязные мечты, шляние без цели, накопление силы и разглядывание себя (ну и, конечно, девичья) — вот толстовская формула юности.

Генрик Ибсен дал точную и многозначную формулу этого возраста: «Юность — это возмездие». Это определение верно в трех смыслах. Во-первых, юность — это возмездие взрослому, устоявшемуся миру, ценности которого она оспаривает и взрывает своим нетерпением, максимализмом. Во-вторых, юность — это возмездие самим юным, страшное открытие своей потерянности в мире, который еще недавно был так приспособлен к безмятежным сказкам и мифам детства. В-третьих, юность — это возмездие миру в целом, за то, что он не понимает и не любит меня, это ревность, раздражитель-

ность, иногда озлобленность даже по отношению к друзьям, возлюбленным, реальности как таковой.

Юность — наиболее питательный возраст для всякого радикализма, экстремизма, терроризма; это самый криминогенный возраст — и одновременно благоприятствующий террору в отношении себя, самоубийству. У юности, в отличие от детства и отрочества, уже есть сила, но, в отличие от зрелости и старости, еще нет опыта. Сила без опыта податлива химерам, соблазнам разрушения и радикальной переделки бытия. Юность увлекается идеями преобразования мира, потому что мир ей еще не дорог, она в него не вжилась, а силу для победы над ним она уже набрала. Юность часто увлекается широковещательными идеями, в основе которых лежит нелюбовь к существующему миру: тоталитарными, фашистскими, коммунистическими идеями — и становится опорой таких режимов. По Маяковскому, «коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым». Поэтому тоталитарная власть время от времени устраивает «чистки» или «культурные революции» (Сталин, Мао Цзэдун) ради смены поколений, чтобы уничтожить старших и возвысить юных, а тем самым и возвести силу над опытом, идею — над бытием.

Счастье и несчастье нашей юности в том, что она пришла на старческое время, конец 1960-х — начало 1970-х. Нам выпало быть юными в эпоху одряхления коммунизма. Пока мы юнели, все вокруг стремительно ветшало: идеи, вожди, ценности, нравы, сама система, которой в год нашего поступления в университет (1967) исполнилось 50 лет. Поэтому у нашей юности не было выхода в социальное действие, нам было смертельно скучно в обществе «зрелого» (уже и «перезрелого») социализма. Вялый темп окружающей жизни отставал от биологически ускоренных ритмов юности, и мы не знали, что делать с собой в этом инертном или, как потом стали говорить, «застойном» состоянии общества. Юность — это стремнина времени, когда оно течет с особой скоростью и на-

пором, а мы попали в безвременье. В этом состояло наше несчастье.

Но оно же обернулось и редкой удачей. Впервые в истории тоталитарного 20-го века выросло поколение, которое своей молодостью отвергло «молодость мира», отказалось участвовать, бороться и вдохновляться. На этом поколении сломалась связь коммунистических времен, преемственность советских поколений. Предыдущее поколение, «шестидесятническое», родившееся в тридцатые, еще было увлечено революционным проектом, еще воспевало «Остров Свободы» и «Братскую ГЭС». Последующее поколение, восьмидесятники, состоявшее из детей «гласности и перестройки», уже двинулось из комсомола в коммерцию, уже осваивало, в диапазоне от прагматизма до цинизма, ценности рынка.

Наше поколение, бежав с передовых «строек века», повисло в паузе между двумя эпохами наступательного социального действия: от капитализма к коммунизму — и обратно от коммунизма к капитализму. Мы оказались в ничейной полосе, нейтральной зоне, где, как известно, «цветы необычайной красоты». Мы пришли в эпоху отступления, как представители нового вида — «человека капитулирующего». «Отступая, человек учится узнавать свой минимум, свой предел. Предел человека — это и есть ты, человек! Человек отступающий. Homo capitulagens», так заканчивался мой дневник 1971 г. (см. Осеннее отступление. Метафизический дневник» в разделе Приложений).

Мы — это поколение промежутка, когда оставалось только слушать абсурдное тиканье часов на застывшем циферблате времени. Это и было удачей: затесаться в трещину между двух исторических эпох и услышать молчание, услышать разговор великих и вечных, не заглушаемый шумом быстротекущего времени. У общественного застоя была своя глубина, своя полная звезд бездна. Безвременье — это пародийный памятник вечности.

Отсюда не следует, что наша юность отличалась высокой моралью или творческой продуктивностью. Бывали поколения гораздо более культурные, начитанные, умные, одаренные, решительные, результативные. Но было то, что отличало нас по крайней мере от двух предыдущих и двух последующих поколений: интерес к метафизике. Я бы даже сказал: необходимость метафизики, испытанная на собственной шкуре, поскольку из исторической кожи своего времени мы старались выпрыгнуть — и облечься во что-то другое, более тонкое, чувствительное и долговечное. Под метафизикой я понимаю далеко не только философию и ее самый умозрительный раздел, учение об основных началах и принципах мироздания. Метафизика есть не только в философии, но и в литературе, в истории, в войне, живописи, театре, в семье, в быту, в деньгах, даже в спорте. Метафизика — это интерес к устойчивым, вечностным, вневременным основаниям, структурам и целям любого опыта или вида деятельности, будь это политика, литература или кулинария. Предыдущие поколения жили во власти историзма, они политизировали все проблемы, включая метафизические, и пытались решить их социальным действием. Это верно по отношению не только к советским, но и западным поколениям 1910-х - 1960-х гг., включая наших сверстников из «первого» мира. У нашего поколения в СССР впервые за несколько десятилетий возник вкус к метафизике, метафизическая жажда, и в этом мы, через головы всех революционных и послереволюционных, предвоенных, военных и послевоенных поколений 1910-1960 гг., перекликнулись с поколением русских философов, идеалистов, символистов, экзистенциалистов начала 20 в. А через них — с немецкими и английскими романтиками, американскими трансценденталистами, французскими символистами. Мы не так уж много знали о них, мы далеко, на полвека, отставали в круге чтения от наших западных сверстников, но метафизическая жажда не рождается книгами, она сама их ищет и выбирает, и мы жадно читали все, что удавалось добыть в самиздате, тамиздате,

тогдаиздате (дореволюционные издания) и специздате (малотиражные издания для узкого круга специалистов и идеологических работников).

Следы этой метафизической жажды, «вечностного» подхода ко всему, от академических предметов до романтических чувств, от бытовых мелочей до жизненного и профессионального призвания, рассеяны по всей этой книге. В этом — ее стиль и понимание юности как самой метафизической поры, когда зарождается осознание жизни как целого, когда даже самые частные, личные, практические вопросы обнажают свою метафизическую изнанку. Остается только благодарить наше застойное время за то, что, загнав нас в исторический тупик, оно позволило нам осуществить призвание юности: постигать мир как целое без поспешной попытки его переделать, прогнуть под себя.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

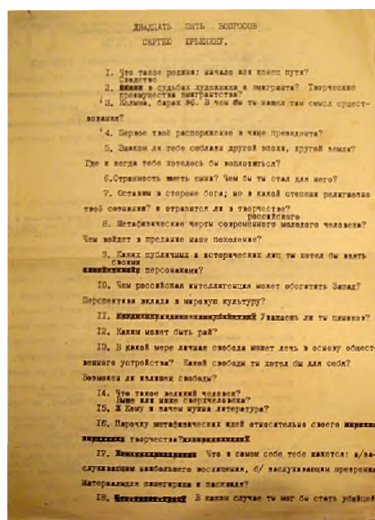
ЮНОСТЬ

В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ РАЗНЫХ ЛЕТ

1. Анкета 1972/2004.

Вопросы Э, отвечает Ю

Так получилось, что вопросы Сережи, вопреки Мишиному совету посланные в конверте, опущенном в почтовый ящик Главного здания МГУ на Ленгорах, до адресата на улице Ставовой никогда не дошли. Сохранились только вопросы Миши, переданные из рук в руки. Сережа отвечал на них дважды: в 24 года (1972) и в 56 лет (2004). Ответы Миши не сохранились.



Машинопись Миши («Эрика»)

1. Родина есть приговор. Форма твоей судьбы.
3. На верю, что мне подошли бы традиционно оптимальные условия для обретения смысла /"вотринику без бога нельзя!"/. Реальность современного барака на протяжении всего срока существования уничтожает твоё достоинство, и надо так же последовательно отказывать себя, для чего необходимо иметь за собой силу внутренней готовности к смерти, заранее принять ее, как единственный выход, не унизительный тебе. Страх преодолевается только со стороны смерти.
4. Отмена смертной казни.
5. Да. Очень. Везде, во все времена, исчерпать всю сумму человеческого опыта.
6. Сила стал бы для меня реальной возможностью освободить будущее от предрассудков, которыми прошлое наделило меня. С другой стороны - воспитание будущим.
7. Очевидно, пропорционально моим прорывам в творческое начало сознания. Думаю, что отражалось и отражается, если понята религиозность очаровательность ощущения тайны, так зримо продолжающей себя во всем.
8. Современный молодой человек - это всасывание творческой потенции, духовный опыт человечества на колесо. Думаю, что поколение войдет в предвзвеш, как изданные крупнозернистое, что, к счастью потомков, не затрудняло гусеничный накат истории. Любимые же поколения будут кочисляться, очевидно, по принципу выделенности лиц.
9. Диогена и его традиции.
10. Отряды не перебежчиками. Туманна.
11. Да. Способность к полнейшему отрицанию - да. Высоко ценю стремления к искусству эпатира, скандала.
12. Игровыми, мальчишескими.
13. Существуют типы общественных устройств, позволяющих ее в позней мере. Ограниченной массы диктатом. Думаю, что это продуктивно господном.
17. а/ женщина; б/ мужчина.
...Черпать из опыта жизни.
18. Встреча наследие. Готовность к убийству - непосредственной, ближайшая реакция.

25 ВОПРОСОВ

Февраль-март 1972, Москва-Солнцево

Э Вот, Сережа, двадцать пять моих вопросов тебе, которые, с другой стороны и отчасти, являются моими ответами о тебе. Ибо интервью — это всегда предвосхищение человека, поиск человека по заранее имеющимся намекам и ориентирам. Кроме того, это еще и ответы себе по поводу тебя. Полупризнания. Вообще, надо сказать, интервью — жанр труднейший и в основе своей — художественный, исповедь наизнанку, причем изнанка богаче и интереснее. Исповедь основывается на одной личности; интервью основывается на системе личностей, допускает динамику, игру и подстановку. Трудность же в том, чтобы спрашивать, избегая прямой подсказки, перебегать границу, не оставляя следов; ибо уж слишком тесно, в обнимку живут в душе спрашивающего вопросы и ответы.

Вопросительность содержится, как химический ингредиент, во всяком человеческом бытии, но искусство интервьюера заключается в том, чтобы выделять этот элемент в чистом виде. Пестовать и взращивать вопрос. Питать его своей ситуацией.

Не знаю, удастся ли выбраться мне к тебе в эти дни, но если да, то, наверное, в воскресенье. У меня сейчас небольшая конкретная работка по заказу — статья в БСЭнциклопедию о конфликте.

Ответы на интервью, я думаю, не следует доверять почте. Передадим лично.

Итак, до встречи.

Миша

Ю 2004. Твои вопросы, помню, были, как гром с небес. Так впадают в руки Бога живаго. И Бог этот вопрошал устами друга. Сиюминутное все от-

пало, и я остался с Ним наедине. Сидел в Солнцево, в неоплаченной за несколько месяцев квартире, перед своей «колибри», стремясь соответствовать и мучаясь несостоятельностью.

К твоим вопросам приложен мой черновик, оставшийся не законченным (см. выше): был апрель 1972 года — период после Лены и до Ауроры — и я был охвачен насущными заботами любви и выживания. Но материал для комментариев бесценный. Почему на то пытался ответить, а это пропускал, оставляя впрок, на «когда озарит»?

Произошло ли это 32 года спустя? Так или иначе — вот, в кратком виде:

1. Что такое родина: начало или конец пути?

1972. Родина есть приговор. Форма твоей судьбы.

2004. Нравился мне завет Будды про безродность, и, похоже, своей жизнью я его воплотил. Спросил сейчас случившихся рядом девочек, мне сразу ответили: Конечно, начало! *Родина* ведь! Где родился! А мне суждено было родиться — в нулевой час неантисированной страны. Победенным среди победителей. Конец отца и преднатальная травма борьбы с матерью за право на жизнь предшествуют началу. В схватке на уровне бытия чувство родины как-то отступило на задний план, куда впоследствии так и оттеснялось — более важным чувством. Быть или не быть — Юрьенен родился перманентным принцем Датским. Откуда, возможно, исторически и происходит.

2. Сходство в судьбах художника и эмигранта? Творческие преимущества эмигрантства?

1972. ...

2004. Как только я узнал, что родился в Германии, так и ощутил себя эмигрантом в России. Только привык к России в форме Ленинграда, как вышвырнуло в первую реальную

эмиграцию — БССР. Россия стала тоской и ностальгией. Я совершал туда паломничества на каникулах. Но когда «вернулся», чтобы жить, стал чувствовать, что это не вполне моя страна. Протест, например, вызывала повышенная жестокость жизни — по сравнению с той же Белоруссией, захолустной, но озападной и гуманизированной Польшей. На Россию границы никакого благотворного воздействия не оказывали — сама по себе. Что хочу, то ворочу. Душегубка на вольном просторе, как ты и показал в работе «Бес». В Китае, конечно, было б хуже. Но в советской России для меня это стало единым — эмигрантство и писательство. Всюду был не свой. И во Франции, и в Германии, и тут, в Чехии, — всюду знал, что выход, возможно, только Америка, где все не свои, но «лишних людей» нет. Главная же ловушка эмигрантства в том, что оно предельно обостряет в тебе «страну отказа». На русскости в эмиграции можно свихнуться — что, конечно, абсурдно, прибывая на Запад «западником».

3. Колыма, барак № 6. В чем бы ты нашел там смысл существования?

1972. Не верю, что мне подошли бы традиционно оптимальные условия для обретения смысла («каторжнику без бога нельзя!») Реальность современного барака на протяжении всего срока кропотливо уничтожает твое достоинство, и надо так же последовательно отстаивать его, для чего необходимо иметь за собой силу внутренней готовности к смерти, заранее принять ее, как единственный выход, не унижительный тебе. Страх преодолевается только со стороны смерти.

2004. У меня есть приятель-писатель, для которого смысл был только в том, чтобы не опустили. Защита достоинства сводится к защите ануса. Кроме этого, конечно бы я кропал и прятал, и пытался переправить в «большую зону».

4. Первое твое распоряжение в чине президента?

1972. Отмена смертной казни.

2004. Тут могу только повторить. Возможно, единственный раз, когда я испытал гордость за Францию, это когда Миттеран своей волей — большинство его сограждан было против — отменил смертную казнь. При мне было.

5. Знаком ли тебе соблазн другой эпохи, другой земли? Где и когда тебе хотелось бы воплотиться?

1972. Да. Очень. Везде, во все времена, исчерпать всю сумму человеческого опыта.

2004. Соблазн другой эпохи — нет. Впрочем, если бы мне гарантировали возвращение, я бы посетил СССР в Тридцатые. Земель соблазны тоже испытаны.

6. Странность иметь сына? Чем бы ты стал для него?

1972. Сын стал бы для меня реальной возможностью освободить будущее от предрассудков, которыми прошлое наделило меня. С другой стороны — воспитание будущим.

2004. Уже не будет.

7. Оставим в стороне бога; но в какой степени религиозно твое сознание? И отразится ли в творчестве?

1972. Очевидно, пропорционально моим прорывам в творческое начало сознания. Думаю, что отражалось и отражается, если понять под религиозностью очарованность ощущением тайны, так зримо проявляющей себя во всем.

2004. Отчасти религиозно, но подсознание над тем смеется и опровергает.

8. Метафизические черты современного российского молодого человека? Чем войдет в предание наше поколение?

1972. Современный молодой человек — это иссякание творческой потенции, духовный опыт человечества на излете. Думаю, что поколение войдет в предание, как излишне крупнозернистое, что, к счастью потомков, не затруднило гусеничный накат истории. Вообще же поколения будут исчисляться, очевидно, по принципу выделяемости лиц.

2004. Ну и что тут скажешь, Миша? Вся метафизика поколения вобрана тобой. В целом же получилось промежуточным. Транзитным.

9. Каких публичных и исторических лиц ты хотел бы взять своими персонажами?

1972. Диогена и его традицию.

2004. Одно время в Париже хотел написать роман «Салтычиха».

10. Чем российская интеллигенция может обогатить Запад? Перспектива вклада в мировую культуру?

1972. Отнюдь не перебежчиками. Туманна.

2004. ...

11. Уважаешь ли ты циников?

1972. Да. Способность к полному отрицанию — да. Высоко ценю стремление к искусству эпатажа, скандала.

2004. Нет. Избегаю. Но в чистом виде не так много и встречал.

12. Каким может быть рай?

1972. Мгновенным, мелькнувшим.

2004. Только единым с адом.

13. В какой мере личная свобода может лечь в основу общественного устройства? Какой свободы ты хотел бы для себя? Возможен ли излишек свободы?

1972. Существуют типы общественных устройств, дозволить ее в полной мере. Ограниченной *моим* диктатом. Думаю, что это предусмотрено господом.

2004. Какую хотели, такую мы с тобой и получили.

14. Что такое великий человек? Выше или ниже сверхчеловека?

1972. ...

2004. Ну, и что мы думаем о Солженицыне?

15. Кому и зачем нужна литература?

1972. ...

2004. Мне. Для удовольствия. Жить без которого не могу.

16. Парочку метафизических идей относительно своего творчества?

1972. ...

2004. Защищал партию Эроса. Был на стороне любви.

17. Что в самом себе тебе кажется: а) заслуживающим наибольшего восхищения, б) заслуживающим презрения? Материалы для панегирика и пасквиля?

1972. а) женщина; б) мужчина. ...черпать из опыта любви.

2004. а) Способность любить. Верность. б) Нетребовательность эго. Недостаточное сопротивление, которое мое эго оказывало воле к небытию.

18. В каком случае ты мог бы стать убийцей?

1972. Встречая насилие. Готовность к убийству — непосредственная, ближайшая реакция.

2004. В случае сопротивления.

19. Существуют ли для тебя проблемы в сфере практической морали? Что такое моральный образ жизни?

1972. Да. В идеале — быть исполнителем своей воли. На практике — стремиться к этому.

2004. ...

20. Хотелось ли бы тебе быть евреем?

1972. Вряд ли я принял бы этот вариант соборности, и меня с позором и проклятием изгнали бы из евреев за утроенное отщепенство.

2004. Это как родиться вечным. Конечно, хотелось. Это было бы *cool*.

21. Чем, по-твоему, является женщина в жизни художника? Чем остается в судьбе?

1972. Необходимая, постоянная боль. Всегда возвращающаяся возможность счастья. Твое «я», которое требует преодоления. Ритм возвращений к себе. Условие самодисциплины. Балласт свободы. Сдерживающее начало бунтарства. Соблазн небытия. Тайна, не заинтересованная тобой. Твоя опора. Твоя цель. Твоя слабость. Твое мужество. Ты всегда мгновенен перед женщиной. Исчезающ в редкие моменты подлинного счастья, даруемого ею. Именно она вынашивает твое небытие. Этот условный ген обреченности — вклад женщины в творящуюся тайну зачатия.

Все эти Наташи, Сони, Ани, Веры пропадают в состоявшихся судьбах.

2004. ...

22. В завершении и истоке каких традиций ты себя ощущаешь?

1972. ...

2004. ...

23. Любишь ли ты бездарей и импотентов?

1972. Бездарность и бессилие, раз обнаруженные, обжалованию не подлежат.

2004. ...

24. Чего ты больше всего боишься? Плодотворность страха?

1972. Что застанут врасплох. Жить вопреки страху — плодотворно.

2004. ...

25. Какие, по-твоему, анекдоты и слухи будут распространяться о тебе, когда ты получишь известность?

1972. Как наиболее актуальные и стойкие: а) что я еврей; б) что я продался евреям; в) что я недостойн быть евреем.

2004. ...

2. Вопросы Э: отвечают Ю и Э

1 января 2009 г.

1. Россия, Европа, Америка. Как эти три твои жизни взаимодействуют в твоём опыте? Стирают, опровергают, осмеивают, дополняют друг друга...?

Ю Знаешь, я всегда относил к себе, только в единственном числе, роман Гертруды Стайн «Становление американцев».

Э Россия таинственно зияет на фоне плосковатой Америки. Америка великолепно сияет на фоне тускловатой России. Вместе, как инаковость друг для друга, они придают бытию ту многомерность, которой без каждой из них мне бы не хватало.

2. Что сбылось?

Ю Свобода.

Э Сбылась надежда что-то произвести, выродить из себя, не остановить на себе генетическую и культурную эстафету жизни и слова.

3. Чего не сбылось?

Ю Опять-таки свобода — в отдельно взятой...

Э Мир нежности, взаимности, полной отдачи чувств и слов, проницаемости и отзывчивости близких и дальних,

да и собственной прямоты и прозрачности перед Богом и людьми, — нет, не удалось построить.

4. На что ты надеешься?

Ю Что сумею написать если не «абсолютную» книгу, то захватывающую. Надеюсь, даже не одну.

Э Надеюсь, что еще смогу сам себя удивить, что и жизнь удерет со мной какую-нибудь смелую и веселую штуку, блеснет на мой закат печальный каким-нибудь замыслом, смыслом, сомыслием.

5. Что ты понял о русском языке за 40+ лет работы над ним?

Ю Есть ощущение, что за эти годы я, беглый его носитель, родной язык свой перерос — его при этом продолжая обожать. Ебаньрот. Другого такого нет!

Э Он беднеет, мелеет, вянет на корню, не справляясь с потоком новых идей и подставляя под них готовые, бетонные русла английского языка. Потерял способность богато рожать и плодиться, как и говорящий на нем народ. Участь языка трагична. Он заслуживает сострадания, самоотдачи, героических усилий всех, кто пользуется им по профессии и призванию. Он нуждается в далевско-хлебниковско-платоновско-набоковском волшебстве, способном его оживить.

6. Есть ли судьба и как ты взаимодействуешь с ней?

Ю Провидение, несомненно, существует, и я наведываюсь к нему — прости за выражение — в «астрал».

Э В конце концов понимаешь, что судьба — это самая упрямая, негнущаяся часть самого себя, роковой «характер», который ты бессилён сам изменить, если Бог не поможет.

7. Что для тебя главное в любви и как это менялось с юности?

Ю А вот как-то нарастала, знаешь ли, гуманизация. Причем, независимо от качества эрекции.

Э В ней становится больше загадок: откуда она приходит, куда исчезает? Любовь отделяется от эроса, но не становится менее плотской, скорее, наоборот, она охватывает всю плоть и душу более сильно и равномерно, не сосредотачиваясь на отдельных органах. И растёт тоска по любви: сколько бы ее ни было, ее все равно мало и все больше недостает.

8. Талант — по ту сторону морали? Или по эту?

Ю По ту сторону морали есть только модификации Зла.

Э По эту сторону — талантливый человек, а сам талант — по ту сторону, питается прямо с древа жизни, еще не отравленный плодами познания добра и зла.

9. Как ты представляешь жизнь после смерти?

Ю Эта жизнь будет, мне кажется, другой, чем до рождения. Другая форма того, что мы называем небытием, в

которое теперь вместе со мной волеется моя «прожитость». Другая, благодаря присутствию и ожиданию встречи с душами, которые при жизни-в-жизни стали родственными.

Э Думаю, что там есть свои ландшафты, стихии, причинно-следственные или ассоциативные связи и взаимодействия (вещей, знаков, полей, духов, сил). Но все это мгновенно меняется под дыханием Божьей милости и любви. Безбожники, там оказавшись, будут сильно удивлены, а верующие, быть может, еще сильнее (именно из-за избыточной четкости своих представлений).

10. Чем тебя разочаровала литература и чего ты от нее ждешь?

Ю То есть, охладел ли, как допускал мой ментор? Нет. Все еще стоит. Литература, которая так или иначе, но организовала мою жизнь, остается ее главным делом, и, благодаря любимой жене Марине, моему волшебному «прощальному лучу»³¹, сегодня я еще более зачарован, чем тогда, когда мне приходилось финансировать свое писательство служа литературе другими, как говорится, способами.

³¹ Марина КАМИНСКАЯ (КАМИ) – родилась в Москве. Михаил Львович Гельфанд, ее отец, в 60-е годы профессор МФТИ им. Баумана, в своей эмгэушной юности был арестован за «космополитизм», после смерти Сталина освобожден из лагеря и реабилитирован. Мама-кардиолог работала в отделении «скорой помощи» Боткинской больницы. Марина закончила среднюю школу с математическим уклоном и одновременно музыкальную им. Мясковского. Выпускница Московского технического университета. Изучала психологию в университете Дрю (Drew). Работала программистом в корпорации UPS. В роду Марины небезразличные к литературе люди — Лиля Брик; Эльза Триоле; Иосиф Бенционович Каминский, врач-гинеколог, расстрелянный в 1938 году за организацию сионистского подполья в СССР; а также известный израильский политик, доктор экономических наук, депутат Кнессета и поэт Юрий Штерн. В 2007 году Марина Ками стала сооснователем и директором издательства *Franc-Tireur USA*.



Марина.
Вашингтон, Округ Колумбия. 2006

Не потеряла меня литература и в том смысле, что я остаюсь ее преданным потребителем-читателем. Конечно, обратное воздействие на реальность оказалось куда более «неисповедимым», чем представлялось в юности и было подтверждено Александром Солженицыным. И все же мне кажется, что даже *sub species aeternitatis* наши царапины на скрижалях не совсем бессмысленны. Я верю в магию литературы.

Э Если мерить отзывом литературы на себя, то итог почти нулевой. Если же мерить своим отзывом на литературу, то в значительной мере я ее творение, совокупный персонаж Гете, Бальзака, Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Т. Манна, Кафки, Набокова, того же Солженицына... Тем более, если литературу понимать широко, как все написанное, включая и философию. Так что мое разочарование в литературе — это обратная мера очарованности ею, это разочарование в себе как авторе у сотворенного ею персонажа.

3. Вопросы Ю, отвечает Э

1 января 2009

1. Для чего, по-твоему, нужно больше мужества: юными глазами смотреть в непрожитое будущее или нашими теперешними — в жизнь-без-нас?

Э Наибольшего мужества требует твоя собственная жизнь, и она никогда не прожита, даже на пороге смерти. Жизнь — это окружающий объем, пространство возможностей, которое всегда впереди тебя (и немножко сбоку, по сторонам). По мере того, как мы стареем, жизнь юнеет, поскольку перед ней открывается все более дальний простор — и в прошлое, и в будущее. Мы становимся более соизмеримы возрастом с человечеством и с величайшими из людей, и нам легче соотнести с ними свой опыт. Старость требует наибольшего мужества, потому что впереди еще больше неизвестности, чем в юности.

2. С какими чувствами ты представляешь себе эту жизнь-без-нас?

Если говорить о будущем человечества, цивилизации, которая после нас останется на земле, то мне и жаль, что она легко без меня обойдется; и тревожно за то, что она может сотворить с моими детьми и потомками; и досадно, что вершинные ее открытия и достижения останутся мне неизвестными.

3. Смерти нет. Или все-таки?..

Смерть — это событие в 3-м лице. С 1-м лицом оно никогда не совпадает. «Я» и «умер» исключают друг друга. Умирает всегда кто-то другой. То, что извне наблюдается как умирание,

изнутри переживается как переход в иное состояние, для которого у нас нет слов и представлений. Конечно, обо всем этом мы можем судить только гадательно, «сквозь тусклое стекло».

4. А бессмертие?

Бессмертие для меня — это не то, что будет или может быть потом, после смерти, а то, что происходит всегда, включая и настоящее, и сегодня, и сейчас, т.е. это дарованная нам способность жить в полную меру, быть новыми для себя и для других, переступать все границы, включая границы одной, биологической формы жизни. Вообще нам все дается по мере жажды, потому что сама жажда возникает в ответ на источник своего утоления (или наоборот — не нам судить). Мы хотим пить, потому что есть питье; хотим есть, потому что есть еда; хотим любить, потому что есть любовь. И если мы хотим жить вечно и не умирать, значит, этому желанию тоже что-то соответствует в природе вещей, есть источник ее утоления.

5. Имел ли место ли Божий промысел по нашему поводу, и если да, то какой?

Нашему, условно говоря, «задержанному» поколению 70-х, видимо, предназначено было созреть в промежутке между полным расцветом Утопии и ее окончательным крушением, а значит, остаться утопистами (в отличие от более поздних прагматиков и циников) и вместе с тем перенести утопию из социально-моральной плоскости (в отличие от шестидесятников) в какие-то иные измерения: языковые, эстетические, мистические. Это поколение, которое постоянно колеблется между утопией и иронией, и сама эта колебательность и нерешенность придает смысл его бытию в культуре. Наверно, Богу было угодно, чтобы утопия не отрывалась полностью от иронии, а ирония — от утопии. Поэтому он подарил нам этот про-

межуток между последним взлетом утопии в 1960-е и ее крушением в 1980-е.

6. Исчезновение иллюзий — приносит ли это горечь?

Да, приносит горечь, но со временем этот вкус может переходить в сладость угаданного, уточненного пути, потому что она избавляет от всего лишнего, что было предназначено другим, и оставляет тебя наедине с твоим предназначением, с маленьким, но уже невычитаемым, неразборчивым остатком себя, с единичным замыслом о себе. Уже не думаешь о себе с горечью как о возможном, но не состоявшемся (по чьей-то там воле или воле обстоятельств) Платоне или Л. Толстом, но постепенно находишь утешение в том, что и не мог быть никем, кроме как самим собой.

7. Зло, в котором «лежит» мир. Постоянная ли это величина?

Думаю, что постоянная, хотя и с определенной амплитудой колебаний между добрыми и жестокими временами. Наш мир — это и есть форма испытания злом, преоборения его прежде всего в самом себе, а потому этот мир не может без зла; видимо, и оно не может без этого мира.

8. Изменился ли твой взгляд на красоту?

Я стал меньше думать о ней, вернее, она сблизилась для меня с ощущением жизни. Раньше я замирал перед красотой, чтобы ее разглядеть, а теперь я переживаю ее как событие, как праздник, в котором надо участвовать. Красота — то, что живет взахлеб, напролом, в чем нет признаков застывания и смерти. Или она так вбирает смерть, что являет ее преодоленной, в образе воскресения. Эстетика для меня постепенно

уступила место... нет, не биологии, а скорее, биософии, «жизнеумудрию», которое через красоту заглядывает в тайну жизни и таких ее всегда неожиданных проявлений, как любовь, щедрость, милосердие.

9. А на Слово?

Да, Слово — и как Логос вообще, и как его воплощение в языке и в отдельном слове — очень выросло для меня и легло в основу того синтеза поэзии, филологии, философии и магии, которым я пробую заниматься последние годы (проект «Дар слова»).

10. Итак, итог... Осанна? Или — совсем напротив? Pro или contra?

Осанна, если принять этот мир как один из миров, преподнесенный тебе как незаслуженный дар, как альтернатива небытию, нерождению. Это не лучший из возможных миров, но он гораздо лучше, чем ты заслужил (если вообще можно заслужить свое рождение, а не принять его просто как милость). Жизнь вполне стоит того, чтобы ее желать всегда и как можно больше и дольше.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТЕКСТЫ

ЮНОСТИ И О ЮНОСТИ

Михаил ЭПШТЕЙН

ОСЕННЕЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Метафизический дневник

16 сентября - 25 октября 1971 года

О, как полезен упадок творчества!
Как воображение голодной прислуги, это состояние способно
краткою чертой обнять и выразить всю суть своего отсутствующего гос-
подина.

Б. Пастернак,
«Сейчас я сидел у раскрытого окна и ждал...» (1913)

1.

Ты принялся за работу с утра. И вдруг наступил момент — тебе не удалось всего одна фраза, полфразы, словечко, — когда ты почувствовал, что силы тебя покидают. Ты откинулся на спинку стула, совершенно опустошенный. Кажется, ветер, залетающий в окно, играет тобою, как легкой оболочкой.

Ты печально трогаешь разложенные на письменном столе вещи — суставы и сочленения твоей работы, испутившей дух. Внезапно до тебя доносится их отчетливый запах — запах кожи, бумаги, пластмассы, клея. Он прятался от тебя за твоей работой, теперь же хочет с тобой познакомиться. Кто ты и зачем пришел поработить его вещи?

О, что это значит для расстроенного и ослабленного человека очутиться наедине с наивным запахом и его доверчивыми вопросами!

В течение целого месяца ты возвращался к тетради, начатой в тот день, Ещё чаще ты сидел подле неё, отложив в сторону ручку, глядел в окно на темнеющие деревья и повторял себе с отчаянием: «О, сколь я слаб, я ничего не умею, мысль мне страшна, ведь выводы её бесконечны».

Через месяц ты понял, что твой первоначальный замысел был плох. То, что он не удался, — не вина твоя, а горькая заслуга. Но пришли другие. А тетрадь эта осталась — свидетель слабости, овладевшей тобой в одно ветреное утро. Вот эта тетрадь. Пахнет кожей, бумагой и клеем.

2.

Слабость подступает к сердцу, и слезы навертываются на глаза. Мысли покрыты коркой беспамятства, но во всем, что я знаю и вижу, мне является теперь кристальная ясность и чистота бытия. Вещи источают из себя бытие — запахи, звуки, краски, — как глаза, погрузившись во мрак после резкого света, источают слезы: слезы переутомления, слезы слабости. Таковы сейчас эти вещи, погруженные во мрак моего бесчувствия и бессознания: их присутствие прозрачно и терпко во мне.

Для человека, вдохновенного и властного в своих замыслах, существуют лишь тени вещей, отбрасываемые светом его «я». Мир для него — лишь символ его беспредельных возможностей. Для разочарованного в себя и унылого — вещи выступают в полном и самостоятельном бытии. Запахи кружат голову и доводят до обморока. Он сам — символ, этот человек. Он средство выразить бытие этих вещей, их всеприсутствие. В миг своей творческой слабости он впервые становится тем, кем хотят его видеть окно, вянущее комнатное растение и далекий дым заводской трубы. Они долго ждали и незаметно лепили тебя, и вот наконец ты — произведение их бессловесного искусства.

3.

Теперь ты перестанешь навязывать всем свою упрямую волю. Пойми и будь благодарен: то, что начинается в тебе как слабость, кончается в других как свобода.

По наличию свободной воли в человеке суди о его Создателе. Какая немощь господня сквозит в прекраснейших человеческих чертах! Он пришел к шестому дню творения во всеоружии своей слабости, когда все силы уже были отданы небесной тверди, морям, светилам, рыбам морским и гадам земным. И человек у него вышел «хорошо весьма».

4.

Что останется от молодого человека нашего времени? Большие глаза удивления, легкая (уже начинающая кривиться) усмешка, поползновения к житейской мудрости, зависимость от мелочей и смутное уважение к чужой вере. Все это — милые свойства людей разных времен, но только наше время решило собрать их все вместе. Этим оно вынесло себе приговор.

5.

Основной предрассудок, мешающий нам правильно видеть и понимать мир, — это предрассудок собственной исключительности и «сверхъестественности» в мире, слишком близкое, а потому неизбежно заключающее в скобки, в кавычки восприятие себя. Как будто где-то в краешке сердца остается жить частица детской веры в своё беспорочное зачатие. И вот: о жизни, о счастье, о вере говоришь иными словами, чем о себе. Эта ложь — не от неискренности, а от сентиментального такта по отношению к себе.

Но если ты заранее не готов пожертвовать мифами самосохранения, если боишься забыть, пограть, оскорбить себя, — как смеешь ты вступать в разговор о том, что неизмеримо выше тебя?!

6.

Глазные болезни... Но ведь еще раньше — порок в самом Видении, не достигающем сердцевины вещей. Лечат физическое отклонение от метафизического порока. Если я вижу человека туманным, расплывчатым — чем я погрешаю против истины? Разве он не таков? Разве знает себя?

7.

Разврат начинается с того, что уточняются требования к жизни. Не хлеб вообще, а мягкий и белый; не милое лицо, а чем-то особенно красивое. Образ жизни, конкретизированный до мелочей. Человек создан для простых и грубых желаний и для изысканного, утонченного творчества. Принцип творчества, перенесенный в сферу желаний, — это и есть разврат. Творческое потребление. (Принцип потребления, перенесенный в сферу творчества, дает массовое искусство, «политику» и порнографию). Что в практическом смысле всего тоньше и изощреннее, то в метафизическом всего грубее. Метафизическая тонкость поведения состоит в том, чтобы избрать самый прямой, широкий и общий всем путь.

8.

Куда ты идешь, и зачем? — Я провожаю дорогу.

9.

Чтобы производить глубокое впечатление, речь должна быть эстетически не вполне совершенна. Слово, выпадающее из контекста, антитеза, не получающая предварительной тезы, вывод, не окупающий предпосылки... Чтобы слушатели делами своей жизни доводили и замыкали круг, начатый речью; чтобы жертвами и подвигами возмещали стилистические изъяны. Провал искусства, подготовленный шествием его к триумфу, становится мощным призывом к жизни.

Совершенство не пленяет — напротив, оно чудесно освобождает и расковывает: и мысль, и взгляд, и судьбу. Оно ос-

тается само с собой и в себе, тебя же отпускает на волю. Пленяет, приковывает, мучит — несовершенство, тайный намек на совершенство.

10.

Суть твоих отношений с окружающими: ты превращаешь их историю в свою метафизику, они поверяют твоей метафизикой свою историю. Совершается подмена, а не обмен. Ибо ведь за твоей метафизикой не стоит никакая история, а их история в своей простоте не нуждается ни в какой метафизике. Бедный ты! Бедные они!

11.

В дни, когда монополия на истину захвачена демагогами, духовный авторитет приобретает чаще всего заблуждение; и героем становится тот, кто больше других заблуждается. Осуществляются «блаженны нищие духом».

Верить приходится не тому, кто лучше других, а тому, кто хуже других. Из добродетели легко сделать предмет для спекуляции и средство благоустройства, но заблуждение, ведущее к потерям и кризисам, не может быть корыстно. Именно заблуждение выдает в человеке принадлежность к породе «лучших». Заблуждающийся относительно состояния вещей находится в ситуации истины относительно самого себя.

Так стихийно и из демократических побуждений начинают освящаться нищета, бред, потемки, богема души.

Увы, это уже есть в «Вертере». Но тогда ли начал покидать истину аристократический дух?

12.

Какую местоименную форму принять в дневнике? Тот, кто вечером перед настольной лампой записывает свой день, и тот, кто в суете и озарениях провел этот день, — не одно и то же лицо. Нечестно было бы называть его «я», относя на его счет свою теперешнюю мудрость, приписывая себе его побе-

ды и т.д.. Но постыдно было бы и отречься от него, присвоив ему третье лицо — «он», как будто нет твоего участия в его поражениях и грехах, как будто и сейчас он не из тебя ревнивой памятью вызывает прошедший день. Пойми: он брат твой по духу и по судьбе; он так же, как и ты, нуждается в сочувствии, и пристрастии, и справедливости, и суде. Будь с ним на «ты».

13.

Здоровое тело — как чистая гладь зеркала, которая возвращает тебе твой внутренний образ незамутненным и непоколебленным. Ты узнаешь в нем себя.

14.

В болезни есть свои бездари и гении. Одни смущаются: свою болезнь они воспринимают как постыдное отклонение от нормы. Другие нагледят: болезнь снимает обязанности и дает права. Настоящий больной вынашивает в душе тайную гордость: он смущен оказанным ему доверием. Не законодательство, но сама природа вручает ему в форме болезни неслыханные права: право тела на небытие, право духа на всеприсутствие. Как распорядиться ими? Гениальный внутренне реализует в болезни все мифы, сказки и религии человечества. Болезнь — это реальность того, чего нет, и нереальность того, что есть. Какая превосходная возможность метафизической фронды перед миром!

15.

Ты, быть может, наивнее своих сверстников и коллег; но никогда не станешь их жертвой и даже вряд ли понесешь какой-нибудь ущерб. Отчего это так, что в кругу испорченных и растленных наивному всегда находится место по его наивности? Не приговор ли это ему?!

16.

Воссоздать Создателя. Простить ему вину немогущества. Возвести немогущество в подлинно божественный атрибут.

Так же, как мы прежде нуждались в силе, так теперь нуждаемся в слабости; как нуждались в ведущем, так нуждаемся в ведомом; как раньше нуждались в будущем, в апокалипсисе, так теперь нуждаемся в истории и преданиях. Чем Он может стать для нас? — Не тем, чем раньше, но едва ли не большим, чем раньше. Вернуть нам ощущение нашей зависимости — уже не от кого-то, но для кого-то. Подарить нашей «свободе», утратившей свои границы, второе измерение — в несвободе.

17.

Философ может завидовать только писателю, писатель — только музыканту. Истончается материя, кружится голова, захватывает дух...

18.

Политика — это искусство победителя прикинуться побежденным и искусство побежденного разыграть победителя; это искусство выдавать победу за поражение, а поражение за победу; это искусство слабого — устрашать и сильного — пресмыкаться.

Истина же в том, что победитель в некотором смысле и есть побежденный, а побежденный есть победитель. Мудрость в том, чтобы победу принимать за поражение, а поражение — за победу. Эстетический феномен жизни состоит в том, что слабость несет угрозу, сила же себя не знает.

Политика — игра на противоположностях, составляющих жизнь, мудрость, искусство.

19.

В той же мере, в какой гений открывает истины, он создает заблуждения, ибо обосновывает превосходство своей истины над всеми прочими. Кладет в основание системы одни факты и выводит из них другие. Демократическая же мысль не утверждает — она ищет утвердиться, и только и именно в тех ситуациях, которые требуют мысли (а не тех, которых сама мысль требует). Принципиальный эклектизм — вот кредо и великий вклад стихийного мышления масс в историю духовной культуры. Демократические философы (никогда и нигде не известные, слабые мыслью) сводят воедино то, что аристократические философы объявляют противоположными началами («духом» и «материей» и т.д.). В их путанице и эклектизме больше правды. Мир существует, следовательно, силы единства превышают в нем силы отталкивания. Мир «эклектичен». То, что искони считалось слабостью в философии, является её силой.

20.

Афоризм — нежное утешение мозга, бессильного перед яростными (в самозащите) тайнами бытия. Афористична может быть вещь. Осенний лист, занесенный порывом ветра в открытую форточку. Лопата на плече дряхлого старика. Забытая на скамейке книга с отчеркнутой страницей о любви. Природа сама изготавливает, чеканит афоризмы в знак милости к человеческой мысли. «Я помню о тебе».

21.

В освоении своей телесной природы мы находимся на той же ступени развития, что древний человек, недочеловек — в освоении внешнего мира. Мы равны с ним в глухоте и бессилии. Для дикаря весь мир, его окружавший, был сплошное яркое и пахнущее пятно. Так и тело в нашем восприятии — сплошное пятно, скорее даже тусклое, чем яркое. По сравнению с посторонними наблюдателями мы даже проигрываем в

точности непосредственного, чревного знания о себе. Преимущество *пребывания в себе* остается не использованным; мы только иногда приглядываемся, прислушиваемся к себе, но отдельных мышц, сосудов, капилляров, нервов внутри себя не различаем. Глухие и гладкие стены тюрьмы...

Йоги же учат своим примером, что тело — не тюрьма для души, а выход в путь, и дальний. Ничего нет в окружающем мире и в самых высоких его материях, в религии, искусстве или революции, чего сознание не могло бы обрести в собственном теле, полностью овладев им и научившись понимать его и трактовать. Его, может быть, и вовсе не было бы, нашего «цивилизованного» мира вне нас; всё, в чем утверждалось бы сознание человека как в материальной твердыне, замыкалось бы поверхностью его тела. Пределом и естественной границей всего человеческого оставался бы сам разносторонний и гибкий человек.

Однако после всего, что сделано, после всех праведных и неправедных жертв, которые только в будущем, только в «потустороннем» окупятся — не извращение ли этот «здоровый» путь?

22.

Чья кровь в красном цвете полотнища? Тех, что несли его, или тех, чью кровь проливали? — Две крови. Две слившиеся, спекшиеся в одном цвете крови. Символ слияния всех кровей, на которых замешана история. Капля алчет другой капли, и кумач — это только эстафета крови, короткий зов крови пролитой — к той, что ещё в сердце.

23.

Мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы... Вот мысль! Мысль, которая не нуждается в доказательствах.

24.

Почти все донныне существовавшие философии напоминают кроссворды, где часть клеток с самого начала затушевана (как условие игры), а другая часть образовавшейся конфигурацией сама подсказывает своё заполнение. Настоящая же философия (которая в основном ещё только в будущем) должна не из клеточек исходить, а из чистоты и незапятнанности мира. Не сводить смыслы в готовый и замкнутый «переплет», но творить грозный и всеобъемлющий хаос смыслов.

25.

Я говорю философии «должна», чтобы она перестала говорить «должен» миру.

26.

Ведь сказано же: человек создан по образу и подобию Божью. А если без Бога? Что если человек всего-навсего метафора? Эвфемизм? Уклончиво-пристойное обозначение какой-нибудь метафизической непристойности?

Что если человек — прием риторики? Украшающая фигура речи? Риторический вопрос — когда всё уже решено и ясно? Что если поиски его и сомнения — лишь форма для усиления категорической констатации? «Счастлив ли ты, что живешь на земле? Имеешь ли всё необходимое для блага?» И человек мучительно колеблется между «да» и «нет», и весь размах его искусства, его философии, его морали — между этими двумя решениями, как в давяльне виноград. А вопрос-то задан поверх выбора, поверх сомнений, задан не для того, чтобы получить лишний ответ, но для того, чтобы всей силою голоса и разума воскликнуть: «Да, счастлив ты, что живешь на земле, да, всё необходимое имеешь ты для блага!» (И не укоризна ли ещё прозвучит?).

27.

Самое сокровенное моё ощущение: что меня нет. Ни здесь, ни там, ни раньше, ни потом. Но я возможен.

28.

Родная моя, как горько! Я дал тебе имя, и оно замкнуло тебя, исчерпало. Да, вот это и есть ты — то, как я втайне назвал тебя. И уже никуда не уйдешь.

Но жизнь твоя, необходимая мне, вселилась в это имя и стало его поэзией.

Когда рождается поэзия, то что-то в ней непременно умирает. Что-то, что ты любил, чему ты не побоялся дать точное имя, что принадлежало когда-то твоей жизни, а теперь — бог весть кому.

29.

Там, где перед нами самый несомненный, человечески-убедительный тип поведения, — там нет места принципам. Принципы лгут. Начать с правил вежливости: нелепо же ведь их возводить в принцип. Можно нарушать их из принципа, но если следовать им, то, конечно, отнюдь не из принципа, а из потребности, привычки. Ещё нелепее как принцип: «не убий». Но убивать (определенного рода) людей вполне может сделаться принципом. Принцип — самообман человеческой природы, причем злостный и небескорыстный самообман. Можно думать, что принцип — это служба, ответственность, повиновение; на деле принцип — это требование, и требование лишь непосредственно — к себе, на деле же — к другим, через себя как инстанцию, пример, образец.

Почему же ты когда-то твердил себе: будь смелым, будь великодушным? Неужели ты заблуждался?

Или это ты сейчас принципиален — против принципов? А тогда, с принципами, ты не был принципиален?

30.

«Праздновать труса...» Так оно и есть. Трусость — великий праздник победы над самим собой. Ликующие послания друзьям, созывающие на торжественный пир: «Я трус отныне, веселитесь, други, бытие мое теперь — полная чаша. А вы не смеее, друзья мои? Для вас ещё не пробил час? Эй, наберитесь мужества». И восхищенные возгласы вокруг: «Он — трус! Он — трус!»

31.

Те, что любят тебя, — вот судьи твои на земле. Ты обязан им повиниться во всем. Но пойми свой страх, когда приблизишься и узнаешь: они — твои потерпевшие. Все твои преступления были против них.

Отсюда формула суда и судей. Это потерпевшие, но любящие. Одного страдания или одной любви недостаточно для справедливого приговора.

32.

Гуманизм смотрит на человека сквозь туманную дымку, порожденную как бы далеким воспоминанием, когда предмет приобретает расплывчатые, нежные, воздушные очертания. Гуманизм существует только в этом далеком от человека измерении; гуманизм — это любовь к человеку, отвергнутая им самим, изгнанная им с его путей и теперь только вспоминающая и фантазирующая о нем. Настоящая любовь ясными глазами глядит на человека в упор и испытывает весь трагизм смертной схватки с ним. Столкновение и битва с человеком — вот что такое любовь к человеку. Хорошо также расскажет о человеке заяц, затравленный охотой, укрощенная бетоном река, солнце, ослеплявшее его по утрам, дерево, которое растет над его могилой. Не именем человека, но именем солнца, травы и земли надо называть любовь к человеку: только они его знают, только они сохраняют память о нем.

Гуманизм же покрывает лишь крохотную часть человека; фиговый листок на старинных картинах — это аллегория и гиперболо гуманизма. Гуманизм — это первое ощущение человека, изгнанного из рая божья, пришедшее на смену вере: это стыд за себя и жалость к себе. Уж и бога нет, и рая, и греха, а стыд всё остается. И этот стыд за человека мы называем почему-то именем человека — «гуманизмом».

33.

Болит? — это смерть чему-то восторгается в тебе.

34.

О пусть будет неудача; но дай ей быть моим творчеством, а мне её творцом. Творчество оправдывает любую неудачу.

Но только удача оправдывает творчество.

35.

Как люблю я тип небольшого писателя, который выполняет всё, что может! В их писаниях ощущаешь это их тихое счастье с собой.

36.

Что есть быт в его отношении к подлинному бытию? Да, это «суета сует и томление духа»; но какой дух, не познав томления, набирает высоту? Отречение Екклесиаста от земных благ сурово и величаво, но в нем нет гордыни, нет высокомерия перед отряхаемым прахом мира сего; и разве имело бы это отречение религиозное достоинство и высокий смысл, если бы Екклесиаст не любил страстно этот пылящий и смердящий, но блистающий мир? Он перечисляет подробно, с вождением памяти, виноградники, и дома свои, и скоты, и всё, чем обладал в этом мире. Поэма быту, ностальгия по быту как по брошенной милой родине, скорбь, что не быту суждено обозначить человеческий удел и упокоить душу — вот что такое «Екклесиаст». Не проклятие и осуждение быту, как пони-

мают, а невоплотимая и потому мучительная любовь к быту, жалоба на непрочность быта и мечта о нем, сокрушаемом в потоке времени. Как бы он желал, чтобы верность быту не противоречила его бытию в вере, чтобы свыше на быт была наложена печать вечного блага!

Быт как источник творчества имеет ряд преимуществ перед небытовыми состояниями жизни. Быт учит суровому мужеству, долготерпению и воспитывает послушников в искусстве. Быт сопротивляется поэзии «высоких мгновений». Быт — почва и орудие мифа. Восторг, любовь, страдание, экстаз — всё это слишком тонкая материя для мифа; они с трудом поддаются символизации, переводу в инобытие, ибо и здешнее их бытие само по себе почти символично. Лишь бытовой факт может выдержать высокое смысловое напряжение мифа, не превращаясь при этом в пустую аллегория. Быт, как тема, великодушен: и мистика, и натуралиста он выложит немало откровений.

37.

Говорят о возмужании, зрелости; в частности, о том, что повышенное внимание к социальным и политическим проблемам /в отличие от психологических и метафизических/ — признак зрелости. Но есть две разные зрелости: зрелость тридцатилетних и зрелость пятидесятилетних. Зрелость силы и зрелость разума. Если одни пытаются воздействовать на силу разумом, то другие — на разум силой.

38.

Когда, кому, кем сказаны эти страшные слова: «пусть тот, кто вопиет о голоде, проглотит свой язык»?

Гротескная формула самодостаточности.

Не обольщайся, что они — не твои.

39.

Сальерианский вклад (пусть легендарный) в мораль и философию гуманизма. Убийство Моцарта — торжество духовности и разума над слепым выбором природы, Моцарт своим легким даром творчески обездолил множество музыкантов (современников и потомков) — менее вдохновенных от природы, но куда более мощных и целеустремленных человеческих натур, Моцарт был отравлен во имя человека и его труда, его пота. То, что Шиллер говорил о новом времени (перевес духа над природой и т.д.), чуть раньше гротескно доказал Сальери.

Не так ли и нынче укрощают «природу»?

40.

Двух родов личности остаются в истории. Одни остаются своими деяниями, влиянием на судьбы потомков, другие — только собой, фактом своего существования. Первые — субъекты истории, вторые — её объекты. О первых история оставляет священные или героические жизнеописания, о других — характерные анекдоты. Из жизнеописаний мы узнаем, кем делается история, из анекдотов — кого она делает. Александр Македонский — и Алкивиад. Юлий Цезарь — и Антоний. Наполеон — и Фуше. Маркс — и Бакунин. Моцарт — и Сальери. И среди писателей: Гете — и Гельдерлин. Томас Манн — и Кафка. Достоевский — и Розанов. Великие творцы и великие персонажи. Если первые дают истории субстанцию и смысл, то вторые дают истории символы. Поступательный ход историй — и миф, складывающийся в её недрах.

Наша ситуация весьма предрасполагает к символистическому вкладу в историю. Поскольку не мы делаем, а нас делают. И очень упорно. Что за причудливые типы всплывут со временем! Пожалуй, на сотню лет хватит романистам со вкусом к мифологическим сюжетам.

41.

Какое слово остается победителем в этом мире? Самое безумное слово, эпилептическое вещание Мухаммеда.

Будущее любит в настоящем только крайности, а из всех крайностей — крайность разума. Разумное слово требует и разумного к себе отношения — как ему подчиняться?! Но нет ничего легче, радостней и возвышенней, чем отозваться на безумный клич и пойти на дело, исход и последствия которого — тайна. Только это и есть возвышенное слово. Всякое другое — мудрое или глупое.

Будущее составляется из крайностей настоящего и «золотых средин» прошедшего. Только это и можно брать в расчет. Но как найти свой край, чтобы он не был с какой-нибудь стороны глупой серединой?

42.

Всё то, что плохо усваивается природой человека (в этическом смысле), достается его памяти. Хорошее растворяется в нем выше и ниже сознания. Человек несет хорошее, выпавшее ему на долю, в клеточках своего тела, в инстинктах, в выражении лица. Все непереваренные остатки жизни откладываются в его памяти — чтоб мучить долго, но не чревно. Ты помнишь свои постыдные дни — значит, в существе твоём нет их яда, ты здоров. Забыл — болезнь твоя скажется как-нибудь невзначай, выдаст тебя в нечистом взгляде, в потливости рук, в циническом разговоре, который ты разрешишь себе продолжить на минуту дольше, чем раньше.

43.

Если тот или иной человек идет дорогой своего рода или своей страны, а страна идет дорогой человечества, то в чей след ступает человечество? — Ему не остается дороги, не остается шагов впереди идущего. От самых границ человеческой вселенной к нам приходит дыхание свободы. Необходи-

мость наступает только там, где человечество делится на степени и разряды. Необходимость всегда рангом ниже свободы.

44.

Эта женщина для тебя — подготовка к призванию. набросок невоплотимой идеи. Тем сильнее ты любишь. Тем меньше она верит тебе.

45.

Самое грандиозное сознание, на какое способен человек, — это сознание собственной бездарности и пустоты. Это выше и труднее всех прочих сознаний. Больше голова человека вместить не может. И так уже его сознание — впервые! — превосходит его бытие.

46.

Творить нужно через себя, вопреки себе, в мечь и поношение себе; творчество должно исходить из начала, идеи, цели, противоположной и враждебной творцу. Поиск врага и убийцы в самом себе — вот что такое творчество. Переверни свою жизнь, опрокинь свои расчеты, оскверни свои вкусы. Только одолев наше сопротивление и муки, творчество становится вполне нами, нашей кровью и судьбой. Теперь можешь ставить свою подпись.

47.

Люди пожившие, люди в годах задумываются о счастье. Но более правы отроки, которые задумываются о гении. Гений и счастье — одна судьба; полная мера счастья достается только Гете и Моцарту. Вместить в себя жизнь может лишь тот, кто создан для жизни.

48.

«Как я могу поверить в бога, — говорю я, — если бог впервые станет, чтобы покарать меня за неверие».

49.

Преследование добычи и безудержное бегство от опасности: в эти две крайности вмещается животная природа. А также природа прогресса и реакции.

Но человеку известен ещё третий путь: путь героической капитуляции. Не жизненный плюс к жизненному плюсу. Не минус к минусу. Но превращение минуса в плюс. Веди, веди в наступление свою капитуляцию! Верни себе путь и цель в самой невозможности их и в отказе от них! Услышь в ударах судьбы стук собственного сердца!

Отступая, человек учится узнавать свой минимум, свой предел. Предел человека — это и есть ты, человек!

Человек отступающий. Homo capitulagens.

16 сентября - 25 октября 1971 года

ПРИМЕЧАНИЯ

К «Метафизическому дневнику»

(26 июня 1973 года)

1. Придет когда-нибудь время страшиться за широту своих вчерашних и сегодняшних обобщений. Самый страшный суд — суд точности, суд факта над сибаритствующей мыслью. Суд филолога над философом. Седая профессорша французского языка, до последних тонкостей познавшая долготу консонантов в поэзии 14 века — вот кошмар, который отныне станет являться мне в сумеречных застольях ума.

2. Любовь к афоризму, к краткой и четкой записи настаивает нас в момент перехода от созерцательного расположения ума к напряженной концептуальности. Вернувшись из отпуска, оторвавшись только что от травы, воды и своих отражений в ней, от всего, что

ласкает, нежит и усыпляет ум, к своему сравнительно чистому, еще не загруженному столу (на нем только несколько полуспециальных журналов, разбросанных в беспорядке твоего отсутствия и мамино заботливого неухода), — действительно тянешься к чистому листу, чтобы излить на него всю впитанную ласку одного только созерцания, не развращенного корыстной опекой идей. Мысль струится в ум, словно рассеянный утренний свет на чистые поля зрения. Позади — сладкая дремота созерцания; впереди — палящий зной идеи; и вот из рассветного состояния ума нечаянно рождается афоризм.

Сергей ЮРЬЕНЕН. ДВА РАССКАЗА

Второй по понятным причинам не напечатан в России и по сей день, а первый — он самый первый из прорвавшихся в печать. Единственной его публикации — в СССР, в многотиражной газете Архангельской области «Ленинское Знамя» и под защитной рубрикой «Мы — интернационалисты» — предшествовала преамбула от редакции:

Сергей Юрьенен — молодой московский писатель. Его произведения публиковались в центральных журналах — «Неман», «Наш современник», «Дружба народов», газете «Московский комсомолец».

С. Юрьенен — участник семинара творческой молодежи Москвы, организованного МГК ВЛКСМ и московскими отделениями творческих союзов.

В издательстве «Советский писатель» готовится к выпуску первая книга писателя, куда, кроме рассказов, войдет и документальная повесть «Главные люди», главу из которой печатала наша газета.»

Сегодня мы предлагаем читателям рассказ «Телефон», вошедший в сборник С. Юрьенена.

ТЕЛЕФОН

...Аресты, допросы и пытки активистов, вожаков рабочего класса, студенчества и интеллигенции стали повседневным явлением. Власти держат в тюрьме — фактически в качестве заложников — Ромеро Марина, Санчеса Монтера, Фернандеса Игуансо, Лусио Лобото и других коммунистов.

Игнасио ГАЛЬЕГО,
член Исполкома и Секретариата ЦК Компартии Испании.

И никому не открывать...
Там, за дверью, еще слышно лестницу. Мама уходит на собрание, и ступеньки, затихая, спускаются все ниже.

Этажом ниже.

Двумя...

Уже не слышно.

Ушла.

А телефон остался. Вот он. Черный, толстый. Выпятил диск. Пухлые уши свесил. Слушает, затаив гудок. Эспе сняла трубку. Прислушалась. Гудок перетекал в ухо, наполнял голову... Голова закружилась. Эспе положила гудящую трубку. С оглохшим ухом она вбежала из коридора в комнату, к окну. Придвинула стульчик, взобралась на него с ботинками.

Внизу лежала улица, солнечная до половины. Тротуар на их стороне был еще на солнце, и мама вышла к самому краю. Стояла, помахивала сумочкой. Мимо проехали раз, два, три... семь машин, последняя без крыши, красная внутри, на заднем сиденье развалился мужчина в белом костюме, он повернул голову на маму. Улица опустела, мама вошла в тень. Идет так, что на маму не похожа: чужая женщина. На той стороне она прошла под полосатыми тентами над кафе. Из кафе вышел мужчина, огляделся по сторонам. Нерешительно. Наверное, не знал, куда идти. Он курил сигарету, и на нем был белый костюм. Он решил пойти в ту же сторону, что и мама. Курил сигарету на ходу. Держа стульчик перед собой, Эспе перебежала в кухню. Мужчина в белом костюме быстро приближался к правому краю окна. Перед тем, как исчезнуть, он успел бросить сигарету в водосток. Все. В окне то же, что и всегда. Никому-никому.

Эспе спрыгнула на пол. Один апельсин лежит у самого края стола, отдельно от двух других. Эспе толкнула его пальцем и проследила, как он катится к остальным, чтобы лежать вместе. Апельсин катился медленно. При каждом обороте он делал усилие, чтобы перекатиться вмятым местом, где у него плоско. Этот, конечно, достанется ей.

В открытую дверь родительской комнаты видно, что Тити полусполз с тахты на пол, разбросал руки и так лежит. Ладонь разжалась вокруг рукоятки игрушечного револьвера. Эспе вошла в комнату. Рамон сидел глубоко на тахте, спиной к стене. Стена за ним белая, от этого волосы у него совсем черные. У него на ногах Ла Нена, и руки Рамона осторожно ее поддерживают, чтобы не повалилась.

Ла Нена еще маленькая, и поэтому на ужин ей будет не апельсин, а яблочное пюре. И не давать ей салат из помидоров. Все были в тех же позах, что и при маме, только Тити лежал подвернутыми ногами на полу, как будто он мертвый. С закрытыми глазами. И пусть себе лежит. Не обращать внимания... Район положил себе под ботинки газету, и это снова показалось ненужным. Все равно они не выходят на улицу, и ботинки чистые. Поэтому газета под его ботинками — вранье. Этой ненужной газетой он хочет показать, что он, Рамон, никогда не залезет с грязными ногами на тахту, даже если на самом деле они у него чистые. Такой у нее брат. И оба они, старшие, даже дома обуты в ортопедические ботинки. Чтобы предупредить плоскостопие. Вот.

Ла Нена любопытно посмотрела на нее с Района: потому что Эспе вошла, и что-то в комнате изменилось. Тити на нее не смотрел, потому что продолжал быть мертвым. Рамон над головой Ла Нены смотрел так, будто просил разделить с ним его тревогу: «Мы одни дома, наедине с телефоном...». Рамон ее сегодня раздражал. С самого утра, когда мама сказала, что вечером им придется снова побыть одним.

Тити смутился от затянувшегося молчания. Приоткрыл один глаз. Он поглядел, что все в порядке, и скатился на пол совсем, грохоча револьвером. Он покатился дальше. Каждый раз, оказываясь на спине, целился в Эспе, скользяще ударял по курку револьвера другой ладонью, выкрикивал с азартом:

— Пах!

— Пах!

— Пах! — револьвер не щелкал, и приходилось помогать ему голосом. Тити докатился до шкафа и стукнулся об него (не больно). Шкаф заскрипел в ответ. Он был непрочный, этот шкаф.

— Что же ты не падаешь? — удивленно спросил Тити с пола. — Я разрядил в тебя весь автомат, и ты давно убита. Падай!

Эспе ответила ему строгим взглядом. Взрослым...

Тити поднялся с пола, сердито дыша. Все испортила.

— Так нельзя! Если мертвая, то мертвая. А так нельзя.

Он прошел рядом и нарочно отстранился, чтобы не коснуться Эспе. Он выглядел очень сердитым и от этого — совсем ребенком. Несмысленным. Револьвер ненужно свисал в руке, уже неинтересный. Он вышел из комнаты.

Шкаф, наконец, надумал и приоткрылся.

Угрожающе скрипя, дверь поехала все быстрее, сметая зеркалом отражение всех троих.

Отворившись, шкаф умолк.

Внутри брякали голые вешалки, на одной висел папин пиджак.

Пиджак был такой пустой на вешалке.

На отце он сидел хорошо...

Вряд ли папа станет носить его, когда выйдет из тюрьмы. Через двенадцать лет будет другая мода. Эспе станет взрослой через двенадцать лет. Вот, и они пойдут по улице с папой, и на папе будет другой пиджак. Не этот, черный, а на папе будет белый костюм, новый, белый, и, красная гвоздика в петлице, и все будут останавливать папу и жать ему руку, и хлопать по спине.

Эспе быстро взглянула на Района. Глаза у него блестели, веки припухли, и Эспе отвела взгляд. Мужчина должен держать себя в руках, а Рамон — мужчина.

Ла Нена пропищала: «Пи-пи!».

— Видишь, она уже просится, — значительно сказал Рамон.

Как будто в этом его заслуга.

Эспе взяла Ла Нену на руки и понесла в ванную. Такое ощущение, что Ла Нена каждый день прибавляет в весе. Рамон открыл перед ними дверь, Эспе внесла Ла Нену в прохладную темноту. Рамон щелкнул снаружи выключателем, и в зеркале напротив возникло пол-лица: два белых банта. Черные волосы. Уши, как обычно, торчат, и это вряд ли хорошо. Как-то Эспе обратила внимание мамы на свои уши. Мама засмеялась и сказала, что у твоего отца, когда он был маленьким, они тоже торчали. Рамон выволок из-под ванны горшок, и Эспе спустила с Ла Нены штанишки и посадила ее точно и

удобно. Старшие, они удовлетворенно посмотрели сверху на Ла Нену, а Ла Нена, запрокинув головку, посмотрела на них. Горшок под ней не отзывался, и старшие, чтобы не отвлекать Ла Нену, вышли из ванной. Рамон остался ждать за дверью, а Эспе пошла взглянуть на Тити.

Он был на кухне. Выпрямился на стульчике, когда вошла сестра, и его ладони схватились за подлокотники.

— Я апельсин хочу, — заявил он. С непрошедшей обидой в голосе, с готовностью к новой.

Эспе сказала мягко:

— Но ты ведь знаешь, Тити, что апельсины на ужин...— и, заметив, что кулачки его побелели от злобы, добавила загадочно: — Это ведь не простые апельсины.

Взяла со стола и показала.

— Видишь? Это «бычья кровь»³².

Тити с интересом перевел взгляд с апельсина на сестру.

— «Бычья кровь», — повторила Эспе. — Внутри он весь красный, и если съесть его перед заходом солнца, то...

Тити перебил восторженным криком:

— Я стану быком!

Он выпал из стульчика, шлепнулся ладонями об пол и медленно побежал на четвереньках. Бежал, забирая немного боком, бодал воздух затылком. На некоторое время он станет быком и прекратит, наконец, свою пальбу.

Район посторонился и пропустил перевоплотившегося Тити дальше в коридор, а в это время Ла Нена встала вместе с горшком.

— Что у вас тут? — подбежала Эспе.

— Ла Нена, — брезгливо показал Район. — Вытри.

Эспе натянула сестренке штанишки и передала ее с рук на руки Району.

Вытирая, спросила:

— Почему — я? Ты ведь отвечал за горшок — ты и должен.

— Это не мужское дело, — отрезал Район.

³² «Бычья кровь» — сорт апельсинов.

Эспе взглянула на него жестко — исподлобья.

Она неуклюже ворочала тряпкой по кафелю. Швабра была выше ее. Она растерла мокрое по всему полу, перевернула тяжелую тряпку и вытерла еще раз — досуха. И поставила швабру в угол. И с вызовом посмотрела на брата.

— А папа, — сказала она, предвкушая победу, — сказал, что нет мужских и женских дел. Помнишь? В последний раз, когда нас к нему пустили? И что должно быть равноправие.

Из-за Ла Нены Район ответил ей яростным взглядом. Но возразить против папы он не мог, и Эспе это знала. Это был удар ниже пояса, и Рамон переживал его мучительно, но молча, стиснув зубы от бессилия ярости. Как подобает мужчине. Он бережно протянул сестре Ла Нену, Эспе протянула руки, чтобы бережно ее принять, и в этот момент раздался телефонный звонок.

...Если уронить ребенка — у него вырастет горб.

Крепко и бережно держали они Ла Нену, глядя друг другу в глаза. Лицо Рамона осунулось, когда телефон позвонил в третий раз. А Ла Нена между ними вдруг заплакала.

В коридоре пробежал топот, удвоенный ладонями.

— Нет, — выкрикнул Тити. — Здесь живет сеньор Бык!

И грохнул трубкой.

— Сеньор Лопес здесь не живет. Здесь живет сеньор Бык!

«Сеньор Бык» выбежал на них и остановился на четвереньках, поводя медленно головой: выбирал, кого забодать сначала, брата или сестру.

Эспе отнесла Ла Нену в родительскую комнату, опустила в загончик. Потом она открыла шкаф, в котором беспомощно висел пиджак папы. Отступила на шаг, посмотрела на себя внимательно в зеркало. Лицо у нее тоже осунувшееся. Но оно всегда такое. Очень уж они у вас худые, сеньора...

В коридоре Рамон пытался поставить Тити на две ноги, Тити вырывался и упрямо вставал на четыре.

Эспе решила вмешаться. Сказала внушительно:

— Тити.

Нарочито медленно братишка поднялся и стал, не глядя на Эспе, внимательно рассматривать свои ладони. Одну. Потом другую.

— Ты не должен подходить к телефону. Ты понял?

— Понял, — легко согласился Тити. И вытер ладони о джинсики.

— Скажи мне: «Я...».

— Я, — сказал Тити.

— «...Больше не буду...».

Тити повторил и вздохнул прерывисто.

— «...Подходить к телефону!».

— Хорошо, — сказал Тити и взглянул на сестру с удовольствием.

— Честное слово?

— Честное слово, — крикнул Тити, все опаснее оживляясь.

— Все, — сказала Эспе.

— Я могу посторожить там... — предложил Рамон. — У телефона?

Эспе пронизательно на него посмотрела. Если ему хочется увильнуть от более ответственных дел — пожалуйста. Только зачем напускать на себя такую важность? Подумаешь, сидеть у телефона! Все равно, когда мамы нет, трубку берет не он, потому что очень боится, а она, Эспе, потому что — старшая.

Выразив все это взглядом, Эспе небрежно кивнула в знак разрешения.

Мальши — вот ответственное дело.

— Садись, — подтолкнула она Тити.

Братишка охотно забрался на тахту. Она окинула его задумчивым взглядом. Решила:

— Будем слушать музыку.

Снимая крышку с проигрывателя, оглянулась на загончик. Вцепившись ручонками в веревочные ячейки, Ла Пена внимательно следила за ними сквозь сетку. Пусть и она послушает. Слух надо развивать с детства. Под крышкой лежала пластинка, которую ставила мама, когда была одна в комнате, и

еще мама слушала ее ночью, очень тихо. Это, конечно, не для детей.

Эспе опустила мамину пластинку в прозрачный мешочек и положила сверху на стопку. Что же им поставить? — приподнимала стопку в разных местах, заглядывала на обложки. Потом она вытащила советскую пластинку, подарок папы.

— «Петя и волк», — объявила она детям.

Пластинка стала вращаться, и в сумерках заиграла музыка.

Тити обмяг в ее руках, молчал под музыку, окно на кухне все красное от заката, и в комнате уютно, сумерки, музыка тихо, и братишка такой мягкой и теплый...

Когда она услышала первый звонок, ей до слез стало жалко, что придется тревожить Тити. Ла Нена заплакала.

Пробив дыру в доме, телефон умолк, собираясь с силами.

И зазвонил снова. Яростней. Др-р-релью, др-р-р-релью дырявит дом. Угроза забирается в эти дыры. Вползает, забирается во все уголки. Заполняет дом. Жутью пробегает по спине, сводя лопатки. Дрррр! Она идет. В коленках слабость. Снимает трубку. Трубка говорит. Прямо в ухо. Этот голос... Она сразу узнает его, голос. Из него вынули губы. И язык. И дыхание. Люди говорят не так. Это голос телефона. Красных и зловещих проводков, блестящих железок, мертвой пластмассы, пыли в решетках его ушей. Голос этой твердой тяжести, которую так легко поднять двумя руками... И грохнуть! Чтобы голос разлетелся вдребезги, на кусочки, на твердые злобные звуки — по всему полу! Его нельзя будет собрать снова. Даже если кто-нибудь попытается... Его можно будет смести со всех углов в аккуратную кучку. И отнести на краю совка. В мусорное ведро. Вот куда!

...Телефон трясся от ярости, умолкал, снова принимался звонить. Рамон прижимал к себе толстый том, каталог игрушечных электропоездов, и ему нестерпимо хотелось в уборную. Но он боялся шевельнуться. Сестра брала трубку. Слушала ее, изо всех сил прижимала к уху. И смотрела на Рамона, как слепая, будто и не было его здесь, перед ней. Рамон почув-

ствовал, что уши, как у зайца, прижимаются к вискам, стягивают кожу на лбу.

С трубкой в руке сестра сползла по стене, жестко стукнулась об пол. Уставилась, еще слепая, на свои колени. Они у нее белели в сумраке. Рамон вынул потную трубку из ее руки. Приложился робко. Никого. Гудок... Он бережно положил пустую трубку на две податливые кнопки телефона. И присел на корточки, пытался заглянуть снизу сестре в лицо, а она все упрямее нагибала голову, один бант развязался, пока совсем не скрылась в своих жестких коленках. Туго обняла их руками. Рамон растерянно сидел перед ней на корточках, не придумать, как поступить? Может быть, она плачет, как все женщины? Тогда, как мужчина, он должен утешать. Но как к ней подступиться?

Эспе резко поднялась и пошла от неслышного телефона, волоча за собой тяжелые ботинки.

Она выключила бесшумно крутящуюся пластинку. Тити сонно дышал, и она прикрыла его углом пледа. Ла Нена еще всхлипывала над сеткой. Один за другим Эспе отделила ее пальчики от веревочек и положила Ла Нену на мягкое дно, а сама уселась на полу перед вагончиком, поудобнее разместив свои ботинки. Они долго смотрели друг на друга, всхлипыванья Ла Нены все реже, и Эспе погода спела сестренке такую песенку, из папиного детства, в его деревне пели эту песенку:

У меня есть дойная корова.
Это не простая корова —
Она дает мне гущенное молоко.
Вот такая симпатичная корова.
Динь!
Дон!

Даже сама развеселилась.

* * *

«Звонили сегодня?» — первым делом спрашивает мама.

«Угу. Спрашивали, где ты. Я молчала, а они все спрашивали, а потом сказали, что все равно до тебя еще доберутся. Потому что ты тоже „красная», как папа».

«Ты не должна их бояться».

«Я и не боюсь».

«Товарищи узнали, что папу на днях переведут в другую тюрьму. Мы тоже переедем вместе с папой. В другой город. Может, там будет по-другому».

«Сказали еще, что мы тоже „красные», только еще не подросли как следует. Но что мы тоже на очереди у них, пусть только подрастем. А я молчала».

Мамины руки прижимают ее к себе.

«Пусть у нас не будет телефона, хорошо? — бормочет она в мамино тепло. — Там, в другом городе...»

Окт 1973

[Газета «Ленинское Знамя», Орган Устьянского райкома КПСС и районного Совета депутатов трудящихся, вторник 31 декабря 1974 года (Устьянская типография уприздата Архоблисполкома. Шангалы, Школьный переулок, 2. Тираж 10146.)]

МОСКВА, ТЫ КТО?

*Stay away from CIA.*Студенты 60-х
в США

Остальные были девушки. Мы пропускали их вперед, пытаюсь, как плоско они шутили, надышаться перед смертью, пока не остались вдвоем в загибе коридора — я и незнакомый юноша. Москвич.

Он стоял, опираясь плечом о стену, я сидел в нише на подоконнике. Стриженный мех импортных его ботинок топорщил складки брюк. Впалую грудь под пиджаком обтягивал темно-зеленый свитерок нездешней выделки — не из простой семьи москвич. Впрочем, кроме меня и Э***, ныне профессора в Америке, кто был там из простой? Одна из девочек, к примеру, родилась в Женеве. Та самая, которая распоролла себе ладонь в метро — бритвой, врезанной кем-то в поручень эскалатора.

Сокурсник к нашей группе не принадлежал. За первый семестр на общих, строго обязательных лекциях в Коммунистической аудитории мне примелькался весь курс — кроме него. До этого на фэке я, кажется, вообще его не видел. Полгода проболел? Богатырским здоровьем от него не веяло, но особо болезненного впечатления он не производил, разве что был бледноват и очень уж сутулился с видом озабоченности чем-то потусторонним. Предстоящее его, видимо, не волновало. Я тоже не мог дожидаться, когда я, наконец, забьюсь в нагретый задний угол автобуса 111, чтобы в предвкушении дальнего маршрута до Ленгор достать из сумки «По ком звонит коло-

кол». Но здесь и сейчас, сидя в выстуженной нише, все же заставлял себя сосредоточиться на книжке Лихачева Дэ Эс. Он же был отрешен всецело. То и дело он вынимал пачку «Столичных» и удалялся на черную лестницу, возвращаясь бледней, чем прежде. Вдруг он запрокинул голову и выхватил носовой платок. Освобождая место, я подвинулся. Он сел, распростирая тонкий запах духов — не удушливой «Красной Москвы», которой душили мои точно так же наглаженные платки, пока я не оказался за пределами маминой досягаемости.

— Россия, я твой кровеносный сосудик...

Стихи, которые он иронически прогнусавил, я, конечно, знал, но этого ничем не выдал. С зажатым носом сокурсник повернулся:

— А ты, я знаю, пишешь.

Узко посаженные глаза смотрели пронизательно — но в то же время и застенчиво. Словно бы стыдились своей зоркости. Тогда он был младше и не столь неотразим, как этот двадцатилетний ветеран Великой Отечественной и курсант школы контрразведки «СМЕРШ», фото которого помещено в мемуарах, лежащих рядом с моим компьютером теперь, когда я неизвестно отчего об этом вспоминаю в цивилизованной стране — спустя не жизнь, эпоху! Но глаза те же. Взгляд. Который красивому курсанту обеспечивал доверие послевоенного поколения советской творческой интеллигенции, а сыну его — мое. Хотя, как помнится, тогда я отчего-то воспротивился порыву расколоться:

— С чего ты взял?

— Вид у тебя такой... Что, прозу?

Машинально я пошерстил свою бородку а ля Мышкин.

— А ты?

— Наоборот.

Момент сближения тех юношей прервала уроженка Жены, которая выскочила, как ошпаренная: «Садист!» и гневно затрещала за углом паркетом пустого здания на Манежной. Кому-то надо было идти, но поэт сыро потянул носом и за-

прокинул голову. Делать нечего: я поднялся и отправился на экзамен по родной словесности, которая тысячу лет назад в своих монастырях не ведала, что превратится в дело государственной важности.

— Андрюша Друганов? — с какой-то насильственной улыбкой приподнялся навстречу мне доцент. Пропустив всех наших девочек, выглядел он изнуренно. На что и был расчет, который оправдался — несмотря на то, что для начала я его сильно разочаровал. Дуя в зачетку, я вышел в коридор, где Андрюша успел высказать пожелание, что надо бы продолжить нам знакомство, ибо: «Важно не то, чему ты в университете научился, а каких людей там встретил...»

— Сказал Хемингуэй, — ответил я. — Ни пуха!

— К черту.

*

Продолжили мы только в следующем учебном — сразу после Августа.

С одной стороны, не самый паршивый был момент. Я еще ничем не осложнил себе жизнь. Еще не влюбился, еще получал стипендию плюс перевод из дома. С другой стороны, вот уже года три как мои рассказы, несмотря на поддержку Абрамцева, не могли пробиться в печать: то журнал менял курс, то год оказывался юбилейным. Тем не менее надежда оставалась вплоть до того самого момента, когда мы услышали с проспекта странный гул. Я был на каникулах в городе, который одновременно был столицей Западного военного округа. Бывшие одноклассники, мы распивали у приятеля, который жил в центре. «Кино, что ли, снимают?» Прекратив распитие, мы вышли на лоджию и увидели, что движение перекрыто. По Ленинскому проспекту слева направо, то есть, строго на Запад, двигалась головная танковая колонна. Приятель, отец которого работал в республиканском ЦК, обычно знал все, но при виде бронированной мощи, рассекающей город, обалдел, как и мы. «К параду, может, готовятся...» — «В честь Дня шахтера, что ли?» — «Может быть, Курскую дугу решили отме-

тить. Двадцать пять лет...» — «Сегодня мы не на параде, а к коммунизму на пути», — пошутил я, но так оно и оказалось. Утром 21 августа по радио прозвучало «Заявление ТАСС» насчет оказания братскому чехословацкому народу неотложной помощи, «включая помощь вооруженными силами».

Не могу сказать, что мое возмущение не имело пределов, поскольку даже на кухне в отчем доме был риск нарваться на кулак отчима-полковника. Когда я вернулся в Москву и встретился на станции «Проспект Маркса» со столичным знакомым, этот румяный бородач опирался на трость своего деда, поскольку был избит на улице за выражение протеста. Флоренский сказал, что нашлись ровесники, которые вышли даже на Красную площадь, где сразу попали в лапы ГБ. В то время для меня были очень важны такие понятия, как «целостность» и «подлинность». Если целостность и была, то Август ее расколол, и чувствовал я себя не подлинным, а подлым. Я не только не вышел на площадь, я даже на комсомольском собрании курса не возвысил голос против, предпочтя на него не пойти: вся демонстрация протеста бушевала исключительно внутри меня. Все это значило, что время моей жизни вступило в конфликт с объективным — Большим историческим. Оно, Большое время, поставило под вопрос мое будущее, мой Проект и самого меня.

В общем, пребывал я не в самой лучшей форме, когда, вынуж «солнышко», протиснулся на лестничную площадку. Было это на Ленинских горах, в только что открывшемся корпусе гуманитарных факультетов.

Студентки из хороших столичных семей щебетали как ни в чем не бывало. Американские сигареты курили не все, но большинство, поскольку отцы имели доступ в спецраспределители. Зависти, а тем более гнева я не испытывал, поскольку длинные эти сигареты с белыми фильтрами, тронутыми губной помадой с блестками, так элегантно выглядели в девичьих пальцах, совершали такие красивые движения к губам, так меняли движения ртов, что я впал в прострацию на тему об оральном сексе, который к тому времени испытал только три

раза, причем, партнерша мне, скорей, не нравилась, и было это еще во время вступительных экзаменов и в самом начале первого курса — давно. Без таких экстремумов, конечно, можно прожить, что мой случай и доказывал, но вовсе без любви...

Вынимая пачку «Столичных», на площадку вышел Андрияша Друганов. Он был загорелым и выглядел намного лучше, чем той зимой, когда у него лопались сосудики. В коридоре от него как раз отвалил краснощекий детина в джинсовой паре «Ливайс», о которой я даже не мечтал. — На пьянку зывал, — кивнул ему вслед Андрияша. — Внук Молотова, кстати...

— А с дедом, кстати, что? — Фамилия ассоциировалась у меня, скорей, с «коктейлем», прославленном бунтующими сверстниками Запада, нежели чем с кошмарным прошлым родной страны.

— Вячеслав Михайлович живет и здравствует.

— Да ну? Что же он делает?

— Мемуары диктует поэту хуеву.

Меня, который думал, что монстра нет в живых, поразил не только факт, но уверенная его осведомленность. — Откуда ты это знаешь?

— От отца.

— А кто он у тебя?

— Историк. А ты ведь как будто не курил?

— Закурил.

— Давно?

— Недавно. Двадцать первого августа...

Узко посаженные глаза оставались непроницаемыми. Но играть в гляделки Андрияша не стал, отвернулся к окну. Сквозь чистые новые стекла с высоты факультета открывался вид на внутреннюю территорию, включая двускатную крышу корпуса изначальной сталинской постройки, где, по слухам, находится Первый отдел. Все это озарялось зябким солнцем, и Андрияшу передернуло: — Скоро дожди зарядят, потом зима... А ведь совсем недавно я нежился на Золотых песках! — Он увидел, что в географии курортов я не силен. — В Болгарии...

Я открыл глаза:

— Ты был за границей?

— Ну, если можно так назвать... Курица — не птица.

— Все-таки, — отдал я должное, добавив, что перед каникулами тоже собирался за пределы одной шестой.

— Куда?

Цинично я ухмыльнулся.

— В Прагу.

— Ах, да... Со студенческим строительным?

— Вот именно. Метро собирался братскому народу строить.

Был уже в списке...

— И?

— Отряд не заметил потери бойца.

— Может, оно и к лучшему. Все равно их эвакуировали раньше срока. Что меня возмущает, это как Зорина могли пустить?

— Причем, комиссаром, — поддержал я с наслаждением, ибо прямо напротив факультетских лифтов уже третий день висел приказ об отчислении. Комиссар на досуге вел драмкружок. По возвращению из Праги он изнасиловал своего Гамлета, который, не задаваясь лишними вопросами по малолетству, тут же выбросился из Дома пионеров.

— На лице же была печать порока, — с брезгливой гримасой сказал Андрюша и добавил, возможно, в адрес Первого отдела, неизвестно почему забравшего меня. — Дуболомы...

После чего пропал.

*

Через год, когда я был уже безнадежно влюблен, он с опозданием вошел в кабинет заместителя декана по учебной части. В своем импортном костюме Хохлушин выглядел, как цэрэушник в фильме «Ошибка резидента». Переливаясь стальным блеском, он поднялся из-за стола. — Прошу любить и жаловать: наш новый семинарист. Только что напечатался в

научном журнале. Поздравляю с первой публикацией, Андрюша. Где мой экземпляр?

Андрюша пообещал — когда получит авторские.

— Смотри! Чтобы с автографом.

Во время семинара все поглядывали на дебютанта, а старый мой знакомый отчужденно сидел в углу, держа себя за худое колено переплетенными руками. На безымянном пальце правой у него появилось золотое кольцо.

— Поздравляю, — сказал я, когда мы вышли в изморось и двинулись к высотной пирамиде с озаренным шпилем.

— Подумаешь, анноташка... Стихи мои не печатают.

— С законным браком.

— Ах, ты об этом... Дочь, между прочим, видного ученого.

— Тоже историк?

— Почему? — удивился он. — Физика ядра. Наталья будет синхронисткой. ООН, ЮНЕСКО... Завидую! Увидит мир.

— Ты тоже видишь.

— В отмеренных пределах. Я ведь, — вздохнул Андрюша, — на соцлагерь обречен.

— Почему?

— Из-за отца.

После Москвы меня, не москвича, ожидало распределение в неведомые дали одной шестой, но, будучи юным и отзывчивым, я проникся внеклассовым чувством сострадания к обладателю столичной прописки, который стал жертвой, как я решил, отца-инакомысла из круга академика Сахарова. Из тех, что пытаются ревизовать официальную историю страны и покушаются на героические мифы.

— Но сын ведь за отца не отвечает? Те времена прошли.

— Как для кого...

*

Шпиль со звездой в лавровом венке ушел высоко в небо. Дом студента смотрел на нас сотнями окон. Они, эти глубоко врезанные окна без переплетов, светились или пребывали в темноте, вдруг вспыхивали или гасли: не иначе, в столовую

спешили обитатели. Вид этот всегда возбуждал меня своей постоянно меняющейся перфокартой, шифром, ключ к которому ускальзывал от меня — при том, что в этом световым хаосе я чувствовал присутствие послания лично себе. Он будет, конечно, главным персонажем моего романа, этот Дом.

У проходной сокурсник поразил меня признанием. Оказалось, что он ни разу не был в общежитии:

— Действительно, рассадник вольнодумия?

— Идем, покажу.

Пропуском для нас служила синяя книжечка студенческого билета со стершимся золотом аббревиатуры «МГУ». Во внутреннем дворе со скверами, где пахло отсыревшим листопадом, нас замкнули стены корпусов. Мы поднялись под нависающую громаду Главного здания, прошли турникет и внутри нас охватило гулкое великолепие мрамора и колонн из полированного красного гранита. Еще две лестницы. Центральный коридор. Под сводами зоны «А» остановились. Это был перекресток всех внутренних маршрутов. Резонировали шаги. Мелькали лица — белые, желтые, черные. «Вавилон...» — сказал он потрясенно. — «Больше ста стран!» — «И все живут вперемешку?» — «А то и вповалку. Можно обернуться вокруг света: не вынимая и без виз».

— Не страшно?

— Гондоны в киосках на входе. Конечно, баковские, но бесперебойно.

Но Друганов, человек женатый и вообще для поэта, на мой вкус, излишне чопорный, имел в виду отнюдь не венерические угрозы:

— Шпионов ведь, наверное, полно?

— Стукачей хватает.

— Нет, — отмахнулся он. — Настоящих?

— Меня не вербовали. Даже в КГБ. — Это его не рассмешило, и я добавил, что шпионов здесь мы видим только в фильмах, который показывают в Клубной части.

— А что показывают?

— «Вид на жительство» — про ужасную судьбу невозвращенца. Потом этот, с Банионисом...

— «Мертвый сезон»? Как он тебе?

— По-моему, лажа.

— Есть мнение, — почему-то обиженным тоном, — что это лучший в мире фильм о разведке.

— Не знаю. Джеймса Бонда не смотрел.

— Банионис лучше в тысячу раз!

Он меня начал раздражать, тем более, что за день я съел только сосиску на факультете:

— Ебал обоих, как и все разведки мира. Идешь? Столовую закроют.

— Меня ждет ужин дома, — ответил холодно Друганов, и без рукопожатия мы разошлись, он к выходу Клубной части на автобус, я в свою зону.

Почему так трудно с москвичами?

Или я уже разложился под тлетворными сквозняками космополитизма?

*

К очередному юбилею Победы на факультете вывесили фотостенд «Наши ветераны». Среди отвоевавших представителей профессорско-преподавательского состава поблескивало глянецом фото замдекана Хохлушина, он же научный руководитель семинара по Толстому. Бравый этот капитан, как было написано внизу, войну закончил комендантом одного из городов Германии.

— Ложь-пиздеж, — сказал партнер по играм, запрещенным в общежитии. — Войну он продолжает. На незримом фронте. — «То есть?» — «Man sagt, полковник...» — «Хохлушин? Толстовед?» — «В штатском толстовед, — сказал приятель. — Кстати, на его костюме ты обратил внимание?» — «А что?» — «Подумай. Помедитируй. Вынеси за скобки все, кроме этой якобы акциденции. Тогда тебе откроется мир нашей сучности...»

Медитировать на тему чужих прикидов я не собирался — своих забот был полон рот.

*

По пути на мою верхотуру Друганов поделился информацией. Би-би-си недавно зубоскалило: мол, этот наш Дом с его лабиринтами лучшее место в Москве, чтобы исчезнуть в случае провала.

Шпиону.

Не давали они ему покоя. Когда намного актуальней проблема стукачей. Слишком много начинаний в нашем общезжитии проваливалось из-за отсутствия конспирации — побег Михеева, к примеру.

Я запер на два оборота и оставил ключ в замке. Гость повернулся и оцепенел.

— Откуда это?

Изнутри стекло в моей двери закрывало прикнопленное «NON au totalitarisme». Над койко-местом красовалось «Vive les perversions!»

— Братской Сорбонны дары, — ответил я небрежно. — Садись, и будь, как дома...

Андрюша поставил кейс на стол. Положил пару простроченных перчаток из пупырчатой замши. Расстегнул на пальто нижнюю пуговицу и взглянул на сиденье жесткого кресла так, будто мог запачкаться. Ему явно было не по себе. Вопиющей антисанитарии у меня при этом не было, и носки, разумеется, не стояли.

Я вытащил из-под дивана чемодан, с которым три года назад приехал покорять столицу. Слой пыли был не тронут. Никто не интересовался моим багажом, хотя запора не было. Я щелкнул замками, откинул крышку и вынул из-под книг обещанную в качестве приманки статью, автор которой, давно умерший в эмиграции, все еще оставался под запретом. Под названием «О свободе творчества».

— Откуда у тебя?

— Тут много чего бродит.

— Сам перепечатал?

— За ночь.

— Что называется самиздат... — Перелистав статью, взял за уголок и покачал. — Лет ведь на пять потянет.

Почувствовав себя польщенным, я сделал безразличный вид.

— Живешь опасно... Здесь читать?

Кейс у него имел зашифрованный замок. Я разрешил домой. Чем еще развлечь мне москвича...

— Была «Рябиновая горькая», но какая-то падла выжрала. Хочешь, с полькой познакомлю?

— Андрей и полячка? Во-первых, сюжет избитый, а во-вторых, не забывай, что я женат.

— Ах, да. Пардон...

— Лучше взгляну на книги. Если можно?

— Изволь.

Нагнувшись к чемодану, он стал перебирать мои глянцевые покетбэки. Поднял глаза с упреком:

— «Доктор Живаго»? В переводе?

— По-русски не достал.

Он полистал роман, за чтение которого в дыре, откуда я сделал ноги, давали срок. — Между прочим, — сказал, — Бориса Леонидовича знал я лично.

— То есть? Он же умер, когда тебе было... сколько? Двенадцать?

— Я познакомился с ним раньше. Когда ему дали Нобеля.

— Каким же образом?

Друганов вздохнул. — Отец... Поехал к нему в Переделкино и взял меня с собой. Специально, чтобы сын увидел великого поэта.

Я проникся еще большим уважением к образу такого отца, который в хамские те времена осмелился поддержать человека, которого с трибун называли свиньей.

— Они дружили?

— Я бы не сказал, — проявил скромность Друганов. — Но отец очень уважал Бориса Леонидыча... — Он достал из моего

чемодана покет с провокативной орхидеей на обложке. — «Ада»? Отец его тоже ценит.

— Он читал Набокова?

— Статью в Литгазете помнишь?

— Еще бы! — Единственную публикацию в СССР, по форме разоблачительную, но весьма информативную, конечно же, я не забыл, хотя автора не помнил. — «Владимир Набоков, во-вторых и во-первых»?

— Я знал, что ты знаешь.

— Это он написал?

— Инспирировал.

— То есть?

— Родина должна знать своих писателей.

— Почему тогда не напечатать?

— Напечатают.

— Когда?

Он возвел глаза к потолку, вздохнул и закурил «столичную». Я выдвинул ящик стола, где было заначато полпачки «Беломора». Обстучал набитую часть папиросы, сплющил мундштук и затянулся горьким дымом. — Что значит — инспирировал?

— То и значит. Вдохновил.

— Он что, занимается историей эмиграции?

— Среди прочего... У тебя что, всё по-английски?

— Есть и по-французски.

— Станный круг чтения для человека, который хочет стать русским писателем...

— Кто сказал, что русским?

— Каким же еще?

— Просто, — ответил я, отворачиваясь к окну. — Каким получится. Но только не советским...

Мрачное небо на западе было разорвано, как рана, и не мое писательское будущее волновало меня в тот момент. Пора было лететь в эту кроваво-красную дыру за погибающей девчонкой с огромными глазами — ох, пора...

Но денег не было.

Даже на один авиабилет.

Он издал возглас, и я обернулся, чтобы увидеть, чем вызвано потрясение.

— Мне гораздо приятней смотреть на звезды, чем подписывать смертный приговор... — Книга в твердом переплете дрожала у него в руках. — Они ведь, знаешь ли, сорвали его переиздание... Нет, это просто невероятно! Тридцатый год! Антисоветчиной меня ты не удивишь, но это... Откуда у тебя?

Не знаю, почему я затемнил — мол, как-то затесался в мои раритеты будетлянин.

— Ты хоть представляешь, сколько это стоит?

— Бери за половину.

— Нет у меня таких денег, — сказал он с торжественной скорбью. — А другие тома?

— Только первый, — сказал я, глядя, как бережно снимает он защитную страничку узорчатой папиросной бумаги с портрета Велемира Хлебникова.

— *Москва, ты кто?* — стал он зачитывать. — *Чаруешь иль зачарована? Куешь свободу иль закована?..*

Особого благозвучия я в том не находил, но принял соответствующий вид.

Из вежливости.

*

Выложив поверх одеяла ногу и с головой укрывшись, она отсыпалась.

Я сидел за машинкой.

До Нового года можно было дожить. Битов ссудил сто пятьдесят. «Колибри», правда, мне пришлось в залог оставить. Взамен я получил заедающую дребедень, на которой была написана «Жизнь в ветреную погоду» и на которой в гулкой однокомнатной квартире на Плетешковском у Елоховской церкви я — любимую не разбудив — за час до семинара добил курсовую...

Читал я вслух.

Из угла внимал Друганов: непроницаемо и сумрачно. Хохлушин, предполагаемый полковник, вначале бросавший недоуменные взгляды, впал в дрему. Что вполне устраивало меня, переставшего маскировать невнятным чтением идеологически сомнительные места. Единомышленники из общаги ухмылялись там, где было надо. Заложив ногу на ногу и светя из-под мини красными трусиками, Солдатенкова смотрела в упор, непримиримо выгнув бровь в знак того, что, некогда давший из ее койки дёру, я не прощен — пусть и семи пядей во лбу.

— ...и в этом смысл слов, произнесенных Гертрудой Стайн о молодом Хемингуэе: выглядит авангардистом, но пахнет от него музеем, — дочитал я и, чувствуя глазами воспаленный жар лица, стал собирать страницы.

— Вопросы по докладу? — проснулся Хохлушин. — Андрюша, у тебя? Странно: я предполагал... — Повернувшись ко мне, он свел кустистые брови. — Стало быть, Лев Николаич, которого сбросили с парохода современности, вынырнул за океаном? Американская литература как форма выживания нашей классики? «Вопросы литературы» вряд ли приняли б к печати, но в диплом, пожалуй, можно и развить. А что? Предпосылка мне кажется здоровой. *Ex Orientis lux*: Свет, он с востока! Мол, тихой сапой, но Россия все равно берет свое... Оригинально. Компетентно. Ставлю вам отлично. Зачетка с собой?

*

Снег трещал под ногами. На пути к метро «Университет» меня догнал Андрюша. В свете фонарей дыхание вырывалось белым паром.

— Поздравляю! Но насчет ранней советской не согласен.

— Да? А крошево из старых слов? А с неба смотрела какая дрянь, значительно, как Лев Толстой?

— Видишь? Нам есть о чем поспорить. Но ты же пропал куда-то? Я заходил в общежитие. Сказали, съехал.

— Обстоятельства.

— А что случилось?

- Может быть, я тоже...
- Что?
- Женюсь?
- О? Как зовут?
- Мила.
- Кто она?
- Звезда.
- Кино?
- Пленительного счастья.
- А социально... Из каких кругов?
- Не из каких. Понятие не приложимо...
- Но прописка московская?
- Не-а.

Друганов изумился:

- Чистая любовь?

Перед тем, как мы расстались у метро, он пригласил нас с Милой к себе: «Попьем винца? Почитаем друг другу?» — «Мерси, — сказал я. — Только сначала у нас в программе, ты не поверишь... Красная площадь». — «Еще не видела?» Я отрицательно мотнул окоченевшими завязками ушанки. «Но очень хочет».

*

— Ленина видели? — спросил он, глядя, как снаружи, в коридорчике, мы стряхиваем снег друг с друга.

— В гробу, — кивнул я утвердительно, но он смотрел на Милу, которая весело ответила:

- Не достоялись! А почему у вас внизу охрана?

— В доме много состоятельных людей. — Друганов кивнул на соседнюю дверь, понизил голос: — Тут, например, живет одна из самых богатых вдов Москвы.

- Надежда Яковлевна?

Улыбка сошла с его лица. — Ты читал «Воспоминания»?

- А вышли?

- В Соединенных Штатах. Злобная старушонка...

Удивленно я глянул на него. — Так муж околел на лагерной помойке. Можно понять.

— Понимают... Потому и терпят. — Он принял плащ, в котором Мила бежала из отчего дома. — И вам не холодно?

— Кровь горячая!

От волнения по поводу выхода в столичный бомад Мила чрезмерно надушилась своими польскими «Быть может». Бедра обтягивало купленное на толкучке в Вильнюсе платье *Made in Italy*. Взглядом я призвал любимую к сдержанности, поскольку от имени новейших поколений готовился выразить солидарность соратнику Сахарова. Слева дверь из коридора была закрыта, и я уважительно понизил голос:

— Отец работает?

— Не здесь. Это мой кабинет... — Он распахнул вид на книжные полки до потолка. — Он же гостиная. А тут, — показал на вторую дверь, — мы спим с Натальей. Квартирка так себе, две комнатки...

Поскольку ребята жили не с родителями, я сделал вывод, что они снимают, как и я — который при этом столкнулся в столице с такими исчадиями ада, о существовании которых и не подозревал. — Хозяева хорошие?

— Об этом вам судить, — и Друганов уточнил, видя, что мы не понимаем: хозяева — они с женой.

Им было столько же, как нам, за душой ничего не имевших, и вообще не знал я ровесников со своей собственной жилплощадью. Мы были потрясены, и Мила этого не скрыла:

— Так это ваша квартира?

Он кивнул.

— Каким же чудом?

— Кооператив. Родители сложились...

Она оглянулась:

— Нам с тобой таких бы предков — да?

В окно кухни издали смотрела альма матер, общежитское лоно которой я покинул. Стены оживляли сувениры из разных стран соцлагеря. С мороза натошак я предпочел бы жахнуть водки, но в хрустальные бокалы уже наливался рислинг:

«От товарища Живкова... Ну, как?» Отдавало глицерином, или чем там болгары лакируют свою кислотину. «Отличное вино! — Мила закинула ногу на ногу и вынула пачку «Парламента». — Так чья это вдова, что рядом с вами? Подпольного миллионера?»

— Нет.

— А кого же?

— Был такой деятель... Берия.

Фамилия на Милу воздействия не оказала. Кто такой Брежнев не знать она, конечно, не могла, но спроси, к примеру, про Андропова — точно так же открыла бы глаза. Меня же — как вырубил коротким замыканием:

— Ты имеешь в виду...

— Вот именно. Лаврентий Палыч...

Но как же так? С одной стороны, Пастернак, с другой... Наслаждаясь моим состоянием, Друганов добавил:

— Дама вполне интеллигентная. Наталья моя с ней дружит. Это что, американские?

— Кури, — придвинула Мила. Не прикасаясь, Друганов покосился на сине-белую пачку.

— Откуда у вас американские?

— Из ГУМа.

— «Маленького»?

Мила растерянно засмеялась, взглядывая на меня в поисках поддержки, но что я мог тогда сказать... — Разве ГУМ маленький? Там потеряться можно! Нам грузчик предложил и за десятку вынес блок. Попробуй. Кайф!

— Предпочитаю наши, — отказался Друганов и тут же подвердил необъяснимую верность тошнотворным «Столичным». — Нравится вам Москва?

— Очень!

— Что, например?

— А все! Кроме мороза. Из-за него я еще мало что увидела. Хотя не замерзают только глаза.

Она засмеялась.

— Москву как раз в мороз смотреть и надо, — наставительно сказал он и зажмурился: — А в Подмоскovie как сейчас, ребята...

— Красиво?

— Сказка! Русь, ты вся поцелуй на морозе...

— Генитальный, — снизил я пафос.

Он не услышал. Или сделал вид.

— Как, кстати, вы собираетесь встречать Новый год и новое десятилетие?

Бросив на меня озорной взгляд, Мила засмеялась — не иначе как вспомнив свой любимый анекдот сомнительного вкуса: про завтрак, который разогревают для молодой жены на батарее. Что? Познакомившись в незабываемом 69-м, лыком мы шиты не были, так что Друганов смутился правильно:

— Я к тому что... Может быть, встретим вместе?

Групповщина не входила в наши планы, но как отказаться, если на тебя глядят в упор. Я посмотрел на любимую и произнес то, что прочел в ее глазах:

— Почему нет?

Мила почувствовала необходимость внести энтузиазм в согласие. — Пирог могу испечь. Это у вас рубить капусту или мясо?

Мы с Другановым одновременно оглянулись на мачете, подвешенное в виде кухонного украшения, но я его опередил:

— Тростник!

— Сахарный.

— А также мыслящий, — добавил я. Чтобы это оценить, надо было знать Паскаля, так что Мила засмеялась неведомо чему. Возможно, нашей пикировке. Друганов усмехнулся тоже, но взглянул с укором:

— От Фиделя, между прочим...

— Личный друг?

— Не мой.

— «Остров Свободы», — пояснил я Миле, которая засмеялась недоверчиво:

— А разве есть такой?

— Что же вы не пьете? — поспешил Друганов снять момент неловкости. — Может быть, есть хотите? Вообще-то мы с Натальей не готовим...

При этом здесь был огромный финский холодильник, который он открыл и удивился:

— О! Саями! Откуда бы?

— От Имре Надя, — подсказал я, чем его очень насмешил. Нарезая ломтиками, он никак не мог успокоиться, но потом, перестав смеяться, заверил, что саями все же будет посвежей:

— От Яноша...

— Тоже друг отца?

— Представь себе, что да.

— И ты у него вырос на коленях?

— Как ты угадал?

Мила смеялась, ничего не понимая. В отличие от нас была она животным отнюдь не политическим.

*

Мы начинали третью бутылку, когда в прихожей раздался приятный женский голос: «Кто это тут курит сигареты основного противника?»

Это была жена Наталья.

— Сокурсник и его невеста Мила, — представил нас Андрияша.

— Очень приятно... Папа, — перенесла внимание на мужа, — поздравляет тебя с публикацией.

В университете было много таких девушек — коренастых, крепко стоящих на ногах, уверенных в себе и мире. При этом милое лицо. Вернувшись без роскошной своей дубленки, она сказала, что от бокала не откажется, хотя уже отужинала:

— В «Берлине».

— Имеется в виду отель, — сказал я Миле. — Где зеркало на потолке...

Наталья взглянула на мужа.

— Это из «Озы», — проявил он компетентность. — Наталья, посмотри на этого человека. Представляешь? У него есть Хлебников.

— Завидовать не хорошо.

— Последнее издание. Сорокалетней давности!

— Достану я тебе...

— Где?

— Куплю на черном рынке.

Его перекосило:

— У спекулянтов?

— Ну и что?

— Ни в коем случае! Мразь эту поощрять нельзя.

Я даже протрезвел. У ровесника была не только своя жилплощадь. Принципы тоже.

— А белье?

Они устали на Милу, которая этого не убоилась. — Где же еще достать — приличное? Только у них.

Супруги молчали.

— А что? Рейтузы советские носить с начесом?

Я поднялся.

— Ребята, нам пора!

— Куда? Метро уже закрылось, — сказал Друганов. — Диван в гостиной вас устроит? Раскладной?

Жена его хлопнула в ладоши. — Как раз нам все чистое привезли! Мила, пошли устраиваться. Пусть мужики поговорят. Только смотрите у меня! Андрюша, слышишь?

*

«Люблю попить винца, — сказал он, наливая бледно-зеленую немочь... — Скажи, а что ты думаешь об Э***? Ты, кажется, с ним дружишь?

«Гений».

«Я серьезно?»

«Даже его научный руководитель написал... *С чертами гениальности*».

Он уперся, отказывая моему лучшему московскому приятелю даже в «чертах», а на исходе четвертой бутылки заявил, что вообще, в рабочем, так сказать, порядке делит людей на светлых и на темных. «Что за манихейство?» — «Манихейство или нет, а Э***, он темный». — «Ладно, — сказал я. — А Набоков кто?» — «Набоков? Светлый». — «Пастернак?» — «Еще бы!» — «Вознесенский?» — «Андрей Андреич? Светлый». — «Битов?» — «Не исключено. Ты его, я знаю, любишь, но я еще не разобрался». Я сказал: «А я кто?» — «Светлый, конечно». — «Ты уверен? Я, — сказал я, — в этом совсем не уверен». Но он отмел мои сомнения: «Иначе я с тобой бы не сидел на этой кухне. Тогда как Э***, он темный. Да. Что бы ты не говорил». — «Но не черный?» — «Этого я не утверждаю. Но знаешь? Будем посмотреть».

«А сам ты?»

«Ты как думаешь? Но только искренне?»

До отказа накачанный вином, я думал то, что чувствовал, а чувствовал я, что передо мной существо с еще более незащищенным «я», чем мое собственное. Но как сказать ему об этом, я не находил. И ответил, причем совершенно искренне, что у меня иное видение. «Мне нравятся оттенки. Серого!»

«Что ж, ты прозаик... Кстати? Когда себя дашь почитать?»

«А ты?»

«Тебе интересно? Сейчас перейдем на красное, и я читаю. Но сначала должен сделать тебе одно признание...» Он хмурится, протягивает руку. Горлышко звякает о хрусталь. Буль-буль-буль. «Если помнишь, я сказал тебе...» — «Что?» — «Что мой отец историк... Это не совсем так. Понимаешь? Но я ведь тебя тогда еще не знал...»

Блеск клеенки режет мне глаза. На руке, отчасти к ней прилипшей, вены вздулись. Пепел уничтожает сигарету с американской скоростью. Пусть он молчит. Не знаю и знать я не хочу. Отказываюсь расставаться с образом ученого, который мыслит иначе...

«Он у меня разведчик».

Я роняю сигарету, обжигаясь, ее подхватываю. Он внимательно смотрит, как я затягиваюсь в последний раз, пытаюсь погасить в керамической пепельнице, переполненной окурками с фильтрами - белыми американскими и крапчато-советскими. Дает время прикурить следующую. Я выпускаю дым сквозь ноздри.

«Ты имеешь в виду... «Мертвый сезон»?»

«Не совсем. Он не простой разведчик. Сверх...» Его ладони при этом описывают купол, но все равно я ничего не понимаю, только в виски колотит тупо: «ГБ. ГБ...» Глава жандармов Бенкендорф вылетает на орбиту мозга спутником-шпионом. Нет, самим дьяволом с узко посаженными глазами, от которых не ускользает ничего на грешной земле, включая нашу с Милой любовь на отмели среди осоки. Не демонизируй, не демонизируй, говорю я себе и вдруг вспоминаю, что статью о свободе творчества он мне вернул без комментариев, а перед этим произнес: «Потянет на пять лет». В глазах темнеет. Приступ дурноты я подавляю залпом рислинга. Он выливает мне остатки, чтобы перейти на красное. Господи, почему не на водку?

«Понимаешь? И все, с ним связанное, сверхсекретно. Даже марка этого вина, кстати, от Чаушеску...» Он ввинчивает штопор сквозь бордовый станиоль. Шпок. «Дорого бы дали они за информацию о том, что мы здесь пьем...»

«Кто?»

«Они, — кивает на окно с усмешкой. — Снующие с дипномерами. Не только ЦРУ, не только... Темные силы — точно сказано. Ибо им имя — легион. И вот представь себе положение человека, который, можно сказать, родился с пером в руке. С одной стороны, он должен держать язык за зубами. С другой — обязан самовыражаться. Не может не! Трагедия эпохи классицизма. Корнель. Расин... Когда-то, в очень ранней юности я сблизился с бунтующими поэтами, которые грозили кулаками из-под памятника Маяковскому. Би-би-си тут же заложило: среди московских «сердитых» есть дети руководящих работников Комитета. Отец вернулся с текстом пере-

хвата: «Кого я вырастил?» Скажи, ты мог бы не писать? Я тоже не могу. Но как совместить одно с другим? Этот вон строчкогон, зять во дворянстве, в погоне за миллионом рублей пытается доказать, что литература и разведка — одно и то же. Дефо там, или этот британский лёва двоежопый, как его? Приятель Филби... «Наш человек в Гаване». Но ты меня прости... Это же не литература. В нашем, русском, то есть, понимании. Основоположником ведь сказано: две вещи несовместные. И все! По-твоему, можно быть шпионом и писателем?»

Было бы странно отрицать: смотря каким. Однажды, лет в одиннадцать, я выкрал у отчима с торшерной подставки пухленький томик под названием «Охотник за шпионами». Переводные мемуары асса Интеллидженс Сервис. Читал всю ночь напролет, но в памяти осталось только, как писались тайные послания на яйце, сваренном вкрутую. Текст уходил сквозь скорлупу и покрывал белок. Снаружи ничего не видно. Проходимо через любой кордон. А получателю достаточно кокнуть скорлупу, чтобы прочесть. Конечно, не роман. Нет, «Преступление и наказание» шпиону вряд ли написать. Тем более, гэбэшнику...

Он смаковал винцо и, взглядывая, ждал ответа, а в голову мне бухало одно: «Пять лет, пять лет...»

Я думал про деда, которого они арестовали сразу как возникли — в Питере. На Гороховой 2. Про его брата из Хельсинки, об лысину которого в Большом доме на Литейном тушили папиросы. Про другого деда, исчезнувшего в силу приговора «десять лет без права переписки». Только в моей отдельно взятой генеалогии, сколько их, срубленных ими ветвей? Муж тети Мани — «Кировский поток». Отделавшаяся лесоповалом сама она и дочь ее — кока, крестная моя мать? А родная, которая в зажопье на жалкой кухне то и дело срывается на шепот, тыча, как безумная, в вентиляционную отдушину под потолком: «Тише! МГБ!..» А те ровесники, которые без отзвука исчезли с Красной площади? А провинциалки в нашем Доме студента, Средняя полоса и Черноземье, вся эта запуганная глубинная Россия, во все дырки ебомая сексотами Первого

отдела? Я, наконец, со своим Проектом и чемоданом подпадающий под какую-то их статью, о которой понятия не имею... Незнание не освобождает от ответственности — всплыла вдруг формула.

Я взял бокал, чтобы залить изжогу.

«Как ни крути, а настоящая литература — это искренность. Владимир Померанцев правильно начал разморозку статьей «Об искренности в литературе». Вот если бы я сейчас рубаху на груди. Вот, что со мною сделал этот мир. Смотрите! Мир бы сразу признал: «Писатель!» Но как им стать, когда с рождения под колпаком?»

«Разбить колпак».

«Разбить... Легко сказать. Ты знаешь, конечно, это непечатное под названием «Нобелевская премия», от которой Бориса Леонидовича заставили отказаться? Я пропал, как зверь в загоне...»

Неохотно я кивнул.

«А кто был охотник, ты догадываешься? Ну, зачем, зачем он взял меня с собой? Когда они вышли из кабинета, Борис Леонидович погладил меня по голове: «А вы кем хотите быть?» Только один вопрос. Но проросло. Может быть, это и есть возмездие?» Он выпил залпом свой бокал и стал читать: «На меня направлен сумрак ночи, тысячи биноклей на оси, если только можно, аве отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый, и играть согласен эту роль, но сейчас идет такая драма...» Осекся и взглянул в упор. «Ты что?»

Пытаясь улыбнуться, я чувствовал, что скалюсь.

«Тебе нехорошо?»

Удерживая соляную кислоту, в которую превратился этот вечер на московской кухне, я хотел было заверить, что все со мной нормально, просто не принимает организм. Но рта не смог открыть. Я сглатывал в попытке забить все внутрь. От этих усилий волосы на висках взмокли как от предсмертной истомы. Вдруг изнутри поперло с такой невероятной силой, что я вскочил. Он откачнулся, чтобы не запачкаться.

Но я донес.

Зеркало еще не отпотело после наших женщин.

Ударило фонтаном. Черным! Я разогнулся, снова подкатило. Никогда я так самозабвенно не блевал. Отплевывался и стонал, и снова меня выворачивало наизнанку. Еще, еще, еще — пока не повисла нитка желчи, которая никак не отрывалась.

Отмывши ванну, я сидел на корточках, лбом упираясь в кафель и зажимая в ладонях тихий вой. Жить дальше не хотелось. То есть, хотелось, но не здесь. Исчезнуть. Провалиться на этом самом месте и вынырнуть у антиподов, которые об этом позоре не узнают никогда.

На плиточном полу валялось мыло, другие мелочи, смытые с эмалированных отворотов. Я подобрал и разложил все по местам, избегая встречаться с собой взглядом в зеркале.

Прислонясь к дверному косяку, он ждал. «Все в порядке?»

«Пардон...» Уводя глаза, я сказал, что не привык к сухому вину, и вообще, понимаешь ли, студенческий желудок...

«Красное с белым, наверное, не стоило».

«Наверное. Пойду...»

«Жаль. Себя тебе не почитал. Может быть, кофе?»

«Нет. Спасибо...»

«В другой раз тогда? Спокойной ночи. Да... Мы завтра хотели подольше поваляться. Если утром не увидимся, будем считать, что мы договорились: Новый год встречаем вместе».

Когда мы договаривались?

И вдруг я понял. Он очень одинок, Друганов. И, несмотря ни на что, считает, что отныне мы с ним — друзья.

*

Попа любимой, пышущая жаром, не могла меня согреть. Продолжало колотить. Зуб на зуб не попадал. Я вылез из-под одеяла и, завернувшись в положенный нам сверху плед, босиком прошел ковер, паркет и сел в чужое кресло у темного стола. Шторы шевелились. Дуло. Я немного успокоился, поскольку было объективно холодно. Нашарил кнопку. Лампа осветила порядок на полированной поверхности — бумага,

стаканы с невероятными тогда фломастерами. Номер журнала «Новый мир», раскрытый на повести Трифонова «Предварительные итоги». Вещь эту читала вся Москва, ее праздновали в Центральном Доме литераторов. Даже приведшей меня туда Росляков (который прокламировал возврат к сталинизму и даже сочинил по-своему трогательное послание единомышленникам: *«Где ты, Вася Кулемин? Где ты, милый Семен? Не роняйте знамена. Не хватит знамен!»*) с нетрезвым восторгом говорил мне, подающему надежды: «Там — все мы! Всё наше больное общество!»

Чтобы отвлечься, я начал читать и не бросил до конца. С этими предварительными итогами истории СССР все было ясно, кроме одного: как просочилось? Может быть, я переоцениваю несокрушимость стены? Как там, согласно мифу, ответил бунтующий Ульянов приставу: «Стена, да гнилая, ткни и рухнет». Может быть, и ленинская стена уже вся в трещинах? Что же по этому поводу должен испытывать он, человек умный, сидя в своем уютном кресле?

Озноб не проходил. Я встал, раздвинул шторы. На горизонте светились красные сигнальные огни высотки, где за мной сохранялось койко-место, а хлеб в студенческой столовой был бесплатный. Чего мне не жилось там, под плакатом из Сорбонны? Почему не мог, как все? Кончив на сон грядущий в раковину, спал бы сейчас мирно, как все, сдавал бы зачеты в срок, получал бы свою стипендию и никогда не попал бы в этот переплет...

Я приблизился к стеллажам, сквозь смутное свое отражение стал изучать корешки. Отодвинул стекло, вынул одну. С почтительным автографом. Отцу. Вынул другую. Тоже. Хоть и либералы... Слывший бунтарем поэт — и тот подписал. Но, может быть, только лишь советские? Нашел и вынул знаменитого соцреалиста с Запада, возвышавшего голос против отдельных наших зверств... Тоже подписана — хотя и не порусски. Что, все одним миром мазаны? Я ничего не понимал. Чувство возникло — что заглядываю за кулисы. Что вот-вот откроется мне нечто, после чего все станет необратимым.

Удерживая свой образ мира, пусть иллюзорный, всем существом рванулся я назад — к незнанию. Перед тем, как всунуть книгу обратно, краем пледа затер отпечатки пальцев. Задвинул стекло. Оголившись, стал тереть его тоже, одновременно придерживая сквозь плед. Я вздрогнул от голоса спросонок:

— Что ты там делаешь?

Она отдернула руку, когда я опустился рядом: «Ледышка! Почему не спишь?» — «Ст-т-трашно», — сотрясался я. — «Приснилось что-нибудь?» — «Кошмар!» — «Про что?» — «Дома расскажу. Поехали». — «А который час?» — «Счастливые часов не наблюдают», — машинально ответил я, вручая Миле пояс с пристегнутыми чулками.

Мы сложили простыни, диван.

Прокрались за дверь.

В тишине заработал мотор лифта.

Стены кабины привлекли ее внимание: «Дом высокой культуры быта! Ни слова на три буквы». Ни о чем не подозревая, она имела в виду совсем другие буквы. «Исправить?» Я сунул руку за пазуху, где вертикально стояло стило...

— С ума сошел?

На проспекте было, как во поле. Этот простор меня успокоил и согрел. Никогда еще мне не было так хорошо снаружи, как в эту ночь, которую, в конце концов, прорезал зеленый огонек.

*

Из постели мы не вылезали, наверное, неделю. Сбросив одеяло, я голым задом чувствовал, как дует от окна. Пар валил с меня. Косо упавшая прядь намокла. Глаза ее открылись: «Мне надо в туалет». — «Сейчас...» Я надеялся догнать, но с голодухи ускользало. В глазах сверкнул гнев. «Но я описуюсь!» — «Можешь на меня», — сказал я, продолжая наяривать. Как вдруг обдало кипятком. Я отпрянул, струя догнала. «Ты что? — соскочил я на пол. — С ума сошла?» — «Но ты же сказал...» — «Что я сказал? Смотри, что ты наделала!»

Она зарыдала, бросилась из комнаты.

Выйдя после нее из ванны, я заглянул на кухню. Она курила с надменным видом. Я оделся, снова заглянул.

«Кто кого обоссал? Может быть, я тебя?»

Ноль реакции.

Тогда уехал в общежитие, где в Северной башне приоткрыли на условный стук. Покер здесь, в дыму, не прекращался. С первого прикупа пришел мне фул.

Наутро я подбил бабки, откинулся на стуле и взглянул в упор на аспиранта кафедры совлитературы. Глядя на цифру, тот почесал в затылке. «Хлебниковым возьмешь?» — «Играли на наличность». — «Первый том есть, а будет все собрание в пяти». — «Я не библиофил». — «Загонишь, до весны питаться будешь исключительно в профессорской». — «Кому я загоню?» — «А чернокнижникам. У Первопечатника толкутся. Могу в придачу футуристов?» — «Да на хера мне, — начал я, но передумал... — Ладно! Давай!»

Дома возвестил, что можно жить спокойно до весны.

*

Тридцать первого она сидела в собственноручно сшитом платье, заметывая на себе подол. На голом столе сверкали две бутылки «Советского Шампанского». После этого не осталось даже на такси, а предстояло пережить все праздники, так что я поглядывал на стопку выигранных книг, прикидывая, сколько можно запросить, чтобы не показаться спекулянтom, но и не продешевить. Взял том, открыл наугад: *Я вышел юношей один в глухую ночь...* Отворил другой, ткнул пальцем: *Здравствуй же, старый приятель по зеркалу... Но тень отдернула руку и сказала: «Не я твое отражение, а ты мое».*

Про ночь мне понравилось, но в зеркалах я потерялся. С третьего раза палец попал на цифру, о которой не мечталось, даже если округлить: 317.

Она вставила ноги в туфли и поднялась. «Как я выгляжу?» Платье было до пола. «Статуарно», — ответил я. «Как статуя, что ли?» Она отражалась в стеклах под голой стоваттной лампочкой — возбужденная своей обнаженной спиной, плечами и

руками. «Трусы не проступают?» — «Нет». — «А когда будут надеты?» Поймав меня, она засмеялась, стала кружиться, глядя на себя в окно. «Я тебе нравлюсь?» Я остановил ее в движении, мы зашаркали в танце без музыки. Серебристый материал скользил по гладкой ее коже. Она ко мне прижалась всей своей мшистостью под впалым животом. На фоне заснеженного дерева, которое почти прикасалось к окну, что будет здорово весной, я видел, как, сминаясь, платье оголило подколени. Она отпала поперек разложенного дивана, зрачки расширились:

«А мы не опоздаем?»

Она была права. Куда спешить? Целая жизнь впереди. Я поднялся, протянул любимой руку.

*

На другом краю Москвы мы вышли из метро. Был уже одиннадцатый час. Шпиль университета торчал, как на ярко освещенной елке. По лицу хлестнуло снегом. Она подняла воротник. Пригнула голову, притиснулась. Втягивая руку в рукав, я пер сумку с туфлями, шампанским и футуристами, должно быть, только по причине меховых своих шуб и сытости находившими во всем этом очарование: поцелуй на морозе... Ха!

За углом открылся белый ужас Ленинского проспекта. Мы шли в метели, как слепые. Когда наконец проступили эти башни, я ничего уже не ощущал.

В подъезде пахло свежесрубленной елью. Дежурный был при галстукке.

— К кому, молодые люди?

— К Другановым.

— Их нет, — и сел обратно. Шея распирала воротник его белой рубашки. На полированном столике чисто вымытая стеклянная пепельница, никелированная газовая зажигалка и пачка западногерманских «Ernte 23». Не проявляя лицевых реакций, он смотрел, как негнушными руками я выкладываю на стол ему раритеты.

— Пожалуйста, — сказал я. — Передайте. На Новое десятилетие...

Охранник уточнил:

— Андрею Фомичу?

За дверью я чмокнул мраморную щеку, и Мила ожила. — Где же мы будем встречать десятилетие?

— На Красной площади.

— Успеем?

*

Сейчас мне трудно ответить себе на вопрос о природе того движения — внешне вполне спонтанного. Нет, но почему? Деньги отдали бы развязку нашей любви — свяжись я с чернокнижниками. Чего, конечно, не хотелось. Как и таскаться с мертвым грузом по метельной столице в ночь на Семидесятые. На тебе, Боже, что мне не гоже? А может, все же — страх и трепет? И бессознательный расчет задобрить дьявола?

Так или иначе, раритеты даром не пропали. На Западе, куда я свалил при первой же оказии и где к тому моменту загнивал уже давно, в газете, которую называли «советским Гайд-парком», попало набранное мелким шрифтом сообщение о том, что Андрюша выступал с докладом о русских футуристах в одной «финляндизированной» стране.

Из других источников узнал и про отца.

И отдал должное сокурснику: ведь стоило ему насторожить папашу, я оказался б не в Европе, и даже не в мордовских лагерях. Крестиком стал бы — на фоне колючей проволоки. Сбитым из посылочной фанеры крестиком ниже колена и с лагерным номером вместо имени — такого, как, скажем, Юрий Галансков, который, кстати, начал свой путь из-под памятника Маяковскому.

Этого поэта в публичном отчете о своих деяниях заслуженный чекист не вспоминает. Как и тех мальчиков и девочек, которые вышли тогда на Красную площадь.

Впрочем, и о сыне он молчит.

Потом явился Горби.

С Андрюшей мы встретились в Париже. А именно в 16-ом арондисмане, где здание бель эпок под номером 61 оказалось отгороженным от рю Буассьер высокой железной решеткой. С площадки второго этажа французские товарищи, за ускорением не поспевавшие, еще не убрали скульптуру, от колен до горла закутанную в нечто среднее между саваном и рогожей и устремленное в лицо вам намеками на женственные формы. На пьедестале зеркально сияла табличка с гравировкой порусски: «Ассоциации Франция - СССР от Л.И. Брежнева, 21 июня 1977 года».

Друганов руководил группой советских писателей среднего возраста. «Замороженное поколение», — твердил я в микрофон «Свободы». И вот их вывезли на Запад. Впервые. Для пропаганды, как тогда шутили, «ГПУ» (Гласность, Перестройка, Ускорение). Чем это все кончится, никто не знал. И несмотря на общий дух надежды, подлее не было времен — на субъективном уровне. Даже в Париже писатели не размораживались. Осторожничали. Кроме национал-большевиков, которые рвали рубаху на груди. Поэт Чуев, более всего известный книгой «Беседы с Молотовым», под занавес этой двухдневной встречи миров, имевшей место ранней весной 1986 года, ошарашил французов панегириком Сталину и заград-батальонам, которые, дескать, и выиграла войну («*Mais quel salaud!*») — шепнула мне подруга из газеты «Монд»).

Руководитель группы, которого на исходе первого дня увезла посольская машина с бодигардами, тоже чувствовал себя непринужденно, только вполне по-светски. Он совсем не изменился, хотя теперь и сам был шишкой. Не просто поэт — лауреат премии Ленинского комсомола. Секретарь Союза писателей. Но признаков разврата никаких. Меня называл по имени. Вполне был дружелюбен, несмотря на войну миров, которая продолжалась; несмотря на то, что знал, что я, конечно, знаю все, включая и то, что он тоже знает обо мне; несмотря на то, что кругом — на деликатном удалении — стояли сотрудники, которые выедали меня глазами, а за ними — застывшие писатели, которые ничего не могли понять в беспре-

цедентном факте общения между своим руководителем и мной (постфактум заклеянным «патентованным антисоветчиком» в «ЛГ», которая от себя приписала мне «коварную улыбку»).

«По-твоему, — спросил я тогда, — у перестройки будущее есть?»

Андрюша засмеялся, стал озираться в поисках дерева, костяшкой пальца постучал по лакированному ясеню перил, укрепляя меня в рабочей гипотезе, что все происходящее — дело их рук.

Что оказалось неверно — в его случае. Перед тем, как он сошел с подмостков, опять же из газет, уже не советских, а российских, стало известно, что в дни ГКЧП — попытки вернуть обратно колесо истории — бывший мой сокурсник пытался заставить писателей поддержать заговорщиков, которые так позорно выглядели по телевизору на своей пресс-конференции: все серые и в сером, а главарем банкротов бывший комсомольский цезарь — опухший и с дрожащими руками.

*

Из тоннеля задуло.

Стали раскачиваться, и все чаще, матово-белые шары, а кругом был на века подогнанный мемориальный мрамор с золотом — да, именно тогда, на станции «Библиотека имени Ленина», я помню, накатило и ударило: Москва!

Что мог я знать тогда?

Мне было девятнадцать. Трех месяцев не прожил я в столице коммунизма, когда взбрело писать о ней роман.

*(Из диалоги об отрочестве-юности-молодости
«Союз сердец. Разбитый наш роман»).*

ПОСЛЕСЛОВИЯ

Михаил ЭПШТЕЙН

ЖИЗНЬ КАК НАРРАТИВ И ТЕЗАУРУС

«Жизнь — это история, рассказанная идиотом, наполненная шумом и яростью...» В этой знаменитой шекспировской дефиниции жизни (из «Макбета») нас так поражает ее «идиотизм», что мы не замечаем другого, более глубокого парадокса: жизнь — это история, рассказ, способ повествования.

Как однажды выразился Генри Джеймс, истории случаются с теми, кто знает, как их рассказывать. Если нет рассказа, то нет и самой истории. Есть люди, у которых самые ничтожные случаи перерастают в долгие захватывающие истории, и есть люди, которые испытали множество волнующих событий, были причастны к Истории с большой буквы, но весь их рассказ сводится к одной-двум сухим протокольным фразам. Значит ли это, что они прожили менее богатую жизнь, если они не умеют о ней рассказать? Или, быть может, им требуется другой способ жизнеописания, которому ни сами они, ни их собеседники не научены?

В нашем мире дискурсивно преобладают рассказчики историй, а составителям словарей и энциклопедий остается пассивная роль обобщения этих историй, суммирования всех слов и значений, в них промелькнувших. Но может быть, некоторые люди мыслят и чувствуют не событийно, а словарно, суммарно, глубоко вчувствуются и вдумываются в сущность войны, в смысл любовных переживаний? Может быть, нужно задавать иные вопросы? Не «что было с тобой на войне?», а «чем была для тебя война?» И пусть не будет никакого рассказа, никаких боевых историй, но будет видение и понимание

войны. И тогда жизненная сумма таких людей будет состоять не из историй «как это было», а из пониманий того, *как это бывает*, из таких *биограмм* — жизнеописательных и жизнемыслительных единиц, как «война и холод», «война и огонь», «война и стыд», «первый бой», «второй бой», «последний бой»... Опыт и сознание выстраивают картину жизни из таких надвременных, надсобытийных категорий — образов, понятий — которые уподобляют ее не повествованию, а энциклопедии. И тогда становится выразимо то, что невыразимо в жанре историй.

В последние десятилетия в психологии получил развитие нарративный подход. Еще в середине 1980-х гг. Джером Брунер, один из основателей когнитивной психологии в 1970-е гг., выступил инициатором нового сдвига в психологии и социальных науках — «нарративного подхода», который иногда называют «второй когнитивной революцией». Задача нарративной психологии и терапии (практики) — создать условия для того, чтобы каждый из партнеров смог услышать историю другого и по-новому ее воспринять. Нарративный терапевт сотрудничает с «пациентами» в развитии их историй о себе и мире. Сначала свою историю рассказывает один партнер, другой его выслушивает и делится своим восприятием услышанного. После этого роли меняются, слушатель становится рассказчиком.

Основной тезис нарративной психологии так выражен Брунером в статье «Жизнь как нарратив» (1987): «...У нас, по видимому, нет иного способа описания прожитого (и проживаемого) времени, кроме как в формах нарратива. /.../ По сути, один из наиболее важных способов охарактеризовать культуру — выявить предлагаемые ей нарративные модели описания хода жизни». /.../ С психологической точки зрения такой вещи, как «жизнь сама по себе», не существует. ...Жизнь есть рассказ, нарратив, сколь бы несвязным он ни был». [1]

Но действительно ли жизнь есть нарратив, т.е. способ рассказывания о ней во временной последовательности? Прежде

всего, сама интенция «рассказывания о жизни» предполагает не просто наличие конкретного случая (события, эпизода), но осознание любого случая как составляющей частицы жизненного целого. Такое осознание может строиться нарративно, в виде цепочки событий и объясняющих переходов между ними (характеристика обстоятельств, причин, участников действия). Но сознание не сводится к воспоминанию о событиях. Сознание — это более или менее связная система моих знаний и представлений о себе и о мире, о том, чем была и что есть моя жизнь. Сознание имеет свой словарь, свой тезаурус, который охватывает все содержание жизни не во временной последовательности, а как предстоящее мне здесь и сейчас, в своем объеме памятного мне бытия. Этот тезаурус включает имена и образы людей, с которыми я был знаком, — соучастников моей жизни; названия вещей, составлявших мое материальное окружение; те страны и города, где я бывал; тех писателей, которых я читал; те эмоциональные состояния, которые мне доводилось переживать; те понятия и идеи, которым я придавал ценность и воплощению которых отдавал свою жизнь или с которыми, наоборот, враждовал... Эта совокупность имен и названий, образов и переживаний, понятий и идей и образуют тезаурусное наполнение жизни. Если нарратив — это временной срез жизни в последовательности ее событий, то тезаурус — это континуум событий, одновременно предстоящих сознанию, где содержание жизни развернуто в виде всеобъемлющего «каталога» людей, мест, книг, чувств и мыслей...

Термин «тезаурус», как и «нарратив», приходит из лингвистики, и между ними то общее, что они предполагают жизнь как лингво-культурную конструкцию, как способ нашего описания жизни в рамках определенного языка. Такой психологический подход лингвоцентричен. Но если нарратив описывает *историю* жизни, то тезаурус — ее *картину*. В лингвистике «тезаурус» — это идеографический словарь, где представлены смысловые отношения между всеми лексическими единицами

данного языка. В тезаурусе, в отличие от обычного толкового или энциклопедического словаря, слова расположены не по алфавиту, не в формальном порядке, а в порядке их смысловой близости, ассоциативной и концептуальной связи, относимости к одному семантическому гнезду. Например, общий блок образуют все слова, обозначающие пространство, а внутри него — слова, описывающие линии, вогнутые и выпуклые формы, расстояния, объемы и т.п.

Тезаурус — это срез нашего сознания и видения жизни как целого, куда включаются такие лексические единицы:

личные имена: Петя (друг детства), Таня (подруга юности), Николай Сергеевич (начальник); Пушкин, Толстой;

географические имена: Москва, где я живу; Черное море, где я отдыхал;

термины родства: мама, папа, сестра, жена;

понятия: молодость, старость, честь, смелость, деньги;

социальные и профессиональные институции: школа, университет, государство, литература, физика.

календарные и исторические события: Великая Отечественная война, перестройка, и т.д.

Тезаурус включает, конечно, и разнообразные идиосинкразии, например, любимые и нелюбимые цвета, запахи, блюда, буквы, цифры, фигуры. Все, что в этом мире имеет название и значимо для данной жизни, составляет ее тезаурус. Единицу тезауруса мы назовем биограммой, «начертанием, письменным знаком жизни». [2] Биограмма — структурная единица жизненного целого, которое может включать, например, такие биограммы, как «дружба», «одинокчество», «встреча», «разлука», «учеба», «болезнь», «замужество», «роды» и т.д. Если нарратив — это биограммы во временном порядке, как последовательно рассказанная биография, то тезаурус — это совокупность биограмм, организованных системно как описание целостной картины жизни и жизневоззрения.

Даже на уровне повседневного разговора мы порой общаемся тезаурусно, не столько рассказывая о чем-то, сколько

перечисляя и сопоставляя элементы опыта, набрасывая сетку различительных категорий на пространство своей и чужой жизни. «Я болею за такую-то команду. А ты?» «У тебя в школе какой любимый предмет? А у меня...» При всей своей обычной такой разговор есть, в сущности, диалог тезаурусов, как и детское (Сергей Михалков): «А у меня в кармане гвоздь. А у вас?» В основе — желание сопоставлять картины мира, причем выделяются общие рубрики, биограммы, по которым проводится сравнение. «У меня... а у вас...?» Это поиск «языка жизни», который значим для нас обоих. У каждого в жизни есть свой «гвоздь».

Сама человеческая память, особенно долгосрочная, как показали исследования И. Тулвинга и других психологов, имеет две основные разновидности. *Эпизодическая* память хранит информацию о событиях, развернутых во времени («пришел, увидел, победил»; «позавтракал, поработал, поплавал»). *Семантическая* память хранит обобщенное знание человека о себе и мире, о всех символах и концептах, их взаимоотношениях и правилах их использования («что я ем на завтрак», «какое питание мне полезно», «какой стиль плавания я предпочитаю» и т.д.). [3] Соответственно и жизненное целое выстраивается памятью в двух конфигурациях, как серия эпизодов и как система биограмм.

Нарратив и тезаурус образуют две оси языкового представления жизни, и они постоянно пересекаются в каждой ее точке. На основе нарратива данной жизни можно составить ее частичный тезаурус путем выявления самых значимых, часто упоминаемых слов и соединения их в лексико-концептуальные гнезда, причем толкование каждой единице такого производного тезауруса дается примерами ее употребления в нарративе (например, «мама» — и случаи употребления этого слова в рассказе). С другой стороны, и тезаурус жизни включает в свои словарные статьи какие-то нарративные элементы, истории, которые иллюстрируют значение данной биограммы. Например, статья «мать» в тезаурусе Н.

может включать не только характеристику отношения Н. к матери, не только описание ее внешности, душевного склада, привычек, происхождения, но и ряд историй, которые наиболее выпукло ее характеризуют. Иными словами, внутри нарратива складывается своя тезаурусная картина мира, а внутри тезауруса есть место для жизненных историй.

И тем не менее нарративный и тезаурусный подходы, будучи дополнительными (условно говоря, как «частица» и «волна» в квантовой физике), сильно различаются, и нельзя свести этот дуализм к монизму. Одна и та же жизнь может быть представлена нарративно и тезаурусно, но это два разных способа представления, которые нельзя объединить или без остатка свести один к другому. В нарративе всегда будет утеряна полнота тезауруса, а в тезаурусе — динамика нарратива. Например, повествуя о своей жизни, нельзя представить каждое лицо, место, предмет, явление в системной картине мира, — иначе рассыплется сюжет. И точно так же нельзя в тезаурусе представить все события данной жизни в их последовательности — тогда рассыплется словарная картина жизни, перейдя в цепочку ее сменяющихся эпизодов.

Вероятно, есть жизни, более располагающие к одному из этих двух подходов. Есть жизни более действенные, событийные, полные приключений, динамично развернутые во времени. И есть жизни более созерцательные, вбирающие разные стороны бытия не столько в последовательности событий, сколько в совокупности переживаний, размышлений, значимых отношений и воззрений. Есть жизни — романы и жизни — панорамы. Точно так же есть и личности нарративного и тезаурусного склада. Вот общее застолье. Одни люди сыплют бесконечными историями — о себе, о своих знакомых; рассказывают анекдоты, случаи из жизни. Другие пытаются обсуждать идеи, выражают свое к ним отношение и выясняют отношение к ним собеседника, делятся взглядами, переживаниями и т.д. Как правило, нарративные личности легче привлекают к себе всеобщее внимание, становятся душой общества; те-

заурусная личность склоняется скорее к персональному или профессиональному разговору, предмет которого — не частные случаи, а картина мира. Очевидно и то, что нарратив резко преобладает в литературных жизнеописаниях. Люди предпочитают читать биографические романы и лишь в редких случаях прибегают к биографическим энциклопедиям (как правило, если речь идет о действительно любимых и почитаемых личностях, о которых хочется знать «все-все»). Тезаурус — это во многом «рецессивный» ген нашей жизнеописательной культуры, тогда как нарратив — ген «доминантный».

Но тем более важным представляется и для психологии как науки, и для терапевтической практики обратиться к этому малоисследованному, однако равноценному способу представления жизненного мира. Есть множество людей, не умеющих рассказывать истории и тем не менее расположенных к саморефлексии и глубокому мирозерцательному разговору. (Есть даже такое эмпирическое определение интеллектуального развития человека по тому, какой тип беседы для него наиболее органичен: низшая ступень — разговор о вещах; средняя — разговор о случаях; высшая — разговор о понятиях). Возможно, это те самые люди, которые предпочли бы описать свою жизнь в форме тезауруса. А поскольку жизнь, согласно современной лингвоцентрической психологии, и есть способ ее описания, то сама жизнь этих людей, способ их существования, их ценностные ориентиры и цели располагаются в пространстве тезауруса, а не во времени нарратива. Для них жизнь есть постепенно растущая сумма «биограмм» — ключевых слов, понятий, образов прошедшего, но также и настоящего, и будущего, поскольку с каждым поворотом меняется вся перспектива дороги. Жизнь — это не моя история, но совокупность того, что я помню и знаю: о людях, которых я встречал, о вещах, которые меня окружали...

Для тезаурусной личности нет особо существенной разницы в порядке событий: любое из них воспринимается как приобретение или углубление еще одной грани опыта, как расши-

рение тезауруса, прибавление к нему новой биограммы, которая позволяет пережить категориальность, а значит, и судьбоносность, жизнецельную значимость каждого события. Тезаурусная личность проживает свою жизнь с конца в начало едва ли не больше, чем с начала в конец; она воспринимает все последующие события как прояснение смысла, придание формы, концептуальное обобщение предыдущих событий. Здесь больше действует судьба, а не жизнь, т.е. обратный распорядок смыслов, когда каждое событие находит себе место в целостной, надвременной системе личного мира.

Среди великих литературных образцов тезаурусного самопознания — «Опыты» М. Монтеня. Обычно обращают внимание на жанровое своеобразие «опытов» — но не на то целое, которое они образуют, а именно, монтеневский автотезаурус, своего рода лирическую энциклопедию. «О скорби», «О стойкости», «О дружбе», «О воспитании детей», «О запахах», «О возрасте», «О книгах» — это построенный Монтенем многогранник своей собственной жизни, отраженной в зеркалах общих понятий. Это способ рассказывать о себе не в хронологическом, а в тематическом, идеографическом порядке. «...Содержание моей книги — я сам...» — предупреждает Монтень с самого начала в обращении к читателю (1, 7). [4]. И в заключительном опыте «Об опыте» повторяет: «Тот предмет, который я изучаю больше всякого иного, — это я сам» (3, 474). Казалось бы, если хочешь говорить о себе, почему бы не прибегнуть к последовательному повествованию? Монтень так отвечает на это: «Я не могу вести летопись своей жизни, опираясь на свершенные мною дела: судьба назначила мне деятельность слишком ничтожную; я занимаюсь ею, опираясь на вымыслы моего воображения» («О суетности», 3, 264).

Другой знаменитый образец автотезауруса — «Ессе Номо» Ф. Ницше (1888), работа, которой завершился его творческий путь и которая подводит итог его жизни в форме маленькой энциклопедии основных идей, книг и самодефиниций. «Почему я так мудр», «Почему я так умен», «Рождение трагедии»,

«Веселая наука», «Почему являюсь я роком» — таковы некоторые разделы этой «автоциклопедии», цель которой в предисловии определяется так: «...Я считаю необходимым сказать, *кто я*». «Итак, я рассказываю себе свою жизнь». [5] Но то, что следует дальше, есть отнюдь не рассказ, а попытка охватить тезаурусно свою жизнь и мысль, ее основные темы и произведения.

Еще один пример книги, представляющей жизненный опыт в форме тезауруса, — «Фрагменты речи влюбленного» Ролана Барта. Для всякого, кто читал эту книгу, очевидно, что она глубоко автобиографична, причем в ней раскрыт самый интимный пласт жизненного опыта. Но именно поэтому его нельзя пересказать в виде историй — только в виде статей словаря, раскрывающих разные грани этого опыта: ожидание, удивление, скитание, аскеза, катастрофа, нежность, безответность.... За каждой из этих статей стоит неизвестное нам множество событий или лиц, но оно суммируется в биограмме, фигуре действия или переживания, как концептуальной единице тезауруса. Это редчайший пример не автобиографии, а автотезауруса, который перерастает в тезаурус любовного опыта всей европейской цивилизации, поскольку Барт конструирует тот язык, на котором можно одновременно описывать и страдания юного Вертера, и страдания искушенного Ролана. Распадись этот суммарный опыт на истории — исчезла бы его семантическая плотность, культурная насыщенность каждой фигуры, которая вбирает в себя множество микроисторий, как из жизни самого Барта, так и из сюжетов мировой литературы.

Различие нарратива и тезауруса проявляется в дискурсивной организации целых профессиональных полей. Например, художественная словесность (*fiction*) в целом тяготеет к нарративу, тогда как философия мыслит тезаурусно. Но при этом одни национальные литературные традиции могут вбирать в себя тезаурусные элементы больше, чем другие. Например, немецкоязычные писатели: Т. Манн, Гессе, Музиль — гораздо тезауруснее, чем их английские или русские современники.

Ранняя японская проза (Сэй-Сенагон, Кэнко-хоси), да и поэзия (хокку, танка) в значительной степени неповествовательна, «инвентарна». Но если говорить не о профессиональной деятельности (литература, философия), а о жизненном опыте большинства людей, то, конечно, нарратив пока еще преобладает как способ его описания. Грубо говоря, большинство людей — писатели, а не мыслители, рассказчики, а не обобщатели, и это причина (или следствие?) того, что они предпочитают читать Дюма, а не Гегеля.

И все-таки представляется, что тезаурусность — это не удел меньшинства, а тот слой личного самосознания, который пока еще меньше выговорен, культурно проработан и поддержан. По мере рефлексивного роста человечества он начинает выходить на первый план. Нон-фикшн начинает вытеснять фикшн из круга повседневного чтения, хотя и в нон-фикшн преобладают пока еще нарративы (биографии, истории войн и других исторических эпизодов). Но заметим, что в исторической науке тезаурусный подход уже составил сильную конкуренцию нарративному благодаря французской школе «Анналов» (с 1926 г.), которая оказала широчайшее воздействие на историков во всем мире. В центре исследований оказываются не событийная канва истории и не биографии великих людей, а языковая картина мира, привычки, традиции, мифологемы, социальные, возрастные, гендерные ментальности и структуры жизненного опыта. [6] Не только профессиональное, но и общественное сознание постепенно сдвигается от синтагматики к парадигматике языка культуры, о чем свидетельствует массовый читательский успех словарей и энциклопедий. Тезаурусность начинает обретать общественный престиж, чему в огромной степени способствует интернет со своими поисковыми системами, каталогами и гипертекстами.

Можно предполагать, что этот сдвиг исторического самосознания человечества в сторону тезауруса будет дополнен и сдвигом личностного самосознания, новой дискурсивной ориентацией психо-биографического дискурса. То, что лингвоцен-

трическая психология пока находится на стадии открытия нарративов, вполне понятно и закономерно, но пора переходить к следующей фазе. Огромная часть человеческого опыта, как личного, так и социального, остается нам неизвестной из-за преобладания нарративных приемов и неразработанности тезаурусных полей. Как выглядел бы микромир, если бы мы исследовали его только корпускулярно и не выработали корпускулярно-волнового дуализма его описания? Точно так же односторонне выглядит человеческая жизнь, сведенная к нарративной цепочке событий. Разработка иных, дополнительных методов ее описания могла бы наполнить смыслом и словом жизнь миллионов людей, нарративно немых, обладающих другим, тезаурусным опытом ее постижения.

Один из важнейших вопросов: насколько тезаурусный подход может быть терапевтически продуктивным, в частности, в семейных консультациях, где составление тезауруса собственной жизни и его сопоставление с тезаурусом партнера может значительно углубить их взаимопонимание? Достоинства тезаурусного подхода здесь особенно очевидны. Ведь у каждого человека — своя история жизни, тогда как тезаурусные поля, смысловые классы событий и переживаний пересекаются у множества лиц, что облегчает их сопоставление. Можно предположить (хотя это и требует экспериментальной проверки), что тезаурусам разных людей, именно вследствие их «категориальной» общности, легче вступить в диалог друг с другом, чем нарративам, которые заранее не эксплицируют своей концептуальной модели и столь же прихотливо — индивидуальны по языку, как и описанные в них цепочки событий. Если жизненный нарратив — это просто — речь, язык которой еще только подлежит реконструкции со стороны исследователя, то тезаурус — это речь, демонстрирующая свой собственный язык, ту концептуальную модель, которая кладется автором в основу его мировоззрения и самоописания. Тезаурусная личность выступает не только как автор речи, но и как автор (или, по крайней мере, компилятор, «лексико-

граф») того языка, на котором производится эта речь, т.е. самописание здесь восходит на более высокий рефлексивный уровень. Тезаурусная личность берет на себя часть тех функций языкового самоописания, которую в отношении нарративной личности присваивает терапевт или исследователь. Это, конечно, не мешает последнему выстраивать новые уровни метаязыковых описаний той картины мира, которая предстает в тезаурусе, но первым и главным теоретиком себя, а значит, в какой-то степени и терапевтом себя, выступает сам автор тезаурусного текста, что придает последнему еще большую личностную напряженность и знаковую многослойность.

Что же это такое — жизнь в тезаурусе? Как собирать и обобщать эмпирический материал — не-нарративные жизнеописания, автобиографии, написанные в жанре тезауруса? Какие типы концептуальных единиц — биограмм — можно выделить в такой системе жизнеописания, как они группируются, в какие роды и виды складываются? Как развивать в людях тезаурусное сознание, как открыть им те грани опыта, которые не могут быть выражены в нарративе? Какие методологические и педагогические процедуры могут вести к росту тезаурусного сознания не только в отдельных личностях, но и в целом обществе, чтобы мог быть артикулирован глубочайший его исторический опыт, несводимый к «историям»?

Все это вопросы, которые современной психологии еще только предстоит поставить, прежде чем она сможет искать на них ответы.

Примечания

1. Журнал «Постнеклассическая психология», номер 1 (2), 2005, С.11, 13,28.

2. Греч. *gramma* — «письменный знак, черта, линия», от *grapho*, «пишу». Слова «биография» и «биограмма» произведены от одних и тех же греческих корней.

3. Впервые эта концепция изложена в статье: Tulving, E. *Episodic and semantic memory*. In E. Tulving & W. Donaldson (Eds.), *Organization of Memory*, New York: Academic Press, 1972, pp. 381-403. Разработаны разные модели семантической памяти: модель «цепной активации» (*spreading activation model*, Collins and Loftus), где содержание памяти представлено как карта взаимосвязанных концептов; признаково-сравнительная модель (*feature-comparison model*, Smith, Shoben, and Rips), где характерные признаки концептов даются в виде сравнительных перечней.

4. М. Монтень. *Опыты*, в 3 кн. М.: Наука, 1979. Номер тома и страницы указывается в тексте.

5. Ф. Ницше. *Соч.* в 2 тт. М.: Мысль, 1990, т. 2, С. 694, 697.

6. См., например: М. Блок. *Апология истории*; Ф. Бродель. *Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV - XVIII вв.* (том 1. *Структуры повседневности: возможное и невозможное*); А. Я. Гуревич. *Категории средневековой культуры*.

Михаил ЭПШТЕЙН

К ФИЛОСОФИИ ВОЗРАСТА.

Фрактальность жизни и периодическая таблица возрастов

У старости тоже есть детство...
У старости есть зрелость. И у старости есть старость.

*Андрей Битов,
в разговоре с автором, 10 июля 2004*

1.

Фрактальность — сравнительно новое понятие, пришедшее в науку в середине 1970-х годов и быстро распространившееся на самые разные области знания, от математики и физики до экономики, биологии и океанографии. В музыке, архитектуре, изобразительном искусстве также найдено множество проявлений фрактальности; более того, возникают особые жанры и приемы творчества, основанные на сознательном использовании этого «магического» и вместе с тем вполне математического свойства. Фрактал (от латинского «frangere», ломать, разбивать на части) — это неправильная, изломанная геометрическая форма, которая состоит из подобных же форм меньшего размера, которые в свою очередь состоят из своих уменьшенных подобиий. Основоположник фрактальной теории американский математик польско-еврейского происхождения Бенуа Б. Мандельброт (род. 1924) исследовал береговую линию Англии, пытаясь определить ее точную длину, и пришел к выводу, что ее длина неопределима, потому что бесконечно делима. Каждую ее часть, включая осыпающийся краешек земли и лохматую поросль моха на нем, нужно мерить отдельно, что в сумме, если бы можно было измерить ее до конца, до каждой

молекулы и атома, могло бы дать бесконечную длину. Сколько ни делить рваную, лохматую береговую линию, получится столь же рваный, лохматый кусочек этой линии.

Важнейшее свойство фрактальности — **самоподобие**. Как бы мы ни делили фрактал, мы найдем в результате всех делений ту же самую исходную форму, только в уменьшенных подобиях. На вопрос, из чего состоит облако, фрактальная теория отвечает: оно состоит из меньших облаков, которые в свою очередь состоят из меньших облаков. Из чего состоят языки пламени? — из меньших языков пламени, которые внутри себя, делясь и уменьшаясь, все так же пламенеют и высовывают языки. Как показывает современная наука, фрактальны скалистое побережье, горная цепь, колеблющееся пламя, морские волны, облако, снежинка, колония плесени... Фрактал — это динамика самоподобия, которое воспроизводятся на разных уровнях его деления или умножения. Всматриваясь в жилчатый узор листа, мы обнаружим, что каждая отдельная жилка в нем разветвляется точно так же, как и лист в целом, и самые тонкие, едва различимые жилочки тоже делятся по тем же законам и образуют тот же узор. Повторяясь в каждой своей части и в частях этих частей, меняясь в масштабах, фрактал сохраняет свою структуру. И это не математическая фантазия, это единственно достоверный способ описать сложные явления нашего мира — неровные, извилистые, шероховатые, лишенные той идеальной гладкости, которая приписывала им дофрактальная наука.

Гуманитарное и философское мышление тоже начинает постепенно осваивать принцип фрактальности. По свойству самоподобия мир делится на уменьшенные подобия себя, мирки и мирочки. Пирамида жизни состоит из пирамидок меньшего размера, которые сами слагаются из еще меньших пирамидок. В принципе, и каждое понятийное целое состоит из множества своих уменьшенных подобий. Если, например, есть система, состоящая только из двух элементов: «ум» и «сердце», — то каждый элемент этой системы содержит в се-

бе систему двух элементов, поскольку лишь вместе они воспроизводят целое. Есть умный ум и сердечный ум, умное сердце и сердечное сердце. Соответственно мы можем выделить — схематично, только на этой шкале — четыре типа людей:

1. Живущие только умом, отвлеченной мыслью, принципами, законами и категориями, всецело погруженные в свое умозрение (ум ума). 2. Мыслящие страстно, вовлеченно, сводящие свое сердце в ум, исполненные эмоциональных порывов разума (сердечность ума). 3. Живущие преимущественно чувством, но вооружающие его сдержанной мудростью, сочувствием, благоразумием, сводящие свой ум в сердце (ум сердца) 4. Живущие только сердцем, его порывами и прихотями, подверженные страстям и не желающие или не устаивающие думать (сердечность сердца)

Такой фрактальный способ описания: самоподобие целого во всех его последовательно делимых частях — можно применить к самым разным жизненным явлениям, требующим не математического, но вполне гуманитарного подхода. Далее мы попытаемся рассмотреть фрактальное устройство человеческой жизни, ее многократную делимость.

2.

Человеческая жизнь, как известно, делится на возрасты. Чаще всего выделяются пять: детство, отрочество, молодость, зрелость, старость. Порою перед детством еще выделяется младенчество, перед молодостью — юность, а после старости — дряхлость. Но мы будем исходить из простой, пятичленной схемы, потому что и она позволяет нам умножить число возрастов до 25. А в перспективе — сделать континуальным наше представление о **возрасте**, понять его как процесс непрерывного и циклического **возрастания** жизни.

Дело в том, что саму категорию возраста можно толковать расширительно. Это не только определенный период человеческой жизни, но и определенная фаза в становлении каждого

периода. У периода детства есть свое детство, свое отрочество, молодость, зрелость и своя старость. У каждого возраста есть свой возраст. Старость каждого возрастного периода сменяется детством следующего периода. Таким образом, человеческая жизнь движется от детства детства к старости старости. При этом она проходит через пять детств, пять отрочеств и т.д., поскольку каждый из пяти ее основных периодов делится в свою очередь на те же самые пять периодов.

По приводимой ниже периодической таблице можно видеть, как циклически организуется время человеческой жизни. Каждый возрастной период — это целый цикл, вмещающий все фазы развития. По вертикали — основные периоды жизни, по горизонтали — фазы развития, повторяющиеся в разных возрастных периодах. Числа в таблице указывают на годы, которым охватывается данный подвозраст (от детства детства до старости старости): от 0 до 80 и дальше.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ВОЗРАСТОВ

Фаза детство отрочество молодость зрелость старость

Возраст

детство	0—1	2-3	4-5	6-8	9-10
отрочество	11-12	13	14	15	16
молодость	17-18	19-20	21-24	25-27	28-29
зрелость	30-34	35-40	41-44	45-55	55-60
старость	60-64	65-70	71-74	75-80	80-

По вертикали представлены пять основных возрастов, от детства до старости, а по горизонтали — пять фаз каждого

возраста, также от детства до старости. Читая таблицу по горизонтали и переходя со строки на строку, мы движемся через все возрасты и их фазы (подвозрасты): в первой строке — от детства детства (первый год) до старости детства (9-10 лет); в последней, пятой строке — от детства старости (60-64) до старости старости (80-). Читая таблицу по вертикали, мы видим сходные фазы в разных возрастах: фазу детства — в детстве (0-1), отрочестве (11-12), молодости (17-18)...; фазу отрочества — в детстве (2-3), отрочестве (13), молодости (19-20) и т.д., вплоть до фазы старости — в молодости (28-29), зрелости (55-60) и старости (80-).

Развернем эту таблицу так, чтобы каждый возраст получил свое наименование (трудно вписать их в клеточки таблицы)

ПЕРЕЧЕНЬ ДВОЙНЫХ ВОЗРАСТОВ (возрастов и подвозрастов)

ДЕТСТВО 0-1 — **детство детства** 2-3 — **отрочество детства** 4-5 — **молодость детства** 6-8 — **зрелость детства** 9-10 — **старость детства**

ОТРОЧЕСТВО 11-12 — **детство отрочества** 13 — **отрочество отрочества** 14 — **молодость отрочества** 15 — **зрелость отрочества** 16 — **старость отрочества**

МОЛОДОСТЬ 17-18 — **детство молодости** 19-20 — **отрочество молодости** 21-24 — **молодость молодости** 25-27 — **зрелость молодости** 28-29 — **старость молодости**

ЗРЕЛОСТЬ 30-34 — **детство зрелости** 35-40 — **отрочество зрелости** 41-44 — **молодость зрелости** 45-55 — **зрелость зрелости** 55-60 — **старость зрелости**

СТАРОСТЬ 60-64 — детство старости 65-70 — отрочество старости 71-75 — молодость старости 76-80 — зрелость старости после 80 — **старость старости**

Как видим, детская фаза повторяется в периодах детства, отрочества, молодости, зрелости и старости. Точно так же повторяются во всех возрастах и другие фазы: отрочество, молодость, зрелость, старость. И всякий раз, вступая в очередной возраст, мы последовательно переживаем внутри него и детскую неуверенность и удивление миру, и отроческую ломкость, переходность, беспокойство... и постепенное старение, изживание данного возраста.

Числа, приведенные в клетках таблицы, условны, поскольку в этой статье обсуждается только сама модель двойного возрастного деления жизни. Эти числа стоило бы более детально сопоставить с данными возрастной физиологии и психологии. Тогда стало бы еще более очевидно, что внутри каждого возраста есть свои отроческие периоды, сопровождаемые резкой ломкой мироощущения, кризисом доверия и уверенности, отчуждением от окружающих, ростом негативизма, чувством смыслоутраты, которая проводит порой и на грань жизнеутраты (самоубийства). Первое отрочество случается уже в детстве. Возрастная психология отмечает переход от раннего детства к дошкольному возрасту как «кризис трех лет», что в нашей периодизации совпадает с «отрочеством детства», которое характеризуется тенденцией к самостоятельности и обостренно-негативным, «слушническим» отношением к взрослым. Особый интерес представляет отрочество зрелости, период примерно от 35 до 40 лет, на который часто приходится так называемый «кризис среднего возраста». В этом зрело-отроческом возрасте учащаются случаи самоубийств, разводов, экзистенциальных и семейных драм, возникает ощущение истощенной, обесмысленной жизни и нового отчуждения от мира.

Но если в зрелости есть место отрочеству, то есть и периоды зрелости, гармонического расцвета, акме в каждом возрасте. Есть периоды старости, когда мы прощаемся с детством (9-10), с отрочеством (16), с молодостью (28-30), со зрелостью (55-60), а затем готовимся и к прощанию с самой жизнью (кому как повезет, но для современных западных обществ можно с толикой щедрости указать этот период как «после 80»). У каждого из этих «вертикальных» возрастов есть свое мироощущение, которое их роднит вопреки разнице в возрастах горизонтальных. Молодого человека в возрасте под тридцать одолевает то же чувство «конца молодости», изношенности своего возраста, необходимости переступить черту и усвоить привычки и «этос» следующего возраста, как и ребенка в 10 лет, который вырастает из своего детства, или подростка в 16 лет, который вырастает из своего отрочества, или человека на исходе 50-х, который чувствует приближение старости.

Есть и в каждом возрасте свое соответствие самому себе: детство детства, отрочество отрочества, молодость молодости, зрелость зрелости, старость старости. Эти «автореферентные», «самоподобные» возрасты выделены в таблице жирным шрифтом и проходят по диагонали сверху/справа — вниз/влево. (Жирным выделены и соответствующие наименования в следующем за таблицей перечне возрастов). Представляется, что эти клетки, где горизонтальное значение возраста совпадает с вертикальным, выделяют какие-то осевые возрастные состояния жизни, где она как бы вращается вокруг собственной оси. Два из этих «двойных возрастов» — детство детства и старость старости — прилегают к началу и концу жизни, задаются временем рождения и смерти. Три остальных возраста представляют собой центральные оси, вокруг которых вращается жизнь. Отрочество отрочества, примерно 13 лет, — это возраст «возбуждения страстей» (по древнерусской характеристике), первый возраст, дозволенный для вступления в брак (по иудейскому обычаю), время пробуждения пола,

когда человек оказывается способен к производству подобных себе. И одновременно это возраст пробуждения самосознания, острой и порой мучительной саморефлексии — о своей внешней и внутренней личности, о своем месте и предназначении в мире. Молодость молодости, первая половина 20-х — это возраст, наиболее подходящий для бракосочетания и рождения первых детей, а также возраст профессионального самоопределения, завершения цикла ученичества и перехода в цикл самостоятельной деятельности и жизненного самообеспечения. Зрелость зрелости, от середины 40-х до середины 50-х — возраст совершенства, время наивысших профессиональных достижений, когда определяется место человека в обществе и в памяти потомства, когда вполне (хотя и не окончательно) обозначается не только его личностно-созидательный потенциал, но и степень его актуализации. Таким образом, пять автореферентных, или «повторных» возрастов задают основные психо-физические и социальные параметры человеческой жизни:

за порогом рождения — детство детства

пробуждение пола и самосознания — отрочество отрочества

создание семьи и обретение социальной самостоятельности — молодость молодости

пора высших свершений, профессиональной и социальной самореализации — зрелость зрелости

перед порогом смерти — старость старости

3.

Вертикальный срез возрастной таблицы показывает, что возрасты не только сменяют друг друга, но и повторяются в человеческой жизни. Понимание этого должно усилить межвозрастную симпатию и сопереживание, которое обычно распространяется лишь на людей своего возраста. Как правило, мы больше всего солидаризируемся с людьми своей возрастной группы, разделяем их заботы и интересы, сопостав-

ляем их достижения, надежды, удачи и неудачи со своими, а все, что далеко выходит за пределы нашего возраста, — до этого нам мало дела. «Эти совсем еще дети», «эта разудалая молодежь», «эти дряхлые старики» — это все «ихние» заботы, они вне круга нашей симпатии, экзистенциальной солидарности...

Но человек, приближающийся к порогу старости, вполне способен почувствовать экзистенциальную солидарность с молодым человеком, приближающимся к порогу зрелости, или с подростком, приближающимся к порогу молодости, или с ребенком, приближающимся к порогу отрочества. Между ними может возникнуть не менее глубокая солидарность, чем между людьми одной горизонтально-возрастной группы. Старый молодой человек, переходящий черту молодости, может почувствовать большую возрастную близость к своему отцу, переходящему черту старости, чем к своему же младшему брату, находящемуся в расцвете молодости, в «молодой» или «зрелой» ее поре. Периодическая таблица показывает нам эти новые конфигурации возрастных общностей и симпатий. Они представляют собой реальность не менее психологически достоверную и значимую, чем горизонтальные общности. Вертикальные дети, или вертикальные отроки, или вертикальные старцы образуют свою референтную группу, свою резонансную среду, что может пролить дополнительный свет на природу межвозрастных симпатий и способствовать формированию новых, «вертикальных» сообществ.

Вообще **вертикальные сообщества** — еще не исследованная и социально-психологически не реализованная модель организации межчеловеческих симпатий, гравитационных линий групповых и межперсональных взаимодействий. Мы все еще мыслим о возрасте (и о других социально-психологических категориях) преимущественно по смежности, синтагматично, метонимически, а не по структурному сходству, не парадигмально, не метафорически. Дети отдельно, подростки отдельно, молодые люди отдельно, старики отдельно...

Но если исходить из теории вертикальных сообществ, то, в соответствии с постулатом Анаксагора, «всё есть во всем». Среди молодежи есть дети, отроки и старики... Среди стариков есть дети, отроки, молодые и старые... Такова же и логика метафорического мышления: «всё во всем», молодое в старом и старое в молодом, детское в зрелом и зрелое в детском...

Возникает вопрос: а не сводится ли все именно к метафоре? На каком основании можно говорить о том, что у каждого возраста есть собственный возраст, у каждого детства — свое детство, молодость, старость? Не метафоры ли это?

Да, метафоры, но не только метафоры. Это такие метафоры, которые применяют к возрастам человеческой жизни их собственную меру, т.е. берут за основу внутривозрастной периодизации то же деление по возрастам, которое обычно применяется ко всей жизни человека. А откуда взять лучшее деление, коль скоро оно исторически сложилось в самых разных культурах, подтверждается и на интуитивном, и на теоретическом уровне? Никуда нам не деться от этих первообразов и первотерминов растущей жизни: детство, отрочество, молодость... И если они применимы к возрастной динамике человеческой жизни, то и внутри каждого возрастного сегмента, поскольку он есть часть этой динамики, можно обнаружить ту же морфологию времени, то же чередование ее главных форм и фаз: детство, отрочество, молодость... Если у возрастной динамики есть некоторый принцип структурного сложения, то он действует и в ее целом, и в частях этого целого, каждая из которых воспроизводит в уменьшенном виде его свойства. Каждая жизнь состоит из множества жизней. И каждый возраст в ней состоит из множества возрастов, сменяющих друг друга по той же модели, по какой эти возрасты сменяются в масштабе целой жизни. Возраст — это фрактал, бесконечно делимый фрагмент времени.

Значит, и подвозрасты жизни делятся на подподвозрасты. На этом, третьем уровне таких элементов становится уже 125

(5³). В самом деле, ведь и в том возрастном отрезке, который мы обозначаем как «детство детства» (порой его именуют «младенчеством»), тоже можно выделить пять меньших периодов: «детство детства детства», когда младенец еще почти все время спит; «отрочество детства детства», когда он начинает морщиться, плакать, страдать от непосильной тяжести навалившегося на него мира и его чувственного избытка; «молодость детства детства», когда младенец начинает гулить, улыбаться, вести себя смело, браво, активно пытается овладевать вещами, чарует окружающих; «зрелость детства детства», когда младенец начинает ходить и говорить, осваивает окружающее пространство и выражает свою мысль; «старость детства детства», когда младенец, уже начавший ходить и говорить, вдруг начинает скучать, томиться, не знает, что делать с собой, ожидая перехода в следующий подподвозраст: «детство отрочества детства».

Такие микропериоды вполне реально выделяются в поведении ребенка; я описал их (не используя этих терминов) в своей книге «Отцовство». [2] Но и внутри них можно было бы выделить свои микромикромикропериоды, подподподвозрасты, дальше фрактально деля возрастную узор жизни. В принципе такому делению нельзя положить конец, потому что время жизни, как и пространство береговой линии, континуально, и всюду, даже на уровне минутных колебаний настроения, можно обнаружить их детскую, отроческую, старческую составляющие... Вопрос уже в практической целесообразности: нужно ли, измеряя длину береговой линии, замерять все кустики мха, которые растут над водой, все камешки гальки и каждую песчинку (и какой ширины взять полосу)? Очевидно, что в практических целях лучше остановиться на каком-то заданном масштабе измерения. Так и в изучении возрастных стадий жизни имеет смысл остановиться, в зависимости от конкретных задач, на втором или третьем уровне деления. «Детство детства» — это вполне ощутимая возрастная реальность, которая занимает около года. Разделение ее на под-

подвозрасты (третий уровень) тоже имеет практический смысл, но уже в более узких, детальных психологических, физиологических, педагогических исследованиях. Стоит ли выходить на четвертый уровень — подподподвозрастов? Заранее невозможно определить, хотя такая реальность, несомненно, тоже существует. Ведь изучают же строение мха — но уже в ботанике, а не в плане исследования длины береговой линии. Так что и микромикроисследования времени человеческой жизни тоже вполне оправданы, но стоит ли к ним применять возрастную терминологию и концептуальный аппарат, — это вопрос открытый.

4.

Между биологическим возрастом и возрастом души, характера нет прямого линейного соответствия. Человеческая жизнь — нелинейная система, может быть, самая из нелинейных из всех систем, что обусловлено свободой духа, непредсказуемостью каждого выбора. Это отражается и на структуре возрастов. Если уж бывает затянувшаяся весна, с заморозками и холодными ветрами, никак не переходящая в лето, то тем более бывает и затянувшееся детство. Инфантилизм может сопутствовать человеку и в отрочестве, и в молодости, вплоть до глубокой старости. А бывают, напротив, сенильные дети и отроки, с печатью преждевременного старчества на лице, с наморщенным лбом и печатью недетских раздумий. Не обязательно это проявляется как патологическая задержка или опережение биологического развития — такое расхождение возрастов души и тела скорее норма, чем аномалия. Редко у кого структурно—динамический возраст, возраст души, совпадает с биологическим. Андрей Вознесенский в своей прозе о Пастернаке «Мне четырнадцать лет» заметил: «Есть художники, отмеченные постоянными возрастными признаками. Так, в Бунине и совершенно по-иному в Набокове есть четкость ранней осени, они будто всегда сорокалетние. Пастернак же вечный подросток, неслух.... Лишь однажды в сти-

хах в авторской речи он обозначил свой возраст: «Мне четырнадцать лет». Раз и навсегда». [3] 14 лет — отрочество души. Поэты вообще склонны к ювенильности и поэтому так трагически переживают конец молодости, начало зрелости, предпочитая порой сходить с круга жизни, не вступая в возраст, противный душе (Пушкин, Есенин, Маяковский...; можно усмотреть трагическую роль не только социально-событийных, но и возрастных мотивов в судьбе Лермонтова, Блока, Цветаевой). Философы, напротив, склонны к сенильности и порой проводят первую, неуютную половину жизни маленькими старичками, чтобы потом расцвести и биологически догнать себя в зрелости и старости. Так что возрастная динамика еще сопряжена и с профессионально-творческим складом личности.

Еще одна особенность возрастной динамики — парадоксальность. Человек преклонных лет бывает моложе и раскрепощеннее юных. Прежние возрасты в нас не только продолжают жить, они периодически заостряются, а порой даже впервые по-настоящему пробуждаются, когда их время, казалось бы, давно прошло. Отрочество и молодость часто внутренне подавлены потугами на взрослость, стремлением быть старше своих лет. А когда человек уже испытал все прелести взрослости, он, подходя к зрелой зрелости, к рубежу 50-ти, может расслабиться и позволить себе быть юным. В отрочестве или в молодости не хватает времени на то, чтобы их глубоко пережить, войти во вкус, испытать в полной мере — человек торопится вперед и вперед, ему хочется поскорее добраться до зрелости. Когда же она уже достаточно испытана, можно заново развернуть все эти возрасты и перечитать их не спеша, как пройденные ранее в школе книги, — уже не для того, чтобы сдать экзамен на «готовность к жизни», а потому что это и есть настоящая жизнь, настоящие книги, и других не дано. Глядя на хмурого, зажатого, самозагнанного 20-летнего, обремененного задачей ускоренного самоопределения, ответственностью за будущее, 50-летний может вполне оценить тот резерв беззаботной юности, который он себе накопил трудами

прежних лет. И то, что на общей схеме обозначено как «зрелость зрелости» или «старость зрелости», вполне может пройти под знаком «молодой молодости», которая была в свое время недооценена, урезана до функциональной «подготовки к будущему». Это будущее, уже наступив, может уступить место прошлому.

Такая рокировка возрастов: зрелость в ранней молодости, молодость в поздней зрелости — особенно характерна для современных обществ, где социальная ответственность все больше перекладывается на молодых; уже школьники в старших классах испытывают ее подчас нестерпимый гнет (что ведет к росту юношеских самоубийств). Зато ее бремя снимается с плеч 50-летних-60-летних: социальная инерция или разгон, достигнутый к середине жизни, дальше уже сравнительно легко толкает их с уровня на уровень, позволяя заново или даже впервые пережить юность на переходе из зрелости в старость.

Возрастная динамика — процесс нелинейный: опережение по возрастной фазе может перейти в отставание и наоборот. Так, Пушкин, по воспоминаниям современников, был мало подвижным, созерцательным, стариковатым ребенком, и лишь с переходом к отрочеству и особенно в юности в нем проявилась та подвижность, гиперактивность, которая в зрелом возрасте уже могла даже производить впечатление инфантильности или ювенильности (недаром Пушкина прозвали «сверчком» и уже в 1820-е гг. называли «егозой», как ребенка). Повидимому, нелинейная динамика возрастных процессов задается на уровне фракталов — подвозраста или даже подподвозраста — и лишь потом переходит в масштаб макровозрастных сдвигов. Достаточно детству детства чуть затянуться (ребенок начинает позже ходить, говорить) — и вот уже сыплется все возрастное домино, весь порядок предстоящих подвозрастов и возрастов. Да в сущности, и нет никакого строгого порядка, есть лишь условная общечеловеческая идеализация множества разных возрастных траекторий. Вот почему

так важно, не ограничиваясь макрокатегорией возраста, углубляться в его фрактальные доли, которые создают столь сложную и уникальную картину возрастной динамики для каждого индивида.

Фрактальная теория возраста проливает свет и на общую направленность человеческой жизни, смысл которой определяется только в повышающемся порядке ее нелинейной динамики. У фракталов есть нисходящий и восходящий порядок. В нисходящем порядке они делятся, уменьшаются в своем масштабе. В восходящем порядке они складываются, образуя картину большего масштаба. Человек — существо определенного, среднего масштаба, действующее на том уровне вселенской жизни, который ему подведомствен; он неизменно централен, поскольку нисходящие и восходящие порядки бытия отсчитывает от самого себя. Но мы знаем, что благодаря ничтожным процессам на микроуровне может радикально меняться ситуация макроуровня. Именно потому, что большая форма самоподобна и состоит из множества малых, каждая из них может непредсказуемо решать судьбу целого, поскольку и оно, в обратном порядке отсчета, подобно всем своим частям. Свойство самоподобия легко оборачивается. Азбучно известна фрактальная притча, что бабочка, махнувшая крыльями в Китае, может вызвать бурю в Бразилии. Кстати, предвосхищение этой «крылатой» мысли есть в стихотворении Б. Пастернака, которое так и называется «Бабочка - буря» (1923):

Питается пальбой и пылью
Окуклившийся ураган.

Нечто неопределимо маленькое — пальба, пыль — может вывести атмосферную систему из стабильного состояния и создать переход, в котором открываются две разные возможности ее дальнейшего развития (развилка, бифуркация), потом четыре, шестнадцать и, наконец, неограниченный набор

возможностей, хаос, ураган, из которого сложится порядок будущего.

Как эта фрактальная концепция сказывается на представлении человека о своих собственных путях и целях в мироздании? Маленькое существо, может быть, даже единственное разумное существо в мироздании, он может своим поведением вызвать цепь непредсказуемых последствий в масштабе всей вселенной — и даже за ее пределами, если она, в свою очередь, составляет фрактал объемлющей сверхвселенной. Вопрос: что же делать человеку, чтобы пробиться в этот больший масштаб, чтобы участвовать в судьбах мироздания? Ведь неизвестно, какие именно наши слова, мысли, поступки могут вызвать наиболее длинную цепь масштабно растущих последствий, переходящих из порядка в порядок, из размера в размер — по восходящей. Ответ напрашивается из притчи: изо всех сил махать крылышками и летать во всех возможных направлениях. Множить развилки разных слов, мыслей и дел. Сама непредсказуемость последствий вызывает к бесконечному варьированию их причин. Поскольку заведомо не известно, каким ключом откроется дверь следующего мирового порядка, нужно перебирать ключи во всех мыслимых вариациях вырезов и бороздок. Поскольку нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, нужно множить развилки слов, оставляя свободу грядущему взять любое из них своим камертоном. Нужно усиливать резонансные свойства среды, чтобы из нее как можно больше посылалось колебаний будущему, чтобы бытие омолаживалось, чтобы овозможивалось как можно больше его вариантов... Действовать можно по-разному: бессознательно — пылью, или сознательно — пальбой — оуклить ураган и построить из него новый порядок. Продуктивность этих двух методов также непредсказуема. Есть люди, которые палят изо всех сил, — и ничего не происходит. А есть и такие, которые нечаянно уронят пылинку или оботрутса обо что-то своей золотой пыльцой, — и мир уже поехал, уже другой.

5.

Если каждый возраст состоит из нескольких возрастов, то сама колебательность этой фрактально-многослойной структуры отвечает за смысл человеческой жизни, усиливает ее резонансное воздействие на будущее. Возрасты не только сменяются, но сосуществуют в человеке. Даже не дожив еще до детства старости, он уже несет в себе старость детства... В каждый момент жизни человек состоит из **всех** своих возрастов, подобно тому, как каждый возраст тоже проходит через все другие возрасты, содержит их в себе. Это и есть та **фрактальная структура личности**, которая отзывается на фрактальную структуру мироздания и может сама судьбоносно отозваться в нем.

Человек, который вполне соответствует мерке одного возраста и лишен признаков, призывков других возрастов, — недочеловечен. Он носит свой возраст как ладно пригнанный костюм, под которым ощущается не живое тело, а пластиковая кукла. **Одновозрастный человек** — муляж, выставленный в воображаемом «Музее человеческого возраста».

Есть два типа возрастной редукции — подвижный и неподвижный. Одновозрастный человек может легко скользить по глади своего текущего возраста, всецело с ним совпадая, — или застрять в одном возрасте, который огибается потоком жизни, не затрагиваясь им. Подвозрастный тип и надвозрастный тип. Один всегда соответствует своему фактическому возрасту, другой — своему психическому возрасту.

Подвозрастный человек всегда под стать своему физическому возрасту, целиком ложится в его рамку. Вот эта девица — ей 22, и она точно этому соответствует. 14-летней или даже 20-летней в ней уже не осталось, не различить. Она скроена по мерке своего возраста, каждая краска, каждый волос, каждый жест в ней кричит: «мне 22!» А через три года ей будет 25, и ни годочком не больше, не меньше. И так до... дай ей Бог долгих лет жизни. Конечно, в 70 она будет выглядеть на 60, но такое искусное замедление входит в природу женского воз-

раста. Она будет выглядеть в точности как женщина, которой «в 70 можно дать 60».

Именно о таких блаженно-линейных людях, прямо скользящих по линейке своего возраста, писал Пушкин в «Евгении Онегине» (гл. 8, X-XI):

Блажен, кто смолоду был молод, Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод С летами вытерпеть умел;
Кто странным снам не предавался, Кто черни светской не чуждался,
Кто в двадцать лет был франт иль хват, А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился От частных и других долгов,
Кто славы, денег и чинов Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век: N.N. прекрасный человек.

Но грустно думать, что напрасно Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно, Что обманула нас она...

Удивительно, что многие читатели и даже критики, услышав «блажен», так и продолжают воспринимать этот эпитет с ликованием, на полном серьезе. «Блажен, кто смолоду был молод» — приговаривают они, похлопывая по плечу подгулявшего юнца или оправдывая свое лихачество. Но в том-то и дело, что «прекрасный» человек, бывший в молодости сполна молодым, а в зрелости — сполна зрелым и не сохранивший в себе ни одного из прежних возрастов, — это не только смешная, но и грустная пародия на человека. В тридцать лет ему ровно тридцать, а в пятьдесят — уже ровно пятьдесят. Он легко меняет свой возраст, оставаясь одновозрастным. Другие возрасты не посещают его хотя бы странными снами «о чем-то большем», и оказывается, что и детство, и отрочество, и молодость были даны ему «напрасно»: они прожиты — и изжиты, выброшены, как изношенные костюмы. Муляж всегда одет по возрасту и с иголочки.

От подвозрастного человека следует отличать **надвозрастного**, застывшего навсегда в каком-то возрасте, ему изначально присущем. Уже упоминалось, что некоторые люди всю

жизнь ухитряются прожить почти младенцами, или почти стариками, или деловитыми здоровяками «в расцвете лет», меняя только физический возраст, но постоянно пребывая в одном возрастном складе личности. Поэтому они часто воспринимаются как «иновозрастные», фатально попавшие не в свой возраст: стариковатый мальчик, важно расхаживающий и морщащий лоб вдаль от своих резвых сверстников, и мальчиковатый старичок, резво подпрыгивающий, неумолчно хихикающий, неугомонно шаловливый и внешне отличимый от своего внука только морщинами и сединой. Так надвозрастен у Гоголя Акакий Акакиевич Башмачкин: казалось, он «родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове». Таков же и чеховский Беликов: очевидно, он уже родился в футляре, в калошах и с зонтиком. Поэтому все детское, отроческое, молодое: возня и смех гимназистов, езда Вареньки на велосипеде — не вызывают в нем ничего, кроме отвращения и боязни.

Все они одновозрастные люди, но, в отличие от подвозрастных, всегда совпадающих со своим текущим возрастом, эти надвозрастные значительную часть жизни с ним враждуют и далеко не всегда «блаженны»: они могут глубоко страдать от того, что их засунули в слишком юное или слишком старое тело. Беликову, например, даже в его среднем возрасте жить неуютно, тревожно, хлопотно, он — человек «старой старости» и потому попадает в самую точку своего внутреннего возраста, когда оказывается в гробу. «Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое, точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала!» Надвозрастные и подвозрастные — люди точечного или линейного типа. Они либо находятся постоянно в точке одного, врожденного возраста, либо скользят по линии всех возрастов, меняя точки, но оставаясь все время на одной прямой.

Но есть и такие многосоставные личности, на которых линейная геометрия кончается, они фрактально мерцают на

возрастной шкале. Не совсем даже ясно, кто перед тобой, с кем говоришь. Пятидесятилетние волосы, тронутые сединой; сияющие восемнадцатилетние глаза; десятилетняя улыбка с ямочками на щеках; а слова бурлят и лепечут в наивно-мудром диапазоне от десяти до семидесяти... Или так: пожатую руки — двадцать лет, выражению глаз — шестьдесят, улыбке — пятнадцать, словам — тридцать. Но дело не во внешности, а в той гулкости, резонансности, которая ощущается в душевном устройстве. Оно отзывается на разные звуки и сложно переливает их в себе. Про такого человека нельзя сказать, что он вневозрастный, как хвойное дерево внесезонно: «зимой и летом — одним цветом». Это **многовозрастный** или даже **всевозрастный** человек, в котором все возрасты по-разному говорят, как все клавиши звучат на хорошо настроенном инструменте. Иногда эти возрасты перебивают друг друга, захлебываются от полноты самовыражения, которую трудно втеснить в приличную, проработанную манеру одного возраста. [4]

Многовозрастность не всегда ясно выражена вовне, порой она открывается лишь глубинно соучастному взгляду. На поверхности, в общественных или служебных отношениях, человек может быть одновозрастным, функционально однородным, и лишь любовь обнаруживает в нем то детское, отроческое, разновозрастное, что среда подавляет в нем или он сам вытесняет в себе. По сути, любовь есть особый дар раскрывать в человеке его многовозрастность. В человеке средних лет вдруг открывается ребенок, к которому испытываешь двойную нежность, и вместе с тем старик, по отношению к которому усиливается чувство верности, пожизненной обреченности. Да и в самом любящем приоткрывается множество возрастов, и все они начинают сцепляться и играть с возрастными любимого. В *этом* неожиданном смысле вспоминается пушкинское «любви все возрасты покорны»: не люди разных возрастов, но все возрасты в одном человеке. Между любящими одновременно или попеременно устанавливается мно-

жество отношений: матери к ребенку, и девочки к отцу, и молодой зрелости к зрелой молодости, и слегка покровительственное — 16 лет к 14, и вполне ученическое — 16 к 25... И все эти нити разновозрастных отношений сплетаются в тугой узел душевно-телесной близости, который оттого так трудно разорвать, что он состоит из множества дополняющих и укрепляющих друг друга возрастных союзов.

Но любовь, преображая любящих в глазах друг друга, редко способна совершить такой же подвиг преображения в глазах окружающих. Иначе все люди стали бы всевозрастными, всечеловеками. Собственно, великий человек — это человек, живущий по законам «любимости», в увеличительном стекле любовного к себе отношения: столь же свободный, искрящийся, неиссякаемый, каким его видит и знает любовь. Но как ни увеличивает любовь масштаб человека, не всем любимым дано стать великими. Так и многовозрастность лучше считать объективным свойством или даром отдельных личностей, не исключая того, что обращенная к ним любовь, дружба, участность могут укрупнять и высвечивать этот дар.

Многовозрастный человек нелинеен, между его текущим возрастом и всеми остальными его возрастами нет прямой связи, она всякий раз устанавливается заново. Даже для себя он полон сюрпризов, и детский каприз, или отроческая дерзость, или юношеская надменность могут прорваться вдруг через взрослую обходительность. Нелинейный по возрасту, он нелинеен по нраву. И часто психологически неуловим. Он может двигаться по шкале возраста одновременно вперед и назад, широко расходясь с самим собой, точнее, охватывая собой диапазон разных возрастов, как будто кто-то играет на них, как на просторно раскинутой клавиатуре. Молодея лицом, он может одновременно стать старше себя по манере или смыслу речи. По мере старения в нем может пробуждаться юноша, каким он никогда не был в своей юности, или даже подросток, каким он никогда не был в отрочестве. Контуры разных возрастов накладываются, зыблются, расплываются.

Сколько лет этому человеку? Сорок? Да, но еще и двадцать, и триста... Рядом с ним вдруг забывается даже возраст мира. В каком мы времени? Откуда взялся этот многовозрастный человек? Из средних веков или из итальянского Возрождения? Из французского Просвещения или викторианской Англии? Или он из Америки 22-го века? Или из России 25-го? Вообще — какое тысячелетие у нас на дворе? Время вдруг начинает морщиться, волноваться, как занавес перед тем, как распахнуться. А что за ним? Дым, туман, струна звенит в тумане... Вокруг таких всевозрастных людей начинаешь сильнее чувствовать зыбкость миропорядка и возможность новых времен или сверхвременья, которые исподтишка готовятся в них.

Примечания

[1] Самоподобие может относиться не только и не столько к форме предмета или геометрической фигуре, сколько к свойству части воспроизводить статистические (усредненные) свойства целого. «Многие фракталы, встречающиеся в природе (поверхности разлома горных пород и металлов, облака, турбулентные потоки, пена, гели, контуры частиц сажи и т. д.), лишены геометрического подобия, но упорно воспроизводят в каждом фрагменте статистические свойства целого. Такое статистическое самоподобие, или самоподобие в среднем, выделяет фракталы среди множества природных объектов.» (Юрий Данилов. Фрактальность. «Знание — сила», 1993, 5).

[2] Михаил Эпштейн. Отцовство. Метафизический дневник. СПб, Алетейя, 2003. Здесь подробно прослежено развитие младенца с рождения до 1 года 2 месяцев (до первых слов и первых шагов), т.е. смена подвозрастов «детства детства» (третий уровень возрастного деления).

[3] Андрей Вознесенский. Мне четырнадцать лет, его кн. Пов. Стихи. Проза. М., 1987, С. 409-410.

[4] Многовозрастность не следует путать с многоролевым поведением личности, множественностью ее функций в ходе социального общения. Так, Эрик Берн (Eric Berne) выделяет три состояния Я: «Мы считаем, что человек в социальной группе в каждый момент времени обнаруживает одно из состояний Я — Родителя, Взрослого

или Ребенка. Люди с разной степенью готовности могут переходить из одного состояния в другое». В данном случае «ребенок» и «родитель» — не возрасты, присущие данной личности, а ее амплуа, причем под «родителем» имеется в виду «игровая» роль, усвоенная ею от родителей: «Высказывание «Это ваш Родитель» означает: «Вы сейчас рассуждаете так же, как обычно рассуждал один из ваших родителей (или тот, кто его заменял). Вы реагируете так, как прореагировал бы он — теми же позами, жестами, словами, чувствами». Эрик Берн. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих отношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. Пер. с англ. Общ. ред. М. С. Мацковского. СПб.: Лениздат, 1992, с.17.

Тематический указатель статей

ЛИЧНОСТЬ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ

АБСОЛЮТ
АВТОБИОГРАФИЯ
БУДУЩЕЕ
ВЕЩИ
ГИПОТЕЗА
ДНЕВНИК
ЖАЛО В ПЛОТЬ
МИСТИЦИЗМ
МОЛЧАНИЕ
МЫШЛЕНИЕ
НЕСЧАСТЬЕ
ПРАВИЛА ЖИЗНИ
ПРАЗДНИК
РЕЛИГИЯ
ЦВЕТ
Я, МИША
Я, СЕРЕЖА

РОД

КОРНИ
МАМА
ПАПА
РОД И РОДИТЕЛИ
РОДИНА
ФАМИЛИЯ

ДРУЖБА

ВЗАИМОЗАВИСТЬ
ДРУЖБА
СОБЕСЕДНИКИ
СОИСПУСКАНИЕ
ТЫ, МИША
ТЫ, СЕРЕЖА

ЛЮБОВЬ

ДЕВУШКИ
ЖЕЛАНИЕ
ЖЕНЩИНА
ЛЮБОВЬ
ПОЛ
ФЕМИНИЗМ

ТВОРЧЕСТВО И ПРОФЕССИЯ

НАУКА
ПИСАТЕЛЬСТВО
ПИШУЩАЯ МАШИНКА
ПРОФЕССИЯ
ПРОФЕССОРА
ПУБЛИКАЦИИ
РАБОТА
СТОРОЖ (НОЧНОЙ)
ТВОРЧЕСТВО
УНИВЕРСИТЕТ
УЧИТЕЛЯ
ФИЛФАК

НРАВЫ И ПОКОЛЕНИЕ

ВОЗРАСТ
КОРРЕКТНОСТЬ
НАЧАЛЬСТВО
НЕОБЪЯСНИМОЕ
ОБЩЕЖИТИЕ
ОДЕЖДА
ПОКОЛЕНИЕ
ЭТИКЕТ
ЮВЕНИЛЬНОСТЬ: ЮНОСТЬ НАВСЕГДА
ЮНОСТЬ: МЕТАФОРЫ
ЮНОСТЬ И МОЛОДОСТЬ
ЮНОСТЬ: ЕЕ НАСЛЕДИЕ
ЮНОСТЬ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЮНОСТЬ: ПОТЕРИ
ЮНОСТЬ: РАЗНЫЕ ПОКОЛЕНИЯ
ЮНОСТЬ: УРОКИ И ВЗГЛЯД ОТСЮДА

ЛИТЕРАТУРА

БАХТИН
БИТОВ
БРОДСКИЙ
ВАЛЕРИ
ВЛИЯНИЯ
КАЗАКОВ
КНИГИ
ЛИТЕРАТУРА
ПУШКИН
СЕЛИН
ЧТЕНИЕ

ПОЛИТИКА

АНДРОПОВ
АНТИСЕМИТИЗМ
АНТИСОВЕТСКОЕ
БАБИЙ ЯР
ДИССИДЕНТСТВО
ЕВРЕЙ
ЗАПАД
ИДЕОЛОГИЯ
КГБ
ОТЪЕЗД
ПОЛИТИКА
ФРАНКО

ТОПОСЫ

АВТОБУС
БАССЕЙН
КВАРТИРА
КИТАЙ
ПАЛОМНИЧЕСТВО
ПЕРЕДЕЛКИНО
ПУТЕШЕСТВИЯ



СЕРЕЖА И МИША.
Риджвуд, Нью-Джерси.
31 августа 2008

Другие книги Михаила Эпштейна

Философия возможного. СПб.: Алетейя, 2001, 334 сс.

Проективный философский словарь: Новые термины и понятия. СПб.: Алетейя, 2003, 512 сс.

Отцовство. Метафизический дневник. СПб. Алетейя, 2003, 246 сс.

Знак пробела. О будущем гуманитарных наук. М.: Новое литературное обозрение, 2004, 864 сс.

Все эссе, в 2 тт. т. 1. В России; т. 2. Из Америки. Екатеринбург: У-Фактория, 2005, 544 сс. + 704 сс.

Новое сектантство. Типы религиозно-философских умонастроений в России 1970 - 1980-х гг. (серия «Радуга мысли»). Самара: Бахрах—М, 2005, 256 сс.

Великая Сось. Советская мифология. (серия «Радуга мысли»). Самара: Бахрах—М, 2006, 268 сс.

Постмодерн в русской литературе. М., Высшая школа, 2005, 495 сс.

Слово и молчание. Метафизика русской литературы. М., «Высшая школа», 2006, 559 сс.

Философия тела. СПб: Алетейя, 2006, 194 сс.

Амероссия. Избранная эссеистика (серия «Параллельные тексты», на русском и английском) М., Серебряные нити, 2007, 504 сс.

Стихи и стихии. Природа в русской поэзии 18 - 20 веков (серия «Радуга мысли»). Самара, Бахрах—М, 2007, 352 сс.

Другие книги Сергея Юрьенена

Помни Странжета
Воскрешая председателей
Евророманы
Музей шпионажа
Линтенька, или Воспарившие
Ива Джима
Входит Калибан
Суоми
Эмигрантка Эмма
Мальчики Дягилева
На крыльях Мулен Руж
Холодная война
Фашист пролетел
;Муэртэ!
Грудь Цецилии
Были и другие варианты
Союз сердец. Разбитый наш роман
(Книга 1 *Пара на Пушкинской*;
Книга 2 *Передний край борьбы*)
Дочь генерального секретаря
Беглый раб
Сделай мне больно
Скорый в Петербург
Сын Империи
Нарушитель границы
Вольный стрелок
Под знаком Близнецов
По пути к дому

*

Германия, рассказанная сыну
(с Л.А.Москвичёвой)

*

Принцип Дьявола

Заказы по адресу:
<http://tinyurl.com/bmoux1>

Другие авторы издательства

...АБРАМОВ, БАВИЛЬСКИЙ, БОВ (БОБОВНИКОФФ), БОКОВ, БОРОДА,
ВОЙЦЕХОВСКАЯ, ВОЛЫНСКИЙ, ГАНОПОЛЬСКАЯ, ГЕОРГИЕВСКАЯ,
ГУДАВА, ДАНИЛОВ, ДРАГОМОЩЕНКО, ДУДИНА, ЗАГРЕБА, ИВАНЧЕНКО,
ИЛИЧЕВСКИЙ, ИОХВИДОВИЧ, КОНДРОТАС, КОРТИ, КУЗЬМЕНКОВ,
КУРЧАТКИН, МАЛЬЦЕВ, МАРТЫНОВ, МЕКЛИНА, МИЛЬШТЕЙН,
НАЗАРОВ, ОГАРКОВА, ПАТРЫШЕВ, ПЫРЕГОВ, РАЗУМОВСКИЙ,
РОДИОНОВ, САНДЛЕР, СЕЛИН, СЛЕПУХИН, ТЕРНОВСКИЙ, УСЫСКИН,
ФОХТ, ЧАНЦЕВ, ЭПШТЕЙН, ЮРЬЕВ, ЮРЬЕНЕН...

<http://stores.lulu.com/store.php?fAcctID=1769088>



Franc-Tireur
USA